

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1967









День поэзии 1967

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1967

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Михаил Луконин,
Евгений Осетров,
Константин Симонов,
Ярослав Смеляков
(главный редактор).

Редакторы-составители:
Станислав Куняев,
Алексей Смольников.

Фронтиспис художника П. СТАРОНОСОВА

Оформление книги художника Ник. П О П О В А

в сборнике:

1

Этот день останется в столетьях

2

„круглый стол“ дня поэзии

3

**причастные к эпохе исполинской,
мы возмужали вместе со страной**

4

вечер одного стихотворения

5

воспоминания, письма, публикации

6

живой архив



1

**Этот день останется в столетьях,
пока будет на земле народ.
Красный перешел он к детям,
красный — к нашим внукам перейдет...**

НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ

НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ

ВИКТОР БЕРШАДСКИЙ

ПАВЕЛ КУСТОВ

АЛЕКСАНДР ГАТОВ

ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

ВЕРА ИНБЕР

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

АЛЕКСАНДР БЕЗЫМЕНСКИЙ

ФЕДОР ФОЛОМИН

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

КОНСТАНТИН АЛТАЙСКИЙ

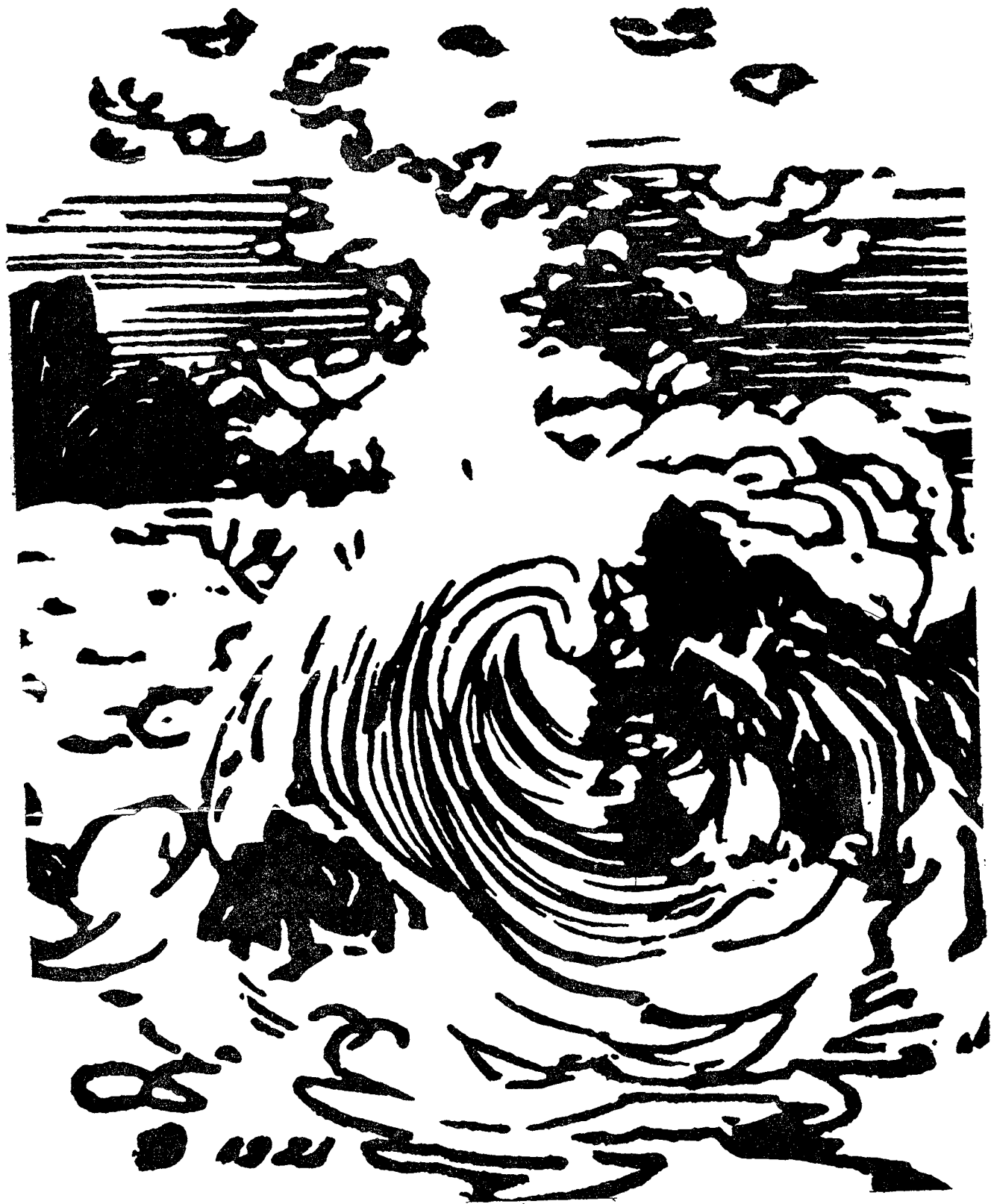
ЛИЛЯ НАППЕЛЬБАУМ

ПАВЕЛ БОГДАНОВ

ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

ГЕОРГИЙ ГОРНОСТАЕВ

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



Фрагмент гравюры художника В. Д. ФАЛИЛЕВА

НАШ ДЕНЬ

[Стихотворение написано к десятилетию Октября]

Этот день останется в столетьях,
пока будет на земле народ.
Красный перешел он к детям,
красный — к нашим внукам перейдет,
потому что в школе их учили
не о том, как народился бог,
а как землю мы поворотили
в этот день на новый бок.
В этот день все молнии и громы
очутились у нас в руках,
и на смену одури и дрёмы
красная разлилася река.
В этот день гуляй и пей в охоту,
в этот день весь мир был изменен,
а наутро снова на работу
с молотом взамен знамен.
Этот день останется в столетьях,
пока будет на земле народ.
Красный перешел он к детям,
красный — к нашим внукам перейдет.

1927

ВИКТОР
БЕРШАДСКИЙ

БРОНЕНОСЕЦ

Из тумана прорезался
контур вчерашний:
казематные дула
и круглые башни.
«Князь Потемкин-Таврический»
грозно и гордо
сквозь туман выплывает
из пятого года.

И гремят башмаки
по железному трапу,
и к матросу идут,
чтоб оплакать утрату.
Плачет город
прозревший и многоязыкий,
и вплетаются астры
в венок бескозырки.
И проносит огонь
среди молний и грома
не бикфордов фитиль,
а стена волнолома.

Говорит броненосец
сквозь время и мили:
— Мой форштевень сломали,
но дух не сломили!
Гордый город, а ты
отстоял ли Свободу?
По плечу ли бушлат
твоему мореходу?
— По плечу! —
отвечает разбуженный берег.—
Твой клокочущий колокол —
вечный мой пеленг.

И «Потемкин» вдали
откликается гулом
и опять сквозь столетье
идет караулом.
И глядит ему вслед,
и сигналил знакомо
негасимый огонь
со стены волнолома.

ПАВЕЛ
КУСТОВ

Я ПОМНЮ ЗРЕЛИЩЕ..

Я помню зрелище такое:
Казакий конный генерал
Стоял и собственной рукою
Шрифт типографский рассыпал.

А я с сердечным содроганьем
Глядел, как под ноги летит,
Летит врагу на поруганье
Истертый корпус и петит.

Когда бы знали звери эти,
Чей взгляд свинцовый — как ожог,
Что пару дней назад в газете
Был напечатан мой стишок!

На школяра жалея пули,
Но отмечая мой талант,

Они бы шашкой полоснули —
И я — разрублен пополам.

Шныряя меж сапог лоценьх,
Я только слышал чье-то: — Цыть!
Ты что тут вертишься, паценок?
Нагайки хочешь отхватить?

Но вот умчался штаб казакий.
Толпа иссякла наконец.
И я пополз, в карманы пряча
В пыли мерцающий свинец.

Ладони до крови сдирая,
Так я под носом у врагов
Сгребал и прятал шрифт в сарае
Для чьих-то будущих стихов!

АЛЕКСАНДР
ГАТОВ

ДИСПУТ

Весной 1917 года Артем вернулся из Австралии, куда эмигрировал после революции 1905 года, и в первый же вечер после возвращения в Харьков выступил на диспуте в зале Общественной библиотеки.

Я вспоминаю лекционный зал,
В котором все мне с юности знакомо,
Там я на вечерах стихи читал
И там впервые увидел Артема.

Шел диспут, выступал «товарищ Сан», —
Сан-меньшевик, соратник Церетели, —
Рабочелюбие на словах, но сам
Тащил он Революцию на мели.

В грядущее, он заклинал, войдем
Без капли крови, по прямой дорожке,
Историей проложенным путем;
А кто устанет, предоставим дрожки...

А в зал тогда Артем вошел как раз —
С английской книгой в переплете алом, —
И мне казалось — весь рабочий класс
Вошел в тот вечер в харьковскую залу.

Большевики-товарищи вокруг,
Делившие с ним ссылку и централы.
Есть дело для его рабочих рук!
Свершений бурная пора настала.

Сан продолжал — с акцентом небольшим,
Из Каутского приводил цитаты.
И разнолюдые любовалось им —
Какой он добрый, чуть-чуть угловатый...

Премудрость ренегатов он постиг —
Шептать «поверьте мне» и лгать безбожно.
Зачем по-большевистски — напрямик?
Все исподволь, все мягко сделать можно...

— Не надо торопиться, господа!
Всего достигнем мы без жертв и риска. —
Артем с иронией следил тогда
За опытной юлою меньшевистской.

Он слово взял — спокоен, не фразист.
То речь была рабочего-трибуна.
Как клятву произнес: «Я — коммунист,
И победить сейчас должна Коммуна!»

Коммуны знамя подняли они
Двенадцать лет назад на Паровозном!
Да, впереди решительные дни —
Страна готова к испытаньям грозным!

И сам он предо мной — в плечах широк
И дышит слово правдой самой чистой.
О нем сказали б в старину — пророк,
А у него лишь доводы марксиста...

Могучий ленинец — таким сквозь годы
Артем глядит сегодня на меня.
Он был отлит из грома и огня,
И в этом нет гиперболы и оды.



ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

НАЧАЛО ПОЭМЫ «ОКТЯБРЬ»

И мы вошли. Сергей лежал в гостиной
На сдвинутых столах в большом гробу.
Гроб не по росту был. Он был обит
Сверкающим, как рафинад, атласом,
И были там цветы. Откуда? Странно.
Завешенные стены сотрясались
От пушечных ударов. Был Октябрь.
Тот самый, что преобразил планету,
Потом Великим назван.
Отец Димитрий, что преподавал
У нас в гимназии, ученый поп,
Цитировавший Энгельса, служил
Печальную и злую панихиду.
Он взмахивал торчащей бородой
И утопал в лиловых клубках дыма.
Отец убитого крутил усы.
Рыдала мать. Рыдала иступленно,
Нарочно как-то, тоже очень зло.
Сестра-красавица глядела грозно
Сухими и огромными глазами.
Стояли гимназисты со двора
И девочки в пансионерских платьях,
Худые девочки-пансионерки.
Два офицера — белые повязки
На рукавах — и разный пришлый люд.
Да вот еще пришел Тарас — наш плотник,
Красивый, сумрачный, иконописный,
Как знали мы, чистейший большевик.
За окнами стучали, рокотали.
Вдруг обрывали, начинали снова.

Москва, казалось, не могла снести
Свирепое величье этой ночи.
И древние слова молитв надгробных,
Слова Дамаскина и Златоуста
Мешались с треском пулеметных лент.
Сергей, сын казначея, был убит
На баррикаде юнкеров у церкви,
Что на Остоженке. Он в первый день
Боев пошел туда. Сестре на помощь.
Розеточки из белого атласа.
Он прибежал домой напиться чаю.
Ругал восставших вяло и брезгливо.
Читал, картавя, строчки Гумилева
И вот лежит, задрав холодный нос,
Таинственно и гордо улыбаясь.
Семнадцать лет — хорошая пора.
Как рокотала буря над Москвой,
Ночная буря звуков и метели,
Огня и ветра. Это шел Октябрь,
Еще неведомый, уже неотвратимый,
Готовившийся несколько столетий
Миллионами отбушевавших жизней
И вышедший в пальтишке сыроватом,
В тяжелых яловичных сапогах
Из неприглядных переулков Пресни,
Куда плеснуло ветрами с Невы.
Никто не знал, что это будет. Мрак,
Иль свет, иль, может, светопреставленье,
Неслыханное счастье или гибель.
Нет, знал один, в кургузом пиджаке.

25—27 мая 1957 г.

ИЗ ДНЕВНИКА

Январь 1924 года

Зимние сумерки в Мамоновском переулке. В полукрытую форточку вливается морозный воздух; на Тверской позванивают трамваи, доносится скрип извозчичьих полозьев. Внезапно, все ближе и ближе, голос быстро бегущего по переулку газетчика: скончался Владимир Ильич Ленин!

В январской ночи мы двинулись к Дому Союзов издалека. Облако сотен тысяч дыханий окутывало медленный людской поток. Воздух, скованный стужей, был неподвижен. Высоко в небе, в тройном кольце сияния, как это бывает только при самых сильных морозах, плыла луна.

Ленин в гробу производил впечатление спящего. Казалось, он уснул среди венков, и звуки похоронного марша вот-вот разбудят его...

На другой день с обвязанным горлом я сидела дома. Пришли Илья Эренбург и Андрей Соболев: им поручен сбор материала для односторонней газеты «Ленин».

Времени было в обрез, и я села писать сразу же после их ухода.

Навсегда врезался мне в память восковой профиль Ленина, и красный орден на его груди, и стужа, как бы вобравшая в себя весь жгучий холод ледящей сердце скорби, и особая торжественность луны. А главное, самое важное — стихия народного горя: людские толпы. Все это я и попыталась передать в стихотворении «Пять ночей и дней». К вечеру оно было готово. Но мысль, что еще не все сказано, не оставляет меня.

ЛЕНИН

Пятьдесят три года сердце билось,
Точно заведенное навек,
Но потом остановилось —
Умер Человек.

Трепеща и радуясь, носила
Человека этого Земля,
Но осталась лишь могила
У стены Кремля.

Осталась лишь усмешка на портрете,
И усмешку эту на его лице
Знают даже маленькие дети
В маленьком сельце.

Душ времен крошит людские недра.
В парусах истории — гроза,

Но без шапки (знать, сорвало ветром)
Кто это стоит у колеса?

У кого в пространство, как винтовка,
Так устремлена рука,
Что заметна сразу установка
На века?

Кто это советом и приказом
Вел страну к свободе молодой?
У кого узор морщин под глазом
Лег пятиконечною звездой?

Это он, все тот, кого из Горок
Увезли в гробу, в мороз и снег,
И кто нам теперь навеки дорог
И как символ, и как человек.

31 сентября 1924 г.

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

ЧТО БУДЕТ В 2027 ГОДУ!

[Стихи, написанные к десятилетию Октября]

Сотня лет...

Она пройдет недаром.
Этот век и этот срок велик...
Будет — Совнарком Земного Шара
И всемирный Председатель ЦИК.

Будет
Сжато техникой пространство:
День — от Миссисипи до Оки.
Будут ездить в гости к мексиканским
Володимирские мужики.

Превратится в мирный круг семейный
Круг враждующих людей и стран...

Будут
Редкостью почти музейной —
Бюрократ, растратчик, хулиган.

Будут радовать здоровьем дети
Всех цветов и всех краев Земли...
Будут
Действовать лишь в оперетте
Фабриканты, принцы, короли.

Здесь, у нас, зимою не застынет,
Если надо, воздух ни на час.
Словом,—
К сто десятой годовщине
Будет все... Не будет только нас

АЛЕКСАНДР БЕЗЫМЕНСКИЙ

КОМСОМОЛЬСКИЕ БУДНИ

Глава стихотворной повести
«Необычайное путешествие в 1919 год и обратно»

Чтобы лучше понимать, «что к чему», считаю необходимым сообщить Вам, дорогие читатели, сюжет повести.

А он таков: пользуясь волшебной силой поэзии, я, поэт (член ВЛКСМ с 1917 года), перенес двух студентов-комсомольцев шестидесятых годов — Светлану и Геннадия — в тысяча девятьсот девятнадцатый год.

Глава, предлагаемая Вашему вниманию, описывает наше посещение Московского комитета РКСМ. Он помещался в двух малюсеньких комнатныхках первого этажа в доме № 18 по Леонтьевскому переулку, где находился Московский комитет РКП(б). До революции этот дом принадлежал графине Уваровой.

Остальное — поймете сами...

С комсомольским приветом

А В Т О Р

* * *

«Внизу... Вторая дверь налево.
Стучи, Геннадий!»... Ну и бред!
Молчит бесчувственное древо
И хоть бы что. Ответа нет.
Геннадий поднял шум ужасный,
Кого-то яростно браня.

Была за дверью очень ясно
Слышна какая-то возня,
Слышны отрывистые фразы
И непонятные шлепки...
Желая двери выбить сразу,
Занес Геннадий кулаки.
Но в это чудное мгновенье
Открылся настежь вход в Сезам

И в полный рост
 явилось нам
Своеобразное виденье.
Мы были все потрясены.
Стояла в комнате-каморке,
Босая, в дряхлой гимнастерке,
Одна из Золушек страны.
Она стояла перед нами,
Не то сердясь, не то смеясь,
И прядка светлая,
 как знамя,
Над головой ее вилась.
Она возникла, словно чудо,
Как яркий свет из темноты...
Но я описывать не буду
Всю степень этой красоты.
Определить такую степень
Мне полномочья не даны,
К тому же все понять должны:
Сам по себе великолепен
Блеск восемнадцатой весны!
Пред нами Золушка стояла,
Но мы забыли в тот же миг,
Что местный Фигаро, пожалуй,
Ее неправильно подстриг,
Что гимнастерка обветшала,
Что прохудился воротник,
Что рукава узки и туги,
Что юбка сшита кое-как
Из разновидности дерюги,
Добытой с помощью подруги
В обмен на воблу и табак.
Лицом и станом, взором ясным,
Посадкой гордой головы
Была воистину прекрасна
Босая Золушка Москвы.
Ей было незачем стыдиться
Одежды, старой и худой...
Держала Золушка
 тряпицу,
В другой руке —
 ведро с водой.

Картиной этой пораженный,
Геннадий сделал шаг назад,
Но, навсегда замороженный
Своей привычкой исконной
Язвить впаде и невпаде,
Сказал небрежно: «Очень рад
В аду увидеться с Мадонной.
Но я советовал бы ей
Ходить к дверям быстрее и чаще,
Чтоб не задерживать людей,
Ее приветствовать спешащих».
До лба дотронувшись рукой,
Он продолжал легко и бойко:
«Пардон, гражданка полумойка,
Что я нарушил ваш покой.

Но вы утешьте нас в печали.
Мы, задержавшись по пути,
В часы приема не попали
К начальству вашему.
 Нельзя ли
Секретаря МК найти?»
И вот что Золушка сказала,
Ведро поставив на порог:
«В МК устраивать скандалы —
Недозволительный порок.
Едва минуточку нашла я,
Чтоб спешно вымыть грязный пол,
Ты поднял бучу, мне мешая,
И мне ж нотацию прочел.
У нас ораторов излишек.
Им все регламенты малы.
Но очень мало среди мальчишек
Энтузиастов мыть полы.
А все девчата улетели
(Дежурить в госпиталь пошли)
И мне помочь в хорошем деле,
Как видишь, тоже не смогли.
Но я не все помыла, парень.
Что ж? Впереди большая ночь.
И если, парень, ты не барин,
В мытье ты можешь мне помочь.
Вопрос второй:

 не надо все
Перед своими гнуть хребты.
Пусть говорят на «вы»
 буржуи,
А пролетарии
 на «ты».
А тот вопрос, что в просьбе поднят,
Прости, — забота не моя.
Секретаря МК сегодня
Сыскать не трудно.
 Это — я».

Геннадий, давший сбой со старта,
Остолбенел, раскрывши рот...

Его спасая от инфаркта,
Я тут же выступил вперед.
«Привет, Катюша!» —
 «Здравствуй, Саша!
Давно ли выбрался в Москву?
Входи! Входи в палаты наши!
Здесь я тружусь
 и здесь живу.
Да не смущайтесь! Лезьте! Лезьте!
Полы домоются потом.
Сейчас поужинаем вместе,
Не так уж беден этот дом.
Два стула Анечка Литвейко
Взаимы взяла у нас вчера.
Ну, что ж... Садовую скамейку
В момент притащим со двора.

Столом придется нам разжиться
 Из нашей комнаты второй.
 Вот четверть фунта чечевицы.
 Устроим, в общем, пир горой.
 Дивчину как зовут? Светланка?
 Давай хозяйничать, дружок.
 Достань с окна четыре банки.
 Завхоз тарелок дать не смог,
 А вилки выдал. Во какие!
 Надавишь — сразу же погнешь...
 Еще он дал — как наградные —
 Вот эти ложки жестяные
 И оловянный этот нож.
 Их вместе выбросить не худо,
 Но ведь у всех подобный хлам...
 Не так давно случилось чудо:
 В МК неведомо откуда
 Прислали дивную посуду,
 А мы ее — госпиталиям!
 Что? Как зовется эта штука?
 Да ты большой оригинал!
 Насмешник — а сидит как бука.
 Вот номер! Примус не узнал!
 Не возражаю против шуток,
 Но здесь для шуток нет причин.
 В Москве на долгий промежуток
 Исчез бензин и керосин.
 Что ж! Я сумела очень кстати
 Вот эти капельки сберечь.
 Мне для себя их жалко тратить,
 А для гостей — о чем тут речь!
 Здесь тесновато? Да, не скрою:
 Апартаментов нет у нас.

Кто в нашем штате? В штате — трое.
 Не веришь, парень? Вот те раз!
 Я издеваюсь? Что ты! Что ты!
 Да, только трое. Но пока
 По главным линиям работы
 Нет нареканий на МК.
 Ты что глядишь как очумелый?
 Ох, парень! Слишком ты ретив,
 Не в том, что надобно для дела.
 Где тут комиссии? Отделы?
 У нас на это есть актив.
 При чем тут штат? Не в штате
 счастье.
 Втяни в работу всех подряд,
 И все тогда пойдет на лад.
 В рядах бойцов Советской власти
 Любой из нас зачислен в штат.
 Сними, Светлана, пишмашинку.
 Вот в ней — проблема из проблем!
 Вершина техники! Новинка!
 Пять букв отсутствуют совсем!
 На ней мы трудимся, как пчелы,
 Верней сказать, как батраки,
 А напечатав протоколы,
 Вставляем буквы от руки.
 Нет, мы бумагой не богаты.
 Архив графини выдан мне.
 Пишу решения и мандаты
 На оборотной стороне.
 Бумагой чистою разжиться
 В Москве покуда что нельзя.
 Ну, вот. Готова чечевица.
 К столу пожалуйте, друзья!»

ФЕДОР ФОЛОМИН

ЯРОСТЬ

(Сельская драма)

Земля ль под ногами,
 подмостки,
 на сцене ль,
 в деревне дышу...
 Здесь тени деревьев громоздки.
 Мелькаю статистом,
 пляшу.
 Мы — в жизни,
 не в трепетной сказке.
 Пылают
 и гнев и тоска...

Был гордый вожак партизанский
 врагами лишен языка.
 Ой, люди!

Немого поймите!
 Как руки кричат,
 говорят...

Мычит,
 разгорается Митя —
 товарища школьного брат.
 Райком обличил балагура:
 юлит подкулачная тля...
 Ведь это — Цветаев,
 Каюров —
 суровые учителя.

Пляшу,
хулигану устало;
не громкий, стараюсь орать...
Ах, Машенька!
Вам не пристало
вдову разбитную играть!
Личины
снимаю раздумьем —
друзей во врагах узнаю.
Давайте же искры раздуем
во мгле —
в трагедийном бою!
Забытая сельская драма,
ты зал охватила борьбой!

Греми из былого упрямо,
экран осветив голубой!
Сюжет,
раскрывайся как парус!
Сражайся за жизнь,
сельсовет!
Той драме по имени «Ярость»
исполнилось тридцать пять лет.
И слышу раскаты грозы я:
мне снова глаза обожгли
тревожные села России,
бездонная правда земли.

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

БАЛЛАДА ТРИДЦАТОГО ГОДА

До полночи путался под дождем,
Не находя дорог,
В потемках цеплялся за каждый дом
И до костей продрог.

Гремит в коридоре тугой засов,
Освобождая дверь.
Ни звезд, ни луны, и сколько часов —
Не разберешь теперь.

Хозяин ворчит: — Ну и темень — страх.
Давно бы пора в кровать.
Коль хлеб закопали на хуторах,
Тебе ли его откопать.

Он видит: учитель не ест, не пьет,
Осунулся, похудел.
Неужто мало своих забот,
Своих не хватает дел.

А в комнате тихо. Время само
Остановилось в тепле.
Нераспечатанное письмо
Лежит у него на столе.

На почерк знакомый взглянув мельком,
Где строчки словам тесны,
Закрыв глаза и увидел дом
На берегу Десны.

Крыльцо за калиткою расписной,
Сиреневый палисад,
Бессонные ночи свои весной
Три года тому назад.

В последний раз согреться теплом
Родительским он хотел.
В кармане лежал у него диплом,
Ребяческих снов предел.

Как равного встретил его отец,
Порядок в доме любя:
— Ну вот, дождался я наконец
Помощника для себя.

Зачем тебе школьная детвора,
Где каждый ценнок ретив?
Пошел бы ты лучше в бухгалтеря
В соседний кооператив.

Там дело такое, что нет верней,
Ни вьюг над тобой, ни гроз.
И я бы помог — обрядил коней
И по товар, в извоз.

Доход небольшой, но хоть рубль — да
мой,
И под рукой притом.
Невесту найдешь, приведешь домой —
Как полная чаша дом.

В амбарах сусеки радуют глаз,
Как мед, густа тишина,
И на два года лежит запас
Нетронутого зерна...

А сыну обиды не превозмочь,
Она словно в горле ком.
Подальше от этого счастья, прочь,
С одним узелком, пешком.

Вплетались в холодную дрожь осин
Скупые слова отца:
— А если вернешься ты, блудный сын,
Кто встретит тебя у крыльца?..

И ночью, когда загремел состав,
Разбрасывая свистки,
Он ветер, как воду, глотал, устав
От юношеской тоски.

И ненависть к мудрости хуторской
По жилам прошла, как дрожь,
С которой живешь, позабыв покой,
Потачки себе не даешь.

Которую годы не истребят,
Разматывая по часам,
Которой он будет учить ребят
И с ними учиться сам.

Учил, но были глаза грустны:
Вдруг детский приснится сон.
Давно ли на хуторе у Десны
Наследником звался он?

И был он себе самому постыл,
Опасливый на слова,
И словно дурную болезнь таил
Позор своего родства.

Боялся, что кто-то решит: «Чужой»,
И отвернутся друзья.
А как перед ними он чист душой,—
Словами сказать нельзя.

Он душу согласен за них отдать,
Дорог не искал иных,
Но отец есть отец, и мать есть мать,
Хоть ты и ушел от них.

Как часто он думал о них с тоской,
От памятных вех вдали.
О, если б с судьбой своей хуторской
Расстаться они могли.

И снова подкатывал к горлу ком,
И снова, себе не рад,
Он матери письма писал тайком,
Отцу посылал деньжат.

А денег отец все чаще просил,—
Какой меж своими суд?
Писал, что налоги превыше сил,
Что хлеб до зерна берут.

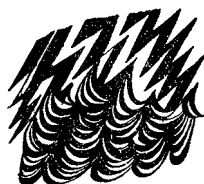
Что горько на старости дом бросать,
На плечи надеть суму...
И нынче, наверно, все то ж опять,
А что отвечать ему?

Что сам он повинен в судьбе своей,
Приросшей к меже навек,
Что был для него милее детей
Наполненный всклень сусек?

А если куда-нибудь в дальний край
С отцом увезут и мать?
Вскрывай тут письмо или не вскрывай —
В комнате нечем дышать.

В бессонной ночи не хватает минут,
Чтоб все обдумать успеть...
Но реки всегда на простор текут,
И к солнцу тянется ветвь.

А ночь на исходе. А завтра с утра,
Да будет совесть чиста,
Он снова отправится на хутора
Под выстрел из-за куста.



НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ЯМА В ПРИГОРОДНОМ САДУ

За равнодушных лилий полосую,
Из-за кустов с дорожки не видна,—
Большая яма со слепой водою,
В ней зелень юных лип отражена.

Я иногда смотрю на эту яму,
На водяной, тоскливый, тусклый щит,
Дыханием истории упрямой
Мои виски здесь ветер холодит.

Года войны ко мне подходят снова,
Сквозь их туман я вижу наяву —
Здесь танк стоял, зарытый и готовый
Своею грудью отстоять Москву.

И эта яма — яма не простая,
Так близко враг был — сердца на краю,
И танк стоял, в родную крепь вращая,
Чтоб победить иль умереть в бою.

Теперь здесь тишь... Лишь по дороге
мчатся
Грузовики и слышен крик детей,
Которые не могут не смеяться,
Не могут обходиться без затей.

И в этом месте мало кто и знает,
Что значит яма сонная в саду...
А мимо жизнь гремит, цветет, сверкает,
Как новый танк на боевом ходу!

* * *

Опять стою на мартовской поляне,
Опять весна, уж им потерян счет,
И в памяти, в лесу воспоминаний,
Снег оседает, тает старый лед.

И рушатся, как ледяные горы,
Громады лет, вдруг превращаясь в сны,
Но прошлого весенние просторы
Необозримо мне возвращены.

Вновь не могу я вдоволь насмотреться
На чудеса воскресших красок дня,
Вернувшись из немыслимого детства,
Бессмертный грач приветствует меня.

Мы с ним идем по солнечному склону,
На край полей, где, как судьба пряма,
Как будто по чужому небосклону
Прошла заката рдяная кайма.

КОНСТАНТИН АЛТАЙСКИЙ

ИЛЬНИЧНА

Жизнь шла, как положено. Праздничный марш трубачей
Сменялся гудками — трудами наполненных буден.
К нам, в «Вятскую правду», в дом, отнятый у богачей,
Торили тропу всех мастей и характеров люди:
Рабочий-кожевник, — он с мастером жил не в ладу,
Расстриженный поп, счетовод из артели сандалий...
Фронтов уже не было в том, двадцать третьем году,
В песках Туркестана тогда басмачей добивали.
Враги новой власти, засев на ее же горбу,
Народ предавали. Их брали. О каждом аресте,
Клеймя Ремишевского, вятского начгепеу,
Писал за границей «Социалистический вестник».
Старушка в шубейке пришла к нам. В руках посошок.
Удмуртка, должно быть. Нет! По разговору — из русских.

И грохнулась вдруг на колени, как с возу мешок:
«Спасите невинных! Два сына. И оба в кутузке».
Я поднял старуху, чайком напоил, расспросил
Подробно, с терпением, дотошно. Какие с ней споры?
Я корреспондентом по Вятской губернии был
Центральной газеты. Сыны же у старой — рабкоры.
Писали заметки Макарьевы — братья. Писак
На станции Зуевка знали и, видно, любили.
Как улей, бывало. жужжит о заметке барак,
Ценя свойский юмор в корявом рабкоровском стиле.
И вот арестованы. Оба. В подвале сидят.
Мать к ним с передачей, с харчами. Куда там! Не взяли..
«Враги,— говорят,— белых гадов вредней во сто крат.
Мутили людей. К забастовке народ подбивали».
Нашел их заметки. Крамолы там нет — хоть убей!
Братва заводская. Должно быть, зорка и зубата.
Старушку утешил: расследуем! За сыновей
Заступимся, если ни в чем не повинны ребята.
Иду в Гепеу. Хоть волнуясь, упруги шаги.
Глядит Ремишевский: одна худоба да безусье.
«О братьях Макарьевых? Это, газетчик, враги.
Мы их за решетку. И ты в это дело не суйся!»
Бреду к прокурору. Герасимов слыл мне дружкой.
В делах, как я думал, мужчина не праздновал труса.
А тут: «О Макарьевых?» И властноватым баском:
«Я визу давал на арест. В это дело не суйся!»
Я двинул в губком. У Минькова часы на счету,
Но принял без спешки: «Выкладывай все. Не тушуйся!
Ах, ты о Макарьевых? Тему ты выбрал не ту.
Мы все обсудили. И ты в это дело не суйся!»
Плетусь, чуть не плача. Снег с солнцем слезят мне глаза.
Кому я перечу, мальчишка, не нюхавший порох?
Все против Макарьевых. Мать вот да я только «за».
А совесть корит. Нет покоя от горьких укоров.
И вспомнил я в этот студеный денек января,
Когда провода от мохнатого инея седы,
Редакции «Правды» бессменного секретаря —
Марию Ильиничну, теплые с нею беседы.
Она говорила: «За правду стоять — это честь!
Советская власть справедлива, добра и народна.
Рабкоры — бойцы. Не страшны им ни травля, ни месть.
Защита же их — если грянет беда! — благородна.
Владимир Ильич утверждал, — заключила она, —
В Советской России все надо вершить по закону,
И неотвратимо должна покараться вина,
А вот невиновный — и пальцем не может быть тронут».
Шагаю по Вятке. Навстречу Макарьева, мать.
Ну как посмотреть мне в глаза ее честно и прямо?
И чувствуя, что при оплошности несдобровать,
Ульяновой в «Правду» я выбил в ту ночь телеграмму.
Идя напрямик, в перегибе я всех обвинил —
Губком, Гепеу и дружка своего прокурора.
Бессонная ночь! Млечный Путь. Мириады светил.
Как при Щедрине — крутогоры кругом, крутогоры..
Мне ночь показалась длиною в сто двадцать часов.
Но вот кочета словно осатанели от ора.
«Дошла ль в телеграмме горячая боль моих слов?»
Но тут предо мною блеснуло пенсне прокурора.

Не в духе дружок. Он мне даже не подал руки.
 Шагнул, поскользнулся. Не чудо ль? Январь — и потайка...
 Изрек он, как будто мы с ним не друзья, а враги:
 «Заваривать кашу ты мастер, а вот расхлебай-ка!»
 Я понял — вручили депешу сестре Ильича.
 Ударило сердце, как будто кремень о кресало.
 А тонкое лезвие бьющего с неба луча
 С очей прокуроровых их катаракту срезало.
 Макарьевых освободили. Из них одного
 В редакцию к нам выдвиженцем рабкором прислали.
 Что было, то было. Не выдумал я ничего.
 И не сочинил ни одной, даже малой, детали.
 Потом я Марии Ильиничне все рассказал
 В Москве, при свиданье. Лицо ее стало серьезно.
 Впервые добрейшие в целой вселенной глаза,
 Как мне показалось, сверкнули сурово и грозно.
 Давно это было. Но жив этот день, этот час...
 Он вспомнился мне в полстолетье Советского строя:
 Обличье Ильиничны, светлая глубь ее глаз
 И слово ее неприкрашенное и простое.
 Духовно взрослея, в тот час я глядел на нее,
 Дивясь чистоте ее сердца и нравственной силе.
 И образ, столь близкий к великому брату ее,
 Сливался в одно с доброй правдой и силой России.

ЛИЛЯ НАППЕЛЬБАУМ

* * *

Долго оставался след от пули...
 Мне о нем рассказывали в детстве:
 В Октябре с «Авроры» ветры дули,
 Двум мирам служил границей Невский.

В эти дни стреляли. И решалось,
 Как нам жить в дальнейшем на земле.
 Долго я росла, и уменьшалась
 Кругленькая дырочка в стекле.

Можно ль быть законченной, короче?
 Вещная деталь — не смутный миф.
 Для меня светящеюся точкой
 Начинался в мире новый мир.

Мне его в подарок в детстве дали,
 Выгнав богачей и палачей.
 Из далекой детской дали
 Ширится разлет его лучей.

В нем рождалось, выросло, менялось
 То, чем я живу, чем дорожу.
 Я сама с тем миром начиналась,
 Целиком ему принадлежу.

ПЛАН ГОЭЛРО

Как от грусти о детстве далеком
 Горло судорогой свело
 Перед маленьким, многооким...
 Он в музее, план ГОЭЛРО.

Да, от этих светящихся точек
 Так еще далеко до Луны,
 Как от круглых вспухающих почек
 До шумящей листвою весны.

Сила жизни прорвется на волю...
 Небольшой разрисованный лист,
 Где вразлет по зеленому полю
 Золотая пригоршня искр.

Здесь начало.
 Здесь перед нами
 Чуть поблескивает стекло.
 И глядит золотыми огнями
 План прозрения —
 ГОЭЛРО.

ПАВЕЛ
БОГДАНОВ

ТАК С ЛЕНИНЫМ НАРОД И НЕ ПРОСТИТСЯ...

Январь из камня искры высекает,
Но я, как все, на лютном холоду
В той очереди, что не иссякает,
Опять на площадь Красную иду.

Пусть снег, пусть ветер... Площадью все
дальше

Иду, иду, и час и два подряд,
Ко входу, где снимает шапку каждый,
Где с двух сторон штыки у вечной стражи
Светильниками вечными горят...

Благоговейноходишь по ступеням
Со всеми в Мавзолей. К плечу плечо,—

Чтобы побыть хоть несколько мгновений
Лицом к лицу с любимым Ильичем.
И чувствуешь: не похоронен Ленин!
Нет, нет! Мы не простились с ним еще!

Идут, идут, идут...
Десятилетия.
Прошли и деды, и отцы, и мы.
А вот теперь уже и наши дети
Идут к тому, кто вывел всех из тьмы.

И снова:
Очередь, взволнованные лица...
Все человечество. Планета вся.
Так с Лениным народ и не простится,
Его с собой в бессмертье унося!

ВЛАДИМИР
САВЕЛЬЕВ

БАРРИКАДА

Когда наконец, накопившись за годы,
обида рождала порыв штормовой,
девятым,
грохочущим валом свободы
вздвигалась она поперек мостовой.
И, впрок приходясь на веку на коротком,
всё было как намертво спаяно в ней:
мешки с рафинадом,
лихие пролетки,
афишные тумбы и груды камней.
Теперь выплывали наружу секреты,
крамольные выкрики резали слух.
Размыть эту грань
между мраком и светом
свинцовым дождям удавалось не вдруг.
Дышали стволы раскаленной жутью,
частили хлопки самодельных гранат.
И стыли вдали,
как тюремные прутья,
густые ряды полупьяных солдат.
А если к концу подходили патроны,
за ними ползли вдоль щербатой стены...
Я слышу,
как залпы, проклятья и стоны
доносятся с той и с другой стороны.

С обеих сторон ощущение боли
и явь наподобье бредового сна.
Две веры,
два разных понятия о воле,
но правда одна и победа одна!
Я знаю,
не горы добра и не беды,
не тихую, словно забвенье, судьбу,
нам гордые,
вечно ослушные деды
примером своим завещали борьбу.
Беспечные с виду и модно одеты,
мы все и донныне в ответе стократ
за то, что когда-то
на теле планеты
багрово вспухали рубцы баррикад.
Мы жаждем сердцами
не отзвуков боя,
а тех грозových и щемящих минут,
когда ты живешь,
точно впрямь над тобою
трепещет пропитанный кровью лоскут.
И так понывает под ложечкой сладко,
как будто увидел сквозь дымную мглу,
что вот уж и вновь
белоснежной перчаткой
махнул офицер пушкарям на углу.

КОМИССАРЫ

Эти гении рубок и митингов жарких,
комиссары далекой гражданской войны,
в сапогах из кирзы
и в скрипучих кожанках
наполняют мои беспокойные сны.
Блекнут звезды
на жаждающем зорь небосклоне,
пробуждаются птицы от звуков пальбы,
и, сшибаясь в аллюре, храпящие кони,
словно пыльные смерчи, встают на дыбы.
И окутана дымом,
как будто туманом,
к вековому безмолвью привыкшая степь,
где какой-то юнец, потрясая наганом,
увлекает в атаку залегшую цепь.
Дети смутной поры!
Люди слова и дела!
Ни за что не хваля и ни в чем не виня,
точно красные в город, отбитый у белых,
их высокая вера вступает в меня.
Мир шрапнелью хлестал,
мир душил сыпняками,
но они изживали мальчишеский страх
и смущенно мрачнели,
когда их «сынками»
называли старухи в глухих хуторах.

На везучесть свою полагаясь едва ли,
и вот эти — в очках,
и вон те — крепыши,
попадая к врагам, до конца сохраняли
широту неразгаданно дерзкой души.
На свирепых допросах
держались с усмешкой,
хоть какой-нибудь сотник, отчаясь, цедил
бородатым и дюжим конвойным:
— Не мешкай!
Подчистую партийных пуцай на распыл! —
Но и те, кто в боях уцелели,
недаром
уходили потом от друзей и семьи..
Где и как
оттремевшей поры комиссары
с этим миром покончили счета свои?
Никогда для других
не служивший примером,
я в прищуренном взгляде таю торжество,
будто тычут мне в зубы стволом
револьвера:
дескать, с кем ты, любезный, и против кого?
И, покоя себе не давая по суткам,
то вперед уходя, то на ближней черте,
я судьбу примеряю
к прервавшимся судьбам
и строку в комиссарской держу чистоте.

ГЕОРГИЙ ГОРНОСТАЕВ

МАХАЧКАЛИНСКАЯ БЫЛЬ

...Ночь была, как нефть, плотна,
Лишь зайчонком юрким
Все бежал вдоль полотна
Отсвет от форсунки.
Спали красные бойцы
На полу и нарах,
Обдавало их дымком,
Паровозным паром.
Гудермес и Хасавюрт
Миновали с ходу,
Но, известно, тоже пьют
Паровозы воду.
И поэтому состав
Жаркой головою
На Петровск-Кавказской встал
Под рукав с водою.
А тарелки буферов
В тишине поселка

По порядку номеров
Рассчитались громко.
Доставал кисеты полк,
Котелки из меди.
— Где тут, братцы, кипятки?
— Скоро ли поедет?.. —
Вот наружу, в полосе
Света из теплушки,
Вышла женщина-боец,
Спрыгнув на ракушки.
Как и все, она была
В шлеме и шинели.
Три полоски на груди
У нее алели.
Брезжил за морем рассвет,
Розовели дали.
Сверху мальчика трех лет
Ей бойцы подали.
Понесла его она
По путям, по шпалам.

Мальчик спал. Нога одна
Без чулка свисала.
Семафор забит крестом.
Станция. Деревня.
Завернула в первый дом,
Постучала в двери.
Встали люди — вся семья,
Шурились спросонку,
Удивились, увидав
«Красную» с ребенком.
— Извините мой приход.
Я из эшелона.
Едем на Дербентский фронт,
Ждут меня в вагонах.
Не хотелось бы тащить
Мальчика с собою.
Он и так уж вдоволь сыт

Пушечной пальбою...—
Добрый взглядом на бойца
Поглядел хозяин.
Люди на руки мальчика
Осторожно взяли.
Мальчик спал. Не слышал он,
Как, стуча на стрелках,
Укатился эшелон,
С ним — красноармейка.
Удивительного здесь,
Может быть, и мало,
Только женщина-боец —
Это ж моя мама!
А мальчишка без чулка —
Истинная правда! —
Был покорный ваш слуга,
Строчек этих автор.



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Немногие знают, что известный прозаик Валентин Катаев начинал как поэт и многие годы продолжал писать стихи.

Мы помещаем несколько его стихотворений. Некоторые из них были напечатаны в давних изданиях, а некоторые печатаются впервые.

ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Шел веку пятый. Мне — восьмой.
Но век перерастал.
И вот моей восьмой весной
Он шире жизни стал.

Он перерос вокзал, да так,
Что даже тот предел,
Где раньше жались шум и шлак,
Однажды поредел.

И за катушками колес,
Поверх вагонных крыш в депо,
Трубу вводивший паровоз
Был назван: «Декапот».

Так машинист его не зря
Назвал, отчаянно вися
С жестяным чайником в руке.
В нем было: копоть, капли, пот.
Шатун в кузнечном кипятке,
В пару вареная заря,
В заре — природа вся.

Но это было только фон,
А в центре фона — он,
Незабываемый вагон
Фуражек и погон.

Вагон хабаровских папах,
Видавших Лао-ян,
Где пыльным порохом пропах
Маньчжурский гаолян.

Там ног обрубленных кочан,
Как саранча костляв,
Солдат мучительно качал
На желтых костылях.

Там, изувечен и горбат,
От Че-муль-по до наших мест
Герой раскачивал в набат
Георгиевский крест.

И там, где стыл на полотне
Усопший нос худым хрящом,—
Шинель прикинулась плотней
К убитому плащом.

— Так вот она, война! — И там
Прибавился в ответ
К семи известным мне цветам
Восьмой — защитный цвет.

Он был, как сопки, желт и дик,
Дождем и ветром стерт,
Вдоль стен вагонов стертый крик
Косынками сестер.

Но им окрашенный состав
Так трудно продвигался в тыл,
Что даже тормоза сустав,
Как вывихнутый, ныл,

Что даже черный кочегар
Не смел от боли уголь жечь
И корчился, как кочерга,
Засунутая в печь.

А сколько было их, как он,
У топок и кувалд,
Кто лез с масленкой под вагон,
Кто тормоза ковал!

Так вот она, война! Не брань,
Не славы детский лавр,
Она — котлы клепавший Брянск,
И Сормов, ливший сплав.

Она — ружье в упор ко рту,
Срываемый погон,
Предсмертный выстрел — Порт-
Артур!

И стонущий вагон...

Но все ж весна была весной,
И я не все узнал...
Шел веку пятый, мне — восьмой,
И век перерастал.

1925 г.
Москва

УЧЕНЫЙ

Перо ученого страшнее пистолета,
Когда владеет им железная рука.
И Энгельс в тишине глубокой кабинета
Движением страниц поколебал века.

Не так ли под землей сокрыты корни дуба.
В глубокой темноте их тайный рост незрим,
Покуда между скал не разогнутся грубо
И не расколлют их напором вековым.

1920 г.
Одесса

УЛИЧНЫЙ БОЙ

Как от мяча, попавшего в стекло,
День начался от выстрела тугого.
Взволнованный, не говоря ни слова,
Я вниз сбежал, покуда рассвело.

У лавочки, столпившись тяжело,
Стояли люди, слушая сурово
Холодный свист снаряда судового,
Что с пристани через дома несло.

Бежал матрос. Пропел осколок-овод.
На мостовой лежал трамвайный провод,
Закрученный петлею, как лассо.

Да жалкая, ненужная игрушка,
У штаба мокла брошенная пушка,
Припав на сломанное колесо.

1920 г.
Одесса

БРОНЕПОЕЗД

Не Христово небесное воинство,
Возносящее трубы в бою,
Я набегу пою бронепоезда,
Стеньки Разина удаль пою.

Задувает и лепит метелица
И на все запевает лады.
То удушливым ладаном стелется,
Синим дымом ложится на льды.

Исцарапаны башни осколками,
Люди в башнях в поту и в дыму,
Но врага за неверными елками
Все равно — хоть умру, а дойму!

Мы уходим, дымя за откосами,
Ветер путает след голубой,
И скрежещет и ноет колесами
И хрипит паровоз броневой.

Надвигаются брови вечерние
Над слепыми глазами снегов,
Над горбами Подольской губернии
И над ржавой броней дубов.

Что мне Англия, Польша и
Франция!
Пули, войте, и ветер, вей! —
Надоело мотаться по станциям
В бронированной башне своей.

Что мне белое, синее, алое,—
Если ночью в несметных звездах
Пламена полноты небывалые
Голубеют в спиртовых снегах.

Ни крестом, ни рубахой фланелевой
Вам свободы моей не купить.
Надоело деревни расстреливать
И в упор водокачки громить.

Надоело упрямо подкручивать
По глазам близорукий бинокль.
Не видать на дороге попутчика,
И сияющий путь — одинок.

Только рельсы. И будки потушены.
Только рельсы. И в рельсах черно.
И поет голосами петушьими
С полустанков тоскливая ночь.

Но над полем, за эшелонами
Наливается вишня — заря,
И полощут и веют знаменами
Пулеметные дни Октября.

1920 г.
Одесса

ИЗВЕСТЬ

1

Бывает такой непомерный убыток,
Что слово становится слепо,
И стужею слово, как птица, убито
И падает с лету — как слепок.

История делает славу на ощупь,
Столетиями пробуя сплавы,
Покуда не выведет толпы на площадь
К отлитому цоколю славы.

2

Жестокою стужу костры сторожили,
Но падала температура,
На градус в минуту сползая по жиле
Стеклянной руки Реомюра.

Бульвар, пораженный до центра морозом,
Деревьев артерьями синий,
Уже не бисквитом хрустел, а склерозом,
На известь меняющим иней.

И, землю морозом сковав и опутав,
Хирурги хрустальной посуды
Выкачивать начали кровь из сосудов,
Чтоб стужей наполнить сосуды.

И вынули сердце, как слизистый слиток,
И пулю, засевающую слепо,
И мозг, где орехом извилины слиты —
Поступков и совести слепок.

3

Я видел Ходышкой черневшую площадь,
И угол портала уступом,
И ночь с перекошенным глазом, как
лошадь,
В толпу напивавшую крупом.

Кобыла, под мерзлым седлом оседающая,
Хрустела и двигала холкой,
И нежно топорщилась морда седая
Ресницами извести колкой.

И вспышками магия, кроя с балконов
Смертельною известью лица,
В агонии красных огней и вагонов
В лице изменялась столица.

За окнами люстры коробило тифом,
И бредили окна вокзалом,
Но траур не крепом лежал, а кардифом
У топок Колонного зала.

4

Дубовые дровни гремели сугробом.
И люди во тьму уходили,
Они по опилкам прошли перед гробом,
Они об одном говорили.

Один:

Я запомнил знамена у ложа
И черную флейту над пультом.
Я видел, как с глиною борется лежа
У гроба измученный скульптор.

Другой:

Как столетью стояла минута,
Проверенной совести проба.
Он был неподвижен во френче, как будто
Диктующий лозунг из гроба.

И третий:

С мешками у глаз, среди зала
(Седая и руки сухие),
Жена, неподвижно дежуря, стояла
У тела в ногах, как Россия.

2

„КРУГЛЫЙ СТОЛ“

ДНЯ

ПОЭЗИИ

ЕВГЕНИЙ ОСЕТРОВ

ВАСИЛИЙ СУББОТИН

ВЛАДИМИР ЦЫБИН

ВИКТОР ЧАЛМАЕВ

ИОСИФ ГРИНБЕРГ

ВЛАДИМИР ТУРКИН

ЛАЗАРЬ ЛАЗАРЕВ

МИХАИЛ ЛОБАНОВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ



Редколлегия сборника «День поэзии 1967» собралась за своим традиционным «круглым столом» поэтов и критиков. Состоялся разговор о гражданственности поэзии наших дней.

Ниже печатается ряд выступлений. Конечно, далеко не все важные и актуальные проблемы нашли отражение в дискуссии. Редколлегия считает, что встречи, состоявшиеся за «круглым столом», лишь положили начало исследованию гражданских мотивов поэзии наших дней, их эстетическому обеспечению.

Фрагмент гравюры художника М. И. ПОЛЯКОВА

Гражданственность всегда присуща великим творениям искусства. Но выступает она — гражданственность — в бесконечно разнообразных проявлениях. Если мы внимательно приглядимся к рублевской «Троице», написанной, как известно, на ветхозаветный сюжет, увидим то, что ускользает от поверхностного взгляда. Перед нами образы прекрасных людей, охваченных, сплоченных общей идеей, готовых пожертвовать собой во имя общего блага. Андрей Рублев выразил в своем произведении многое: и мечту об идеальном человеке, и мысль о дружеском согласии перед лицом общей опасности, и радость общенародного подъема, вызванного победой на Куликовом поле.

Если же обратиться к совсем иной эпохе, к Некрасову, то мы увидим, что его «мужицкий демократизм», его гражданственность существенным образом отличались, например, от тиранических тенденций пушкинской поры. Некрасовскую линию в литературе мы часто склонны истолковывать однобоко, видя в великом поэте лишь «печальника народного горя». Существует, например, вот такая дежурная похвала: «Автор, продолжая некрасовские традиции, выступает в непритязательных по форме стихах по преимуществу как гражданин своей страны. Автор менее всего озабочен поисками оригинальных эпитетов и затейливых ритмических рисунков. Он искренне передает то, что думает и чувствует...» Такого рода отзывы бытуют в критических статьях. Куда реже вспоминается заповедь Некрасова-мастера: «Стих, как монету, чекань...» — то есть требование ювелирной работы над стихом.

Гражданственность — всегда воздух времени, атмосфера современности. Художественные приемы, видоизменяясь, иногда даже «взрываются», отталкиваясь друг от друга, передаются из поколения в поколение. Гражданственность, подобно мастерству, постоянно обновляется, она, как парус, наполняется ветром времени. Сила гражданственности поэзии не столько в тематике стихов, сколько в их эстетическом качестве.

Некоторые из модернистов, активно действовавших в литературе в начале XX столетия, виртуозно владели формой стиха. Максим Горький, иронически относившийся к поэзии Константина Бальмонта, называл его ге-

ниальным мастером формы, советовал молодым учиться у него. Известно, что поэзия модернистов «не пошла в народ». Талантливейший Иннокентий Анненский, оказавший мощное влияние на акмеистов и футуристов, да и на некоторых художников наших дней, не стал, однако, поэтом для всех.

Если бы Александр Блок создал только стихи о Прекрасной Даме и «Я ношуся во мраке, в ледяной пустыне...» и не написал «На поле Куликовом», «Возмездие» и особенно «Двенадцать», то едва ли его поэзия была столь долговечной и популярной, какой мы ее знаем.

Завершив «Двенадцать», поэму революции, Блок сделал многозначительную запись в своем дневнике: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь... Сегодня я — гений». Александр Блок услышал ритмы времени в тот момент, когда музыка его поэзии слилась с музыкой революции. Не случайно и упоминание автора «Мертвых душ»; Гоголь видел высшую цель художника в служении обществу, народу, запросам времени («этот шум слышал Гоголь...»). И, откликаясь на гул современности, Блок создал «Двенадцать», первым в поэзии новых лет провозгласив:

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

В пору появления «Двенадцати», как известно, не было недостатка в стихах, исполненных самой возвышенной риторикой. Но эти творения канули в Лету, а «Двенадцать» оказывает на нас живое воздействие. Резкость черно-белой гравюры, присущая поэме, так же современна, как и полвека назад: «Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек». Усложненный ритмический рисунок поэмы передает «музыку времени». В «Двенадцати» удивительным образом соседствуют героика и ирония, возвышенное и бытовое, символическое и гротесковое...

Контрастам цвета и ритма в произведении сопоставляет противоположность образов: Катя, что с «юнкерем гулять ходила — с солдатом теперь пошла», и возникающий в снежной замети Петрограда Иисус Христос, шествующий с кровавым флагом. До сих пор ведутся споры о том, почему на улицах рево-

люционной столицы поэту привиделся не какой-либо великий бунтарь, скажем, Спартак или Степан Разин, а именно Иисус Христос. Это одна из загадок великой поэмы, содержание которой на протяжении многих десятилетий порождает различные, часто диаметрально противоположные толкования. Пожалуй, только «Медный всадник» вызывал такие противоречивые расшифровки — одни видели в пушкинской поэме эпизод из жизни северной столицы, которую постигло стихийное бедствие; другие — апологетику Петра Первого; третьи — аллгорию восстания декабристов; четвертые — трагедию маленького человека перед лицом всеильного государства... Перечень истолкований может быть продолжен. Содержание «Медного всадника» практически неисчерпаемо. Так и «Двенадцать». Погружаясь в глубь стиха, в микрокосм поэтического слова, мы не можем не поражаться его многозначительности, многослойности содержания.

Если же говорить о финале блоковской поэмы, то, на мой взгляд, наиболее убедительными представляются соображения, высказанные в свое время Николаем Асеевым: «Блоку нужен был величественный образ, символизирующий великую цель, во имя которой надо было преодолеть все, даже самое темное — грабежи, гульбу, убийства. Блоковский Христос — воплощение справедливости, освещающей дела двенадцати. Какой-либо реальный образ снизил бы степен революционной романтики поэмы».

Поэма Блока счастливо сочетала в себе временное и вечное, злободневное и эпохальное, то есть особенности, обеспечивающие произведению долгую жизнь.

Гражданственность в литературе, как я уже сказал, неотделима от эстетической ценности произведения, от его художественной значимости. Я бы не стал повторять эту пропись, если бы у нас не существовал легкомысленный взгляд на гражданственность в поэзии как нечто не требующее художнических усилий.

В грохоте бурь Великой Отечественной войны с необыкновенной силой зазвучала проникновенная лирическая поэзия Михаила Исаковского, обнаружив свою гражданскую сущность. Во всяком случае, «Катюшу», написанную до войны, пел фронт и тыл; лирический образ девушки, посылающий привет любимому, стал восприниматься как образ Ролины, благословляющей на бой своих сыновей. Позднее появилось стихотворение К. Симонова

«Жди меня...», получившее всенародную популярность. Так в военных условиях гражданственность поэзии обрела свои новые качества.

Если же говорить о поэзии наших дней, то ее успехи несомненны. Но главная беда стихотворной публицистики, на мой взгляд, в риторике и декларативности. Небывалое распространение печатного слова (миллионные тиражи журналов и газет), всеобщий интерес к общественной жизни вызвали бесчисленные стихотворные отклики на злобу дня. Эти стихотворения-однодневки часто настолько безлики, шаблонны, что их следует рассматривать вне поэтического ряда, вне литературы. Мы не можем закрыть глаза на существование эрзац-поэзии, ибо она ежедневное чтение миллионов. Истоки псевдопоэзии имеют глубокие корни. У меня нет возможности проследить ее историю, ибо это тема специального исследования. Скажу только, что псевдопоэзия всегда культивировала бездумное и в своей сути мещанское представление о жизни: «Радость бабочкой веселой пролетает по кустам; вьются песни, точно пчелы по лазоревым цветам». Эти стихотворные бабочки в довольно изрядном количестве порхают по страницам периодики и многочисленных сборников, выпускаемых в Москве и далеко от столицы.

Гражданственность у нас, к сожалению, часто понимается узко и упрощенно, как рифмованное изложение статейных фактов и положений. Крупный калмыцкий писатель Давид Кугультинов, один из самых наших значительных поэтов, с улыбкой вспоминает в автобиографии, как в годы отрочества он общился к литературе, напечатав в совхозной многотиражке первый стихотворный опус: «Стихотворение имело длинное название «Успешно проведем отелочную кампанию». В нем я определял политические задачи и давал практические указания». Позднее, став поэтом, Давид Кугультинов создал высокие образцы гражданской поэзии. Так, в балладе, посвященной гибели певца степей — жаворонка, поэт пишет: «А степь дышала чабрецом... Привольной — горя мало, что все-таки одним певцом над нею меньше стало!» И делается неожиданный поэтический вывод: «Мы все со временем поймем...» В этой балладе больше гражданского пафоса, чем во множестве стихотворных деклараций.

Наша нынешняя беда в том, что поэты, давно вышедшие из отроческого возраста, упорно пишут и печатают стихи типа «успешно проведем отелочную кампанию». Нет, исчезают у нас любители-профессионалы пи-

сать на тему: «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булки выпекал».

Сложные противоречия современного мира не могут быть выражены однозначным способом. Недаром в последнее время так вырос спрос на поэзию, рассчитанную на серьезного, вдумчивого, подготовленного читателя. Так громко заявило о себе требование на поэзию многозначную, дающую возможность различных истолкований. Вот в чем отгадка секрета успеха таких поэтов, как Александр Твардовский, Николай Заболоцкий, Андрей Вознесенский... Их гражданственность не порождена поверхностными впечатлениями, она выражение внутренней сущности авторов.

Михаил Пришвин, много раздумывавший о гражданских мотивах в искусстве, оставил в своих записных книжках такую запись: «Деловое искусство есть пропаганда или искусство, подчиненное правде-делу. Правда века

людьми еще не вполне усвоена и потому не стала еще истиной, которая не мешает свободе искусства. Так что оставаться свободным в искусстве можно только на основе истины, контролирующей время правды, так как правда расположена во времени, а истина от него не зависит. И еще «так что»: правда есть истина, ограниченная временем».

За полвека истории нового общества вырос многомиллионный читатель. Поэты наших дней творят в условиях, существенно отличающихся от тех, когда писателей окружали моря народной неграмотности. «Понимание стихов» у нас, конечно, «выше довоенной нормы». И читатель вправе требовать, чтобы общественная поэзия выступала вооруженной эстетически, а также, употребляя поэтическую формулу, мы вправе ждать, «чтоб боль болела бы взаправду, слеза была слезой».



ВАСИЛИЙ СУББОТИН

Мы пришли сюда говорить о гражданственности поэзии. Но если бы нас даже не предупредили, мы бы все равно говорили об этом. Через мое поколение прошла война. Недавно в Ленинград, Дудину, мы в дни его юбилея отвезли мятый и жатый солдатский котелок. Мы написали на нем: «Мише — от московского полка». Все расписались. А фамилии и имена друзей наших — Гудзенко, Тушновой, Недогонова нам выгравировали в мастерской на боку этого котелка.

Я зашел недавно в одну квартиру. В ней над столом, на стене, висел снимок, портрет человека с молодым, очень светлым лицом, в пальто со всем нам памятным плисовым воротником, вождя нашей революции Владимира Ильича Ленина. Ленина, стоящего на том месте, где сейчас Мавзолей Ленина. А чуть в отдалении — на этом снимке — я увидел к нему через головы людей тянущегося, сдернувшего кепчонку, очень молодого рабочего паренька — нашего товарища Василия Казина — вытянувшего шею рабочего-мастерского. Члена нашего нынешнего творческого объединения.

Павел Арский — солдат Павловского пол-

ка и поэт, печатавшийся в те годы в «Правде», — брал Зимний. В Октябре семнадцатого года. Не забывайте об этом! Я не назвал тут многих имен. Только потому, что перечисление этих имен стало давно как бы обязательным. Но назвать следовало бы. Поэзия наша и богата и многогранна, как никакая другая.

Я вот был на одном собрании в этом году, на одном вечере, где на большую, уже очень утомленную аудиторию вышел поэт, стихи которого мы знали и любили в годы войны. И когда он стал читать те памятные всем нам строки, я почувствовал, как вздрогнул зал.

«Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать. Сын не простился с ней». Я говорю о Константине Симонове, его поэзии.

Я рад, что был свидетелем этого. И вот на этом вечере я подумал и, если хотите, понял тогда, что это такое — умение говорить так, чтобы тебя слушало много людей. Крупно. Это очень важно. Про самое главное. Быть сыном народа, сыном родины. Служить. Может, это и есть гражданственность. В самом прямом и простом солдатском смысле.

Надо помнить, что мы не отвоевались. Идейная последовательность, непримиримость, ясная идейная позиция — писателю без этого просто нельзя. Не будем здесь читать популярного курса.

Мы не перестали быть бойцами.

Я мог бы сослаться на многих наших товарищей. Возьмите работу Сергея Наровчатова последних лет. Я имею в виду его очень заметную, веско прозвучавшую публицистику, его статьи о поэзии. Наровчатов заговорил голосом громким и слышным.

Известно, что труднее всего заставить людей слушать себя. Это удастся в наше время только человеку очень смелому, талантливому. Не одни особенности стиля, не тонкости синтаксиса и письма определили удачу этой работы. Нет, страстность Наровчатова, кото-

рый когда-то писал в клятве своим сверстникам, павшим бойцам сорок первого и финской:

...со всем поколением в сердце несу я
Вашего сердца нетленную часть.
Навек присягаю, навек голосую
За советскую власть!

Во все времена общество растило молодое поколение в уважении к традициям отцов. Чтобы дети были верны своим отцам и продолжали их дело.

Заботилось об этом. Считало себя обязанным.

Нельзя только отвергать, нельзя без конца отрицать. Нужна другая основа. Строить, создавать можно только на утверждении, вере, а не безверии. На вере в коммунизм. На убеждении.

ВЛАДИМИР ЦЫБИН

Русская литература, особенно русская поэзия, отличалась одной очень характерной чертой. Может быть, эта черта и выделяет ее из ряда других поэзий мировых — это правдоискательство. Не зря тема всемирного скитальца создана именно в русской литературе, и особенно тип правдоискателя. Вспомним Льва Толстого и Михаила Шолохова. Так же и в поэзии. Где-то мы все в поэзии Мелеховы, где-то мы все правдоискатели.

Сейчас очень много говорят о правде, а бывает, что выше правды — истина, потому что через постижение самых разнообразных правд мы постигаем истину. И это правдоискательство делает нашу поэзию гражданской.

Когда мы говорим о гражданственности, мы отделяем ее от сущности, от того, что сам

поэт должен быть поэтом-гражданином, то есть гражданственную поэзию мы отделяем от понятия гражданина. А если сам поэт гражданин, то гражданственность проникает во все, она проникает в стиль, потому что стиль в конечном итоге — это характер. Поэтому мы можем говорить о том, что поэзия, особенно последнего времени, гражданственна.

Правда, иногда путают публицистику с гражданственностью, но публицистика это только одна сторона гражданственности, очень характерная, очень яркая, то есть публицистика — это острие гражданственности, а лезвия и сам меч — это вся поэзия. Поэтому понятие гражданственности в поэзии я лично трактую очень широко. И если стихи о любви звучат красиво, честно, сильно — они гражданственны.



История родного народа — это, конечно, самое священное достояние поэта.

А как мы в современной поэзии распоряжаемся реликвиями истории, как обращаемся прежде всего с самым высоким понятием — Россия, Родина? Как воспитываются поэзией патриотизм — это бесспорно одно из самых глубинных качеств народной души?

Количество, видимо, всегда идет впереди качества... И по части обилия накопления клятв в верности России, заверений в любви к ней, непременно сыновней, современная поэзия ушла далеко. Само слово «Россия» стало как бы визитной карточкой множества сборников, общим местом... Причем если раньше иной поэт решительно принимал на себя роль пророка в отечестве своем, готового принять исповедь России и легко утешить ее, то теперь мы видим полнейшую эклектику, разброд. Иной поэт то на колени падает перед чем-то непостижимо грандиозным, беспредельным, что как неистощимый аккумулятор всегда насытит «чертовой силой вдохновения».

И пусть я, птица перелетная,
Мечусь по всей России, мучаясь,—
Всегда Россия перелет в меня
Свою спокойную могучесть.

(Е. Евтушенко, «Какая чертовая сила...»)

В молитве постичь Русь... И возвыситься, поклоняясь... Ловкость, с которой иные поэты «распластываются» перед далеким и смутно осознаваемым ими сложным понятием, нередко весьма удивительна, сверхчужесна. Но это, как правило, унижение ради корысти,— поэт, пребывая в состоянии изрядной духовной пассивности, поклоняясь России, все время просит у нее. То это ему дай, то другое...

Степь польниная! Степь медовая!
Подари все родное мне:
И парные сады вишневые
В ярко-кипенной белизне.

И горячие слезы вербы,
Что припала, склоняясь, к ручью.
Подари молодое небо
И седое. Я так хочу.

(А. Максаяв, «Игрища»)

Сибирь,
даруй мне поднебесье,
Меня полета удостоить!

(И. Волгин, «Волнение»)

До сих пор по этим именно просьбам-челобитным можно узнать происхождение или маршрут последней поездки поэта. Сибиряки просят нечто для себя у тайги, вологодцы или молодые смоленцы у березы, горские поэты у Эльбруса. Как некогда Гайавата для сооружения пироги просил коры у березы, ветвей у кедра, смолы у ели, так некоторые поэты порой обдирают — и весьма суетливо, поверхностно, «по-браконьерски!» — какие-то внешние приметы родной земли, времени, истории! Но фотограф в поэзии еще никогда не был подлинным патриотом! И Россия перелет в поэта свою могучесть, если есть душевная глубина, «емкость» выстраданной поэзии, есть звучащие струны в душе!

Физическое зрение вовсе не одинаково со зрением духовным. Александр Блок на Куликовом поле, вероятно, так же заброшенном и забытом в его время, как и в наши дни, сумел увидеть гораздо больше, чем самый ловкий и вездесущий фотограф. И само поле Куликово предстает не как проселочная глушь, а перепутье русской трагической истории. После блоковского взгляда на исторический пейзаж Куликова поля или на расхлябанные колеи России, где «вязнут спицы расписные», после есенинского проникновения в «несказанное, синее, нежное» рязанских раздолий, взгляды многих современных поэтов на Родину кажутся просто незрячими. Столько душевной немоты, краткости ассоциативных связей, скольжения по фасаду события, что, ей-богу, ни поэзия, ни история не раскрывают своих загадок. А ведь от столкновений родного в веках, по мысли Блока, звучит особая музыка, раскрывается нечто тайное, сокровенное,— так было после встречи Пушкина с Петром в «Медном всаднике»!

А. Яшин, поэт с глубоким чувством Родины, не умеющий эстрадно-громко, на миру благовестить о своей любви, в стихотворении «Твоя Родина» дал прекрасный совет тем, кто хотел бы преодолеть эту фотографическую незрячесть: жить радостью и болью народа, идти босиком по земле.

Спешу на выручку, других зови,—
Пусть не найдется душ глухих и жестких!
Без этого к чему слова любви
О родине,
О речках,
О березках?!

Да, именно эта, идущая вечно по земле «босая Память — маленькая женщина» (прекрасный поэтический образ Е. Исаева) возвращает истинно патриотическое зрение и поэту и прозаику, ведет его на острые камни исторических дорог. И излюбленный «местный цвет» — березки, лиловые небеса той же Вологодчины, светлые кольца озер в поэзии земляка А. Яшина и Вас. Белова молодого поэта Виктора Коротаяева предстают уже совсем не пестрой идиллией, а дорогой из прошлого в будущее.

Меня глубоко радует, что жемчужная нить подлинной патриотической поэзии, прерывавшаяся порой и компрометировавшаяся бездумными одами, трескучими здравицами, сейчас вновь соединена воедино с блоковской, есенинской традицией. В сборниках «Третьи петухи» Вас. Федорова, «Босиком по земле» А. Яшина, поэмах С. Викулова и других синтезируются когда-то разделенные патриотизм и чувство нравственной ответственности за все несовершенство мира.

К сожалению, своеобразное «браконьерство» в освоении темы патриотизма имеет еще множество обликов. Если некоторые поэты вроде А. Максаева, как бы в молитве самоуменьшаясь перед далекой и неясной для них иконой, упадают ниц, то другие усваивают импозантную позу приятельства с великими фигурами. Это уже не молитвы, а царские кивки. Они со всеми по-хлестаковски на «ты»... запанибрата. В этом смысле просто поразительно то опошление самого имени Льва Толстого, которое допускает И. Фоянков, передавая на свой лад атмосферу ухода Толстого из Ясной Поляны. Толстого, по выражению И. Фоянкова, «хватились в доме поутру».

...Ведь как-никак на целый мир —
Шум, потрясенье,
Ведь как-никак — «Война и мир»
И «Воскресение».

Припоминали: с давних пор
За ним водилось —
Страдал, ворчал. Но до сих пор
Все обходилось...

Такие стихи воспитывают не гордость исторической славой России, а развязно-пошлое высокомерие недоучек, похлопывающих великого «Львишку» по плечу: «Дает старик!»

Вас. Федоров в стихотворении «Наш мир беднеет» хорошо сказал о необходимости защищать красоту в мире как почву самой поэзии, защищать богатство связей человека и природы, человека и истории, как кислородную зону поэзии:

Ни елка,
Соскочившая
С пенечка,
Ни конопели
Дымчатый прибор!
Ничто не уходило
В одиночку,
А что-то уводило
За собой.
О, конопля,
Сбежавшая от прясла,
Ты в детской
Не участвуешь игре!
Ни семечка,
Ни запаха,
Ни масла,
Ни коноплянки,
Певшей на заре.

В самом деле, трудно поэту обращаться к читателю, духовно оглушенному антилиричной джазовой песней, невольно «вибрирующему» всем телом при звуках современного барабана или ударника, обходящемся в своей практике уже не словами, а числами.. «Потому что все оттенки смысла умное число передает»... Современная цивилизация, скорости и ритмы, шум сенсаций, вносящих непрерывную динамику и бодрость, в жизни современного человека имеют наряду с положительным и отрицательные эффекты. Человек оглушается, стандартизируется, внешнее подавляет часто оригинальность внутренней жизни, как некий «идеализм», ампутируется душа и совесть... А перед винтиками и бездумными существами поэзия беззащитна. Она не может выполнять роль двигателя нравственного и духовного прогресса, она гаснет, как лампа, утратив источники питания. Развитие и обогащение патриотической тематики — это гражданственность самого высокого плана, это реализация задач по воспитанию гармонично развитого, богатого духовно человека, укрепление тех всепроникающих уз, которые образуют плодородную структурную почву духовной жизни народа, почву его поэзии. А. Платонов в недавно опубликованной в «Литературной России» статье «Пушкин — наш товарищ» очень точно определил, анализируя образы Петра и Евгения в «Медном всаднике», место поэта: «Петр для Пушкина был направлением в обширный, деятельный мир, где, однако, тоже нельзя существовать без... Евгения, чтобы не получилась одна «бронза», чтобы Адмиралтейская игла не превратилась в подсвечник у гроба умершей (или погубленной) поэтической человеческой души». Границы гуманизма, доброты, источника нравственного развития человечества должны быть защищены поэзией во имя людей, во имя самой поэзии.

Нередко встречи и обсуждения сводятся к тому, что каждый выступающий говорит о своем, по существу не вступая в общение с окружающими. Наш разговор сегодня, к счастью, складывается по-иному. Постепенно, сквозь споры и несогласия, мы пробиваемся к истине. Сейчас, очевидно, все мы признаем, что гражданственность в поэзии есть отнюдь не признак одного или нескольких жанров, а качество поэтического творчества — качество драгоценное, очень многое определяющее не только в направлении, но и в строении стиха, выступающее все с большей отчетливостью и силой.

Не на долгий срок обратимся к прошлому, к тем временам, когда в представлении многих поэтов и критиков, а следовательно, и читателей гражданственность жила только в открыто публицистических стихах, написанных на темы дня, и противостояла лирике, которая, в свою очередь, была «привязана» — насильственно! — к определенным темам: любовь, природа, одиночество...

Надо сказать, что и в ту пору живое развитие поэзии отбрасывало эти искусственные разграничения, шло «поверх барьеров». Лирика Александра Блока была напряженной, мучительной думой о России, тревогой и заботой о ее будущем. Владимир Маяковский в своих стихах о новостройках пятилетки оставался лириком, а в своей поэме о любви «Про это» утверждал высокую гражданственность. И Сергей Есенин в словах, обращенных к любимой женщине, делился сомнениями и надеждами, рассказывал о том, что значило для него «знамя вольности и светлого труда». Теперь с удивлением мы вспоминаем о том, как в это же время теоретики Лефа и Перевала спорили о том, что важнее и дороже: поэзия жизнепознания или (!) жизнеутверждения, лирика или (!) публицистика. Да что говорить о теоретиках! Прекрасный лирический, гражданский поэт Николай Асеев, свободно и убежденно раскрывавший себя, свою личность, восклицал в «Антигениальной поэме»: «Мы щиплем теперь индивидуумов, как раньше щипали царей».

Постепенно наша поэзия осознавала свою природу, свои возможности, преодолевались групповые предубеждения, и уже в тридцатых годах торжество лирики было очевидно и общепризнано. Означало ли это, хоть в маленькой степени, снижение гражданской на-

пряженности, силы стиха? Ни в коем случае; напротив, с особенной очевидностью сказалась способность нашей поэзии руководствоваться высокими общественными критериями во всех обстоятельствах, вкладывать свою личную заботу в решение вопросов всенародного значения.

Об этом с неопровержимой убедительностью свидетельствует и весь опыт военных лет. Обратимся ли мы к получившим широчайшую известность «Книге про бойца» Александра Твардовского, блокадным стихам Ольги Берггольц или к скромным строкам не увидевших конца войны Алексея Лебедева, Георгия Суворова, — равно поразит нас безраздельность, полнота нравственной отдачи, слияние оперативных фронтовых задач с душевными потребностями поэта и гражданина, человека и воина. После этого любая попытка вернуться к старым, ветхим противопоставлениям и размежеваниям обречена на неудачу.

Однако у нынешнего дня поэзии свои сложности и трудности. Завоевания и достижения прошлых лет не могут быть механически повторены. Каждое новое стихотворение требует новых усилий. Каждый поэт, испытывающий потребность сказать свое слово о времени, чувствует себя первооткрывателем.

Нынче редко можно встретить человека, который стал бы всерьез утверждать, что злоба дня и проблемы, постоянно волнующие человека и человечество, в жизни и в искусстве существуют отдельно. Тому, кто стал бы пытаться доказать недоказуемое, можно напомнить о том, что не подверженные влиянию времени «Слово о полку Игореве» или «Божественная комедия» Данте были произведениями сугубо злободневными и что умение разглядеть в преходящем долговременное всегда было неотъемлемым признаком подлинного мастерства. А уж теперь-то, в наши годы, когда вопросы, которые принято называть вечными, решаются практически, когда мы научились в повседневном различать дыхание эпохи, это совмещение глубинного с быстротекущим, устойчивого с подвижным, меняющимся стало и необходимым и естественным.

Все это так. Но одно дело — определение, понимание задач и возможностей. Другое — их реализация. Обещания и декларации проверяются качеством рядовых, будничных строф. Каковы же они — будни и праздники

нашей поэзии? Вот, к примеру, украинский поэт Виталий Коротич в статье «Размышления по поводу» («Литературная газета», № 8), посвященной преимущественно книге «День поэзии 1966», произносит слова горькие и жестокие. Подкрепляя свои рассуждения выписками, в достаточной степени красноречивыми, он приходит к выводу: «Меняются моды, но остаются служители мод, снова рождаются посредственные стихи и посредственные поэты». И напоминает «об ответственности перед временем и о том, что недостойно забывать об этом».

Признаться, при чтении статьи Коротича испытываешь двойственное чувство. Соглашаешься с ним, сочувствуешь его взыскательности, его нежеланию мириться с ремесленным сочинительством, с существованием «полых» стихов, обнаруживаешь в своей памяти изрядное количество примеров, которые могли бы встать в тот же печальный ряд. И вместе с тем рождается желание возразить поэту, когда он одобрительно называет лишь имена общепризнанные, бесспорные, так сказать, антологические, словно не замечая широты фронта нашей поэзии, выдвигая вперед различных ее участников, успехов, достигаемых многими и ее бойцами.

Тотчас же возникает искушение назвать ряд имен и заглавий. Но этот соблазн надо преодолеть: перечни, даже составленные как нельзя более тщательно, плохое доказательство. Лучше сказать о немногих поэтах и книгах, но постараться уловить черты, их характеризующие.

Вот новая книга Новеллы Матвеевой. Стихи, собранные в большей части ее разделов, обманывают читателей, приготовившихся найти здесь строки, которые подтвердили бы представления, сложившиеся при первых встречах с поэтом. Это счастливый обман, свидетельствующий о том, что Матвеева не склонна удовлетворяться своими прежними находками, как бы удачны они ни были. В самом деле, уже возникло перед нами облик милой мечтательницы, способной ценить прекрасное и доброе, складывать умные сказки о дальнем и близком, возвышенном и обыденном. Вспоминается, с какой радостной настроенностью слушал Самуил Яковлевич Маршак эти грустные и веселые, иронические и нежные строфы, опять и опять возвращаясь к тем, что больше всего трогали своей свежестью и смелостью. А теперь перед нами та, да не та Матвеева. Она произносит слова негаданные, нечаянные, выказывает чувства, ранее ею не обнаруженные, делится мыслями,

острота и пронизательность которых заставляет по-новому относиться к ней, видеть в ней поэта более сложного и разностороннего.

Когда Матвеева изображает старого певца «асфodelей и маленьких нимф», который «думал, что слово — хрусталь и фарфор, а слово — гранит», который затем «понял, что слово — гранит и кремль, а слово — душа», или когда она обращается к собрату-стихотворцу с призывом: «не пиши, не пиши, не печатай хриплых книг, восславляющих плоть!» — и видит с торжеством, «как волокна огнистого пуха, из столетия в столетие летят звезды разума, сполохи духа, и страницы в веках шелестят», — в этих умных, едких, восторженных строфах, которые и сами по себе хороши, мы находим к тому же и объяснение тех усилий, что позволяют Матвеевой уверенно и успешно осваивать новые темы и подходы, до сих пор ей, надо думать, не дававшиеся. Ее «Гармония», «Песни Киплинга», «О наградах», «Терпение» — это стихи, отмеченные творческой, гражданской зрелостью. Именно в возросшей гражданственности и сказалось духовное развитие поэта; это процесс внутренних, органический. Свойства, которые отличали стихи Матвеевой, не перестали существовать, но обернулись дополнительными гранями, сперва остававшимися в тени.

Николай Сидоренко взялся за перо примерно тремя десятилетиями ранее Матвеевой. Но его книга «Эта незапамятная ночь» также несет на себе мету нравственной неуспокоенности. Движение мысли приобрело большую пылкость, напряжение, резкость. «Я любил листать календари, перебирать событий давних даты» — так начинается одно из стихотворений. Казалось бы, созерцательные, бездейственные строки. Ан нет: познание прошлого свободно от бесстрастия и равнодушия, потому что поэт здесь находит истоки настоящего и будущего «И самые глухие времена, и самые забытые поэты» — о многом говорят, многому учат. «Ты слышишь ли далеких песен звук и голоса доверия и братства?» — восклицает поэт, и в этом вопросе опять-таки внятно звучит нота гражданского беспокойства, желание видеть доблестные традиции минувших лет живыми, развивающимися.

Обращаясь к различным стихам, к разным поэтам, мы снова и снова удостоверяемся в том, что ответственность перед временем для них не есть нечто привнесенное со стороны. Она родилась в недрах поэтических характеров и стала их неотъемлемой чер-

той, многократно и своеобразно выраженной.

Немало способствовала укреплению этого высокого качества владеющая ныне нашей поэзией жажда исследования жизни,—исследования воодушевленного и строгого, развернутого и сосредоточенного. В последнее время завязались споры вокруг так называемого интеллектуального направления нашей поэзии. Дыма без огня, как говорится, не бывает, основания для постановки этого вопроса имеются. Но право же, его стоит ставить шире. Перемены, происшедшие в поэзии, не исчерпываются возросшим интересом к мотивам науки, искусства, культуры. И на вооружении современного стиха находятся не только подчеркнута «сверхскоростные», «ультразвуковые» способы изображения. Мы все еще никак не можем привыкнуть к многоголосию нашей поэзии, к ее увеличивающемуся умению охватывать разные оттенки душевной жизни, различные стороны человеческой деятельности и вводить в действие всевозможные способы выражения и воплощения.

Вот и сейчас: разве не являются неотъемлемой и притом важнейшей частью нашей поэтической современности наряду со стихами, открывающими нам тайны молекулярного анализа, стихи, передающие поэзию обыкновенной трудовой жизни. И еще: сегодня имеет власть над нашими умами и сердцами и «взрывающаяся» строка Андрея Вознесенского — «Изумленнейшее хранилище жизни, облака, вышины», и задумчивые, ясные, вместе с тем пронзительные строки Александра Твардовского, покоряющие своим «безысходным напряжением», и другие слова, звучащие на все лады, расцвеченные несхожими нравственными и образными красками.

Владеющий поэтами пафос исследования жизни подсказывает им новые и новые истолкования, решения, ракурсы. Стихи, переполненные обещаниями, клятвами, уверениями в готовности поэта к испытаниям, в его мужестве, серьезности и других достоинствах,— в наши дни мало что значат.

Вот пишет Ашот Гарнакерьян: «Ищу никем не сказанное слово, чтоб мысли к новым руслам повернуть». Желание это заслуживает всяческого одобрения. Но, наверное, не один читатель, услышав о добром намерении автора, решит подождать, пока оно будет осуществлено, а уж после этого составит о нем окончательное мнение. Достоверность, истинность, жизненная полнота стиха — непременное условие его успеха, его действительности.

Стоит вспомнить о том, что новую полосу развития нашей поэзии ознаменовало появление двух больших книг: «За далью — даль» Твардовского и «Середина века» Луговского широко осветили наше прошлое и настоящее.

Большие явления искусства, сильные своей особенностью, неповторимостью, одновременно характеризуют, представляют направление усилий, вызывающих к жизни и другие, на первый взгляд совсем иначе написанные, произведения.

Когда Николай Рыленков предупреждает: «Не выбирай поэзию покою в сторожа...»,

когда Глеб Горбовский радуется тому, что с ним поделились «хлебом — деревня, работой — дорога, гневом — война, а поэзией — чудо»,

когда Сергей Смирнов напоминает, «что клятва на хлебе — особая клятва, где смертью карается всякая ложь», — в этих и других строках, каждая из которых отражает вкусы и пристрастия поэта, ее создавшего, распознаешь господствующее нынче стремление не удовлетворяться ни повторением общеизвестных и отвлеченных положений, ни аккуратным и покорным воспроизведением виденного и слышанного. Мысль и чувство, имеющие своим источником реальные наблюдения, факты, продуманные и пережитые, — вот слабые нашей поэзии, вот прочная основа ее гражданственности.

Могут возразить: так бывало и раньше, и подобное возражение трудно оспорить. Но в наши дни жизненная достоверность воодушевления и одухотворенность реального изображения стали осознанным, последовательно осуществляемым принципом, и это многое определяет.

Оценим настойчивость, с которой поэты стараются найти точный образ, сильный и динамизмом и пластичностью, для обрисовки сложных, порой нелегко поддающихся воплощению жизненных явлений. Вот Михаил Дудин, обращаясь к памятным блокадным дням, вспоминает: в плывущую по Неве льдину вмерз мальчик «в ремесленном кургузом пиджаке». И до сих пор кажется поэту — «плывет под блеском всех ночных созвездий, как в колыбели, на седой волне» этот не живший, не работавший, не любивший, не выросший подросток — укор и предупреждение.

Петр Семьинин размышляет: «Какой же образ мне найти зимам детства моего бездомного!» — и решает: «Пускай портретом этих зим будет доброе лицо солдата, пусть таким останется во времени в естестве своем протом солдат».

Константин Ваншенкин, готовясь сказать о том, как дорога ему «эта даль зоревая» — родная даль России.— бережно воссоздает полосу лугового тумана и женщину, в ней потонувшую,— «только ноги видны, да цветастый платочек» — словно птица, вошедшая в облако и светящаяся сквозь его разрывы...

Неисчерпаема жизнь, и неисчерпаемы решения поэтов. Их вдохновение — избирательно, и чем обширнее жизненные пласты, охватываемые художником, тем более глубокому и властному освоению они

ВЛАДИМИР ТУРКИН

Я полностью разделяю пафос нашей дискуссии: серые, трескучие стихи на высокую гражданскую тему не только не нужны, они — вредны. Недавно я возвращался из Горького в Москву. Включили радио: концерт для пассажиров. Я услышал песню о строителях. Кто-то бодряческим голосом пел: «Я горжусь стальным каркасом, я горжусь рабочим классом!» — авторы этой песни, очевидно, считают, что они делают полезное гражданское дело. А ведь дело-то вредное: компрометация труда рабочего и компрометация искусства одновременно. Не было желания запоминать ни песню, ни ее авторов. Мне могут возразить: «Надо было запомнить авторов да назвать их имена». Не желаю этого делать. Не желаю потому, что «сотворенное» этими, с позволения сказать, авторами находится за пределами искусства. Мы не должны здесь решать проблемы кустарничества и ремесленничества, мы должны думать о поэзии. Поэтому я хочу вынести за рамки нашего разговора разговор о халтуре, а говорить всерьез о поэзии, о гражданственности в поэзии.

Рядом с нами работают люди, в творчестве которых каждая мысль, каждое движение души, каждая строка — глубоко личные, воспаленные, пульсирующие,— прежде чем вылиться на бумагу, были как бы соизмерены с жизнью народа своего, земли, целой страны. Я говорю о творчестве Василия Федорова, Михаила Луконина... Я говорю о масштабности мышления и чувствования. Но скажите — откуда же возьмется эта самая масштабность у человека, занятого всего-то навсего собст-

подлежат. Евгений Винокуров недавно написал:

В личной жизни поэта
В моря корабли уплывают —
Вслед им женщины машут
Платками в приморском саду...
Мать ждет сына с работы —
На плитке обед остывает.
Астроном открывает
В бездонных пространствах звезду...

Да — личная жизнь поэта вмещает большие и малые дела его современников. И потому так естественна, так прочна, так нужна ему самому гражданственная сила стиха.

венной, единственной своей судьбой? Будь даже такой человек и талантлив, он загубит свой талант в субъективистском разгуле чувств и мыслей.

Нынче в поэзии больше, чем в какие-нибудь другие времена, талантливого мелкотемья и талантливого «псевдо». Псевдомысли, псевдосмелости, псевдогражданственности, псевдофилософии. Повторяю — талантливого, потому что общее гуманитарное развитие самого широкого круга людей уже рассекретило технику стихосложения. Будто бы талантливых стихов пишется много, а тоска по масштабности у читателей не исчезает. Мне думается, что талантливое мелкотемье сейчас даже более опасный враг, чем легко разоблачаемая всеми рифмованная трескотня. Делаются попытки придать этому мелкотемью философско-социальное звучание, глубину, социальную остроту, но все это на поверку оказывается кажущимися звучанием, глубиной и социальной остротой. Молодые поэты обращают внимание на то, что вот, мол, вся поэтическая классика прошлого века была «оппозиционна» к «официальному» мировоззрению, была поэзией протеста, бунтарства, и в этом ее прогрессивность, и в этом секрет ее долготы. Да позволительно мне будет высказать здесь одну в общем-то знакомую людям, но не часто повторяемую мысль о том, что если сегодня настало время сближения, взаимодействия, взаимообогащения разных наук — и только в этих условиях возможен их прогресс,— то настало время активнейшего сближения, взаимодействия и взаимообогащения

поэзии с наукой, с науками — особенно такими, как социология, философия, история, психология.

Долгими десятилетиями гражданская классическая поэзия шла «на ощупь» в поисках счастья и свободы для людей. Она звала к счастью, к свободе, она исхлестанно билась от безысходности, она «впотьмах» молила об этом счастье и тревожила души людские. Секреты построения такого счастья, секреты организации наиболее разумного общества, через которое был бы счастлив каждый живущий в нем, были закрыты для поэзии, да долгое время и для науки. Эти «секреты» были болью Радищева и декабристов, Пушкина и Чернышевского. Чехова исчахотила тоска о счастье для каждого живущего среди людей. Поэзия не могла открыть законы социального счастья. Это делала, накапливаясь, материалистическая марксистская наука. Она открыла эти законы. Людям старшего поколения, нашим отцам, всего-то полвека тому назад выпало на долю начать реализацию этих законов на деле, впервые на земле и впервые в истории общества. Они начали это делать. Мы — как граждане — продолжаем это делать. Идем — хорошо идем, пусть не во всем еще удачно. Но разве может жить сейчас гражданская поэзия сама по себе, не питаясь, не обогащаясь знаниями этих законов, высокомерно пренебрегая ими?! Не может. Не может она быть и масштабной, не может она быть и прогрессивной, не может она быть и долголетней, если она замкнется только в рамках прежних поэтически обособленных категорий.

Поэт всегда субъективен, как и всякий художник. Это — верно на все времена. Но мы еще плохо знаем — да многие поэты и не хотят думать над этим, — где кончается субъективность и начинается субъективизм. Субъективизм — это несправедливость. Несправедливость оценки товарища, человека, людей, общества, человечества. Поэзия не имеет права быть несправедливой, поэтому она не имеет права быть и субъективистской. Вынося

свой суд обществу — сейчас, в XX веке, — поэзия сама себе завязывает глаза, если не делает своей подругой науку — историю, философию, социологию и психологию. Исторический примитив — вот что заметно еще на многих и многих так называемых гражданских стихах сегодняшнего дня. Отсутствие подлинной глубины и подлинной, если хотите, социальной остроты. Стандартизация смелости, шаблон «разоблачительства», «мода» разрушения, а не подлинная борьба со скотским в человеческой психологии, в его характере и поведении. У нас, в поэзии, — если бюрократ, то обязательно директор. А между тем и приемщик обуви в плохой сапожной мастерской может быть «великолепным» бюрократом. Но для поэта бюрократ-сапожник — это не «смело», а бюрократ-директор — это «смело».

Наш народ первым среди всех народов взял власть в свои руки. Он впервые начал сам управлять властью. Легко это — впервые-то? Не легко. Исключены ошибки? Нет. Были ошибки? Были. Что делать, чтоб не повторялись? Думай, поэзия, думай! Учи историю, учи философию, учи социологию, учи психологию — и думай.

Мне хочется подчеркнуть мысль о том, что гражданская поэзия не может, не должна быть примитивной, неглубокой, талантливо-бездумной. Она не может быть исторически неграмотной и не масштабной, как бы внешне талантливо ни выглядела она.

С халтурой-то мы справимся, нам сейчас не с халтурой бороться надо в поэзии, а глубину поэтическую накапливать. Думать — вот что надо. Думать по-граждански, если хотите, — по-государственному думать. Думать внутри поэзии — глубже, строже, грамотней и честнее, — думать со своим народом и правительством вместе. Гражданственность — это еще и знание истории, понимание, ощущение, предвидение тенденций, которым жить и которым умирать в нашем обществе. Гражданственность — это позиция в утверждении или отрицании этих тенденций.



свидетельства. Сурков: «Возникло стихотворение, из которого родилась эта песня, случайно. Оно не собиралось быть песней. И даже не претендовало стать печатаемым стихотворением. Это были шестнадцать «домашних» строк из письма жене. Письмо было написано в конце ноября 1941 года, после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью после тяжелого боя пробиваться из окружения с одним из полков. Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из эвакуации композитор Константин Листов, не пришел в нашу фронтовую редакцию и не стал просить «что-нибудь, на что можно написать песню». «Чего-нибудь» не оказалось... И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте...» Симонов: «Жди меня» — глубоко личное стихотворение, оно мною не предназначалось к печати... В декабре сорок первого года, прибыв с фронта, я зашел повидаться с Петром Николаевичем Поспеловым. В разговоре он спросил, нет ли у меня каких-нибудь стихов для «Правды». У меня не было ничего подходящего. Есть, правда, одно стихотворение, сказал я, но оно интимное...» Нетрудно догадаться, что оба поэта не собирались печатать эти стихи по одной и той же причине: они им не казались гражданскими — так сказывалась инерция тематического подхода, согласно которому интимное никак гражданским быть не может.

А теперь вернемся к нашим дням. Каковы же те специфические творческие задачи, которые встают сегодня перед поэзией и поэтом, работающим серьезно, чутко слушающим время, а не минуту, движимым подлинно гражданским чувством? У меня такое впечатление, что в последние два-три года проза в каких-то очень существенных вещах стала теснить поэзию. Я вовсе не хочу этим сказать, что нынче нет хороших стихов. Но какая-то — и немалая — доля читательского интереса переключилась с поэзии на прозу. Если несколько лет назад самые острые споры у читателей вызывали стихи, сегодня столь бурно обсуждают прозу. Это не случайно.

Время непосредственного, эмоционального отклика, которым в течение нескольких лет держалась поэзия и которым она завоевала читателя. потому что говорила ему о том, что у него наболело, что он остро чувствовал, подтверждая закономерность и истинность его чувств, — это время прошло. Пришло время анализа. Время потребовало осмысления больших и серьезных событий, которые мы пережили, внимательного, дотошного и все-

стороннего исследования причин и следствий явлений, с которыми мы имеем дело сегодня. Поэтому и проза сейчас на передней линии литературы не та, которая по преимуществу живописует, а та, которая исследует. Показательно, что новые книги Веры Пановой уже вызывают такого острого интереса, как прежде, хотя она сейчас вовсе не всегда пишет хуже, чем, скажем, десять — пятнадцать лет назад.

Поэзии этот исследовательский пафос нашего времени диктует требования историзма, философского осмысления, синтеза. Естественно, что возникает тяга к поэме. И неожиданно вспыхнувшая в «Литературной газете» дискуссия о поэме, к сожалению, сразу же свернувшая на путь мало плодотворный, тоже была своеобразным предчувствием того, что время требует поэмы. Это носится в воздухе. Как всегда, одним из первых это почувствовал Евгений Евтушенко, взявшись за свою грандиозную «Братскую ГЭС». Увы, поэма не получилась, она не несла философии, лишена подлинного историзма. Это механическое собирание того, что поэт уже писал и что читатель отлично знает, а не осмысление эпохи с новых, более высоких позиций.

Задача, которую время поставило перед поэзией, очень трудна. Будет ли она выполнена, как и кем — предсказать невозможно. Я сошлюсь на слова Арсения Тарковского, хорошо сказавшего о масштабе того, что предстоит сделать поэзии: «Наступает пора освоения завоеванных ранее уделов... Талантами завоеваны земли. Сделано все, чтобы к собиранию их мог приступить гений. Его еще не видно, но появление его не кажется нам неожиданным. У нас уже были свои Державин и Жуковский, Батюшков и Гнедич. Нам остается ждать появления Пушкина».

И последнее. Здесь уже говорили о тех стихах предвоенной поры, которые были посвящены самой острой теме того времени — будущему сражению с фашизмом — и не выдержали проверки реальностью, умерли в первый же день войны.

Сравнение поэзии с оружием стало расхожим. Но если это сравнение верно — а оно верно, — то справедливо и другое: человек, обладающий правом владеть оружием, несет ответственность за то, как он этим оружием пользуется. А мы очень часто прибегаем к этому сравнению ради красного словца, потому что об ответственности не думаем. И, возвращаясь к стихам, о которых здесь уже говорили, я хочу напомнить горькие слова Алексея Суркова, сказанные в дни войны: «Как поэзия отражала войну? Мне казалось,

что до войны мы часто дезориентировали читателя насчет подлинного характера будущих испытаний. Мы слишком «облегченно» изображали войну. Война в нашей поэзии выглядела как парад на Красной площади... До войны мы читателю подавали будущую войну в пестрой конфетной обертке, а когда эта конфетная обертка 22 июня развернулась, из нее вылез скорпион, который больно укусил нас за сердце, скорпион реальности, трудной большой войны». И когда симоновский Синцов, видевший наше отступление из Белоруссии, «с яростью вспомнил прочитанный два года назад роман о будущей войне, в котором от первого же удара наших самолетов сразу

МИХАИЛ ЛОБАНОВ

Прежде чем говорить о гражданственности — условимся о главном. Какая гражданственность — рационалистическая или глубоко органичная? Фразерство или выношенное в душе? Очередная «интеллектуальная» мода или сущность личности? Знаю я одного «гражданина», который в зависимости от аудитории то язвит о «сувенирной» России (к утехе сидящих), то (опять-таки в подходящем случае) выплясывает нечто любвеобильное, косясь на произведенное, так сказать, патриотическое впечатление. Разная бывает гражданственность. Сейчас вот — очередным конвейером (после стольких «модерных» представлений) — подошла очередь «гражданственности» у наших гуманитарных мальчиков. Сколько здесь можно услышать стихов, цитат, «ассоциаций»...

Для великой русской литературы гражданственность была сущностью народного самопознания. До позы ли, когда постигается такая глубина? Все сходилась в этой глубине — литература, философия, наука. Самоуглубление личности шло в недрах гражданственности... Давайте все-таки несколько попридержим свою обычную бойкую готовность все на словах поднять — о чем бы ни шла речь. Слово далеко ведь не всегда равноценно делу. Ни дипломы, ни членские билеты не выдаются на гражданственность. Не приходит она и по желанию, даже самому громкому. Гражданственность — это, я бы сказал, судьба личности. Конечно, не узко литературной, а такой личности, которую выдвигает народ для выражения сокровенных своих чувств.

Есенин и Маяковский — это не только про-

разлеталась в пух и прах вся фашистская Германия», — а он мог вспомнить не только этот роман, — право же, для этого были все основания. К чести нашей литературы надо сказать, что было немало художников с высоким чувством гражданской ответственности, не поддававшихся этому поветрию, и им в дни испытаний не приходилось краснеть за то, что они писали в мирное время.

Я привел этот пример, говорящий о том, сколь велика ответственность поэта перед народом и историей — в войну за все платилось кровью, — для того чтобы напомнить, что и в наше время ответственность перед будущим с поэта не снимается.

блема двуединого выражения духа эпохи, но и проблема исторического проявления основы культуры — ее преемственности, национальных традиций.

Не произошло ли у нас, пишущих, смещение понятий, казалось бы, элементарно очевидных? Один поэт, например, восклицает в своем стихотворении: почему я должен думать о народе, а не народ обо мне? И подобные стихи почитаются гражданскими. Но я не могу взять в толк, какое гражданское горение может быть у обиженного народным невниманием? Не утратили ли мы понимание, казалось бы, азбучных истин, того, что является первоосновой всякого развитого, творческого духа? Сейчас иные наши стихотворцы разъезжают чуть ли не по всей планете, войдя во вкус международного собеседования. Есть ли время у них задуматься: сами ли по себе они неотразимы? Точно так же, как нам надо было бы понимать, что немыслимо никакое творчество вне традиции. Это же элементарная культура духа.

У нас очень в ходу в литературе (особенно в критике) смешение в одно целое самых разнородных вещей. Чтобы, так сказать, не вылезало то, что без этого смешения может вылезти. Нет ли и в гражданственности такого «упорядочения»? А между тем здесь есть что различать. С одной стороны, громко заявляет о себе мещанская гражданственность, как броское средство все той же дешевой популярности. Это нечто газонно-подстриженное, безликое, но оттого не менее плодящееся. С другой стороны, взывают к гражданственности серьезные проблемы. Это, прежде всего,

конкретные проблемы. Надо полагать, что для литератора может быть свой гражданский долг в самой литературе. В утверждении природы ее. Быть достойным традиции великой русской литературы, великой русской поэзии. Традиции во всем: в идейно-эстетических критериях, высоте художественной культуры, в достоинстве слова. Нам бы пора прийти в себя, несколько сбавить свою самоуверенность и строчкогонство,— хотя бы задумавшись, какие высятся Гималаи культуры.

ВАДИМ КОЖИНОВ

Мне представляется, что, говоря о проблеме гражданственности в поэзии, никак нельзя сводить ее к проблеме гражданственности вообще — хотя это очень часто делают. Что такое гражданственность вообще? Можно, очевидно, определить ее как личную ответственность человека за судьбу своего отечества, как поведение, которое дает человеку право лично выступить от имени отечества. Здесь важно всемерно подчеркнуть слово «право». Нельзя просто выступать от имени отечества; надо иметь на это право, надо заслужить, завоевать, выстрадать это право.

Подлинной гражданственностью обладают — воин, который, не страшась смерти, сражается за свободу отечества, крестьянин, рабочий или ученый, берущие на себя долгий и тяжелый труд, высшей целью которого является не собственное благополучие, а благо отечества, общественный деятель, самоотверженно борющийся с социальным злом, носители которого могут жестоко отомстить. Человек может воплотить свою гражданственность на любом поприще, но сделать это очень нелегко.

Между тем, гражданственность поэта сплошь и рядом понимают крайне облегченно — просто как стихотворное выражение тех или иных гражданских идей и чувств. Поэту будто бы достаточно заговорить о судьбах отечества и поклясться в любви к нему — и он автоматически становится поэтом гражданственным.

По-моему, это совершенно ложное представление.

Чтобы иметь право говорить — то есть чтобы в самом деле говорить — от имени отечества, необходимо обладать такими богатствами, глубиной и цельностью творческого духа и самой поэтической судьбы, которые позволяют поэту реально чувствовать себя лириче-

А вообще-то всем нам, решившимся обращаться к людям со словом, почаще стоило бы вдумываться в сказанное Достоевским о Некрасове: «В Некрасове поэт и гражданин — до того связаны, до того необъяснимы один без другого, и до того взяты вместе объясняют друг друга, что, заговорив о нем, как о поэте, вы даже невольно переходите к гражданину и чувствуете, что как бы принуждены и должны это сделать и избежать не можете».

ским голосом народа. Величайшие наши поэты — Державин, Тютчев, Некрасов, Блок и, конечно, Пушкин — были одновременно величайшими гражданами в поэзии.

Я хочу обратить внимание на один факт. Иногда Пушкину чуть ли не вменяют в вину, что он был в личных отношениях с царем. Кстати, Пушкин — единственный поэт XIX века, имевший подобные отношения (Жуковский просто служил у царя). И у Пушкина были на то основания. Ибо он чувствовал себя (и был прав) как бы равным русскому государству, которое тогда олицетворял царь, чувствовал личную ответственность за все, что делается в его отечестве, и за все, что будет делаться. Он ни на кого не перекладывал ответственность за судьбу России, ибо он, в сущности, сам был Россией, п о э т и ч е с к о й Россией.

И нельзя не сказать о том, что иные современные стихотворцы, претендующие на гражданственность, подчас явно не дотягивают до нее; их стихи остаются именно на уровне претензий. Во-первых, в их стихах редко проступает чувство личной ответственности за судьбу отечества. Во-вторых, идеи и чувства, воплощенные в их стихах, — это большей частью расхожие, висящие в воздухе идеи и чувства, которые не открыты и не выстраданы самими поэтами.

Хочу сказать здесь об одном стихотворении, которое может служить образчиком ложной «гражданственности».

Три-четыре года назад в нескольких стах метрах от Дома литераторов был уничтожен своеобразнейший уголок Москвы — Собачья площадка с прилегающими к ней улицами и переулками. По этому поводу один автор, живущий в Москве, написал следующее (кстати, стихи были опубликованы не где-нибудь, а в

«Дне поэзии»): «Сметая замшелую пошлость домов, прикорнувших горбато, ведутся на полную мощность работы в районе Арбата. Над грохотом сноса и слома испуганных галок круженье, кричащих над местностью, словно над местом кораблекрушенья. ...Чернеет на месте проулка огромная рваная рана, и звякает тонко и гулко холодный хрусталь ресторана. ...А площадь, чихая и морщась, смеется, кругла и поката... Ведутся на полную мощность работы в районе Арбата!» (Ю. Панкратов).

О какой «пошлости» каких «домов» идет речь? О домике, в котором долго жил Пушкин и где он впервые читал друзьям «Бориса Годунова»? Этот домик в 1941 году был поврежден взрывом бомбы, и газеты писали тогда о варварстве врага... О доме А. С. Хомякова, где ночи напролет спорили о судьбе родины славянофилы и западники и где часто бывал Гоголь? В этом доме, между прочим, до войны был прекрасный мемориальный музей... Об имеющем то же значение доме, где жил С. Т. Аксаков? Напомню еще, что этот район известен и под именем лермонтовского: в нескольких домах, теперь уничтоженных, прошла его юность (дом, где он жил, чудом еще стоит сейчас у самой границы разрушений). Да всего и не перечислишь, ибо речь идет о том районе Москвы, который был подлинной колыбелью новой русской культуры.

Но дело вовсе не только в «памятности» разрушенных домов. И отдельные домики, и весь ансамбль Собачьей площадки с выходящими на нее семью переулками представляли неповторимую и подлинную архитектурную ценность. Большинство домов было построено в духе так называемого «московского ампира» — стиля, который, используя мотивы и приемы античной архитектуры, в то же время был самобытно русским или, точнее, даже собственно московским. Античные мотивы звучали в нем так же, как звучат они в поэзии Батюшкова, Пушкина, Тютчева. По основной же своей структуре этот стиль, с характерными для него пристройками, мезонинами, пространственным привольем, был непосредственно связан с древнерусским зодчеством, с архитектурой изб и теремов (кстати, большинство ампирных домиков были деревянными).

Здесь невозможно подробно говорить о замечательном архитектурном мире арбатских переулков (я писал о нем в статье, опубликованной 9 апреля 1967 года в «Комсомольской правде»). Одно из ценнейших качеств этих московских домов заключается в том, что в их облике нередко как бы непосредственно во-

площало человеческое своеобразие тех, кто в них жил, ибо владельцы этих особняков чаще всего принимали участие в их строительстве. Все эти скромные дома поразительно индивидуальны, и именно поэтому каждый из них представляет собой самобытное художественное произведение, которое можно сравнить со стихотворением Баратынского или Языкова, полотном Кипренского или Венецианова, романом Алябьева или Гурилева.

В целом же архитектурный мир московского ампира необычайно верно и рельефно воплощал в себе характер эпохи. Словом, речь идет не просто о «памятниках» прошлого, а о вечно живой части русской культуры. И вот разрушение этих-то домов (в которых он не видит ничего, кроме «замшелой пошлости») приводит в восторг нашего автора...

Нередко можно услышать мнение, что эти ампирные домики — в значительной части деревянные — нельзя сохранить, так как они и сами разрушаются и к тому же непригодны ни для жилья, ни для каких-либо иных нужд. Но это ложь или самообман. При должной заботе эти дома простояли бы еще столетия, во всяком случае до того момента, когда будет открыт способ сохранять дерево навечно. Кто не знает, например, прекрасных (и прекрасно реконструированных) ампирных домов на ул. Кропоткина (д. 11 и 12), в которых помещаются сейчас музеи Толстого и Пушкина? А ведь эти дома — за исключением белокаменных цоколей — целиком деревянные.

Михаилу Пришвину принадлежат замечательные слова о том, что помимо подлинных требований времени есть еще и так называемые «временные меры», и когда «писатель приспособляется к временным мерам, то начинают протестовать даже сами администраторы».

Я убежден, что уничтожение Собачьей площадки — это именно ложная «временная мера», подменившая истинное решение проблемы, и думаю, что администраторы от архитектуры вскоре признают это. Мир арбатских переулков — это то же самое, что Латинский квартал в Париже или Нерудова улочка в Праге, это колыбель великой национальной культуры, колыбель, которая не может не быть заповедной.

Да всмотритесь в приведенные мной стихи: сам русский язык словно вопиет против их смысла! Такие слова, как «кораблекрушенья» и «огромная рваная рана» — рана на живом теле Москвы! — опрокидывают ложный пафос автора.

Нельзя не порадоваться тому, что другой московский поэт, Владимир Соколов, написал

стихи «Новоарбатская баллада» («Новый мир», 1967, № 1), выразившие подлинно гражданственное понимание сути дела:

...Ташкентской пылью
Вполне реальной
Арбат накрыло
Мемориальный.
...Ведь вот, послушай,
Какое дело:
Волной воздушной
И стих задело.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

Нет ничего удивительного в том, что дискуссия вначале пошла вокруг понятия «гражданственность». Действительно, многие критики и поэты связывают с этим понятием публицистическую лирику, и только ее. Правильно ли это? Правильно ли гражданственность втискивать в жанровые рамки?

Я считаю, что это элементарное заблуждение. Гражданственность — категория социальная, в ней выражается позиция художника как гражданина, члена общества.

По-моему, не правы те, кто утверждает, что гражданственность в поэзии прямо и непосредственно сопряжена с сегодняшней действительностью. Разумеется, идейные позиции поэта определеннее всего выявляются в отношении к насущным проблемам. Но гражданственность и актуальность — понятия не тождественные. Гражданские чувства, взгляды и мысли поэта не всегда выражаются непосредственно, с публицистической прямоотой и не всегда вызваны актуальными проблемами.

Легко и удобно, говоря о гражданственности, цитировать публицистические строки о войне и мире, о любви к родине, строки, разоблачающие бюрократов, рвачей и выжиг. Но нынешний читатель смотрит в корень, в суть, одних деклараций и лозунгов ему мало.

Лермонтовское стихотворение «Белеет парус одинокий...» не содержит в себе никаких клятв и заверений, тем не менее гражданская позиция автора нам ясна. Но более ясной и определенной она предстает в контексте всего творчества поэта.

В. Кожин здесь с гражданственностью связывал утверждение новых, пострадавших идей. Пострадавших — да! Что же касается новых, то это — самообман. Известно, что

Где зона слома
И зона сноса,
Застрыло слово
Полувопроса...

Именно таким должно быть размышление и тревога гражданина, который знает неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего своей родины, понимает, что значат эти «замшелые» домики в арбатских переулках, и испытывает личное чувство ответственности за них.

Шекспир заимствовал философские идеи Монтеня и в его трагедиях и хрониках эти идеи служат обществу в преобразованном виде, они утверждаются силою искусства.

А декабристы и Пушкин?

Новые оригинальные идеи в поэзии, увы, очень редки. Это случается тогда, когда поэзия превосхищает ход событий и развитие духа нации.

Гражданственность — в характере, в мировоззрении, в существе поэтической природы. Если судить по тембру голоса, то за поэзию иногда можно принять то, что не имеет к ней никакого отношения.

Гражданственность в поэзии означает определенность классовых позиций, общественную активность, возвышение человеческой личности в самых различных сферах духовной и нравственной жизни.

Что же касается лирико-публицистического жанра, то я бы хотел сказать, что ныне он с трудом восстанавливает свое реноме, свое равноправное положение в ряду других жанров поэзии. Наверное, нет особой необходимости объяснять, что в послевоенные годы этот жанр был сильно засорен крикливыми декларациями.

Сейчас без яростной убежденности, без душевного горения рискованно подниматься на трибуну. Только подлинная страсть и искренность поэта, разумеется, в соединении с талантом, обеспечивает ему контакт с читателями.

Такой контакт удается поддерживать Роберту Рождественскому. Я не могу согласиться с теми довольно резкими суждениями о Рождественском, которые в последнее время раздаются в критике. Рождественского нельзя привязывать только к жанру публицистиче-

ской лирики, он значительно многограннее, интереснее, но он, публицист, небезуспешно ищет в этом жанре, усложняя лирический сюжет, заостряя социальную характерность явлений через детали жизни и быта, точные наблюдения, избегая прямолинейной риторики. Последовательность и настойчивость, с которыми Рождественский утверждает в правах лирико-публицистический жанр, мне кажется, должны вызывать уважение.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

Я уверен, что понятие «гражданственность поэзии» гораздо сложнее, чем это нам иногда кажется. Даже бесспорные, казалось бы хрестоматийные, примеры при более глубоком чтении теряют свою бесспорность. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали всеблагие, как собеседника на пир» — читаешь и начинаешь задумываться, согласен ли ты с этими словами сегодня, после Великой войны, после того, как мир пресытился «роковыми минутами» и проклял страданье? Может быть, сверхчеловеческое чувство этих стихов шире нашего понимания гражданственности и захватывает какие-то иные сферы человеческого духа. А может быть, мы понимаем это слово слишком узко, порой даже пошло.

Быть гражданином — значит иметь свой взгляд на жизнь общества, на политику, на искусство и, самое главное, нести ответственность за свои убеждения. Словом, обладать чувством того, что «без меня народ неполный», как писал Андрей Платонов. Там же, где нет личной точки зрения, своей печати, своего пульса, там стихи, называемые гражданскими, выразят общие мысли, подтвердят общие места. Несколько лет назад я написал стихотворение, ставшее довольно известным: «Добро должно быть с кулаками». Сейчас я понимаю, что это неинтересные стихи, но не потому, что я сейчас как-то думаю иначе, а потому, что эта мысль была сказана мной в словесно лихой, но абстрактной и безличной форме.

Истинная гражданственность возникает там, где происходит столкновение жизни и характера, где поэт не просто что-то повторяет, а где он отвоевывает часть ничейной земли, объявляет ее своей духовной вотчиной. В сегодняшней поэзии такие свои владения есть у Александра Твардовского, Бориса Слуцкого, Владимира Корнилова.

Я согласен с тем, что «накладные расходы» в творчестве Рождественского еще достаточно заметны. Но — согласитесь со мной! — именно в этом жанре даже у самых выдающихся поэтов было менее всего бессмертных строк.

Вот эти две реплики — о понятии гражданственности и лирической публицистике Роберта Рождественского — я и хотел высказать в общей дискуссии.

В мире гражданских бурь, где ветер и погода меняются на глазах, художник, не равнодушный к жизни общества, не может, как флюгер, метаться из стороны в сторону. Конечно, в том случае, если он относится серьезно к своему призванию и не озабочен тем, как бы потрафить злобе дня. В 1918 году Александр Блок писал в одной из статей: «Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается гальванизировать труп. Для того, чтобы этот гнев не выродился в злобу (злоба великий соблазн), ему надлежит хранить огонь знания о величии эпохи, которой никакая низкая злоба недостойна».

И еще — о читателе. Гражданская поэзия, как никакая другая, немыслима без читательского отзыва, без существования армии читателей. Но читатель читателем рознь. Чтобы откликнуться на страсть Блока или Тютчева, нужен человек, мощный духом; чтобы усвоить поверхностные и злободневные стихи, достаточно читателя, живущего в рамках газетного образования.

Бесконечен в России спор о том, дает ли право гражданственность поэзии на вечную жизнь. Никогда русский поэт не воздвигал стены между правдой и красотой. Во время работы над «Двенадцатью» Александр Блок сделал запись в дневнике о том, что он точно не знает, каково должно быть соотношение политики и поэзии. Блок сомневался, не убьет ли, не разрушит его замысел капля политики. Прошло полвека, и мы видим, что плодотворное сомнение гения было напрасным. Капля политики не помешала, не разложила ни «Двенадцать», ни «Скифов», ни стихи о России. Не разложила, а вошла необходимой частью в личность, в характер поэта, в его философию, в его пророчества, сказанные не с пошлой легкостью и безответственностью, а на пределе души, разума и сердца.

3

**Причастные к эпохе исполинской,
Мы возмужали вместе со страной.**

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ
ИВАН БАУКОВ
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ
ИРИНА ВОЛОБУЕВА
РАСУЛ ГАМЗАТОВ
ГРИГОРИЙ ГЛАЗОВ
НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ
ОЛЕГ ДМИТРИЕВ
МИХАИЛ ДУДИН
ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ
ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА
МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ
РИММА КАЗАКОВА
ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР КОРЕНЕВ
ВЛАДИМИР КОСТРОВ
АНИСИМ КРОНГАУЗ
СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ
МАРК ЛИСЯНСКИЙ

МИХАИЛ ЛЬВОВ
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ
БУЛАТ ОКУДЖАВА
ГРИГОРИЙ ПЕТНИКОВ
ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН
ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ
ПЕТР СЕМЫНИН
НИКОЛАЙ СИДОРЕНКО
БОРИС СЛУЦКИЙ
АЛЕКСЕЙ СМОЛЬНИКОВ
МАРК СОБОЛЬ
НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ
МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ
ИЛЬЯ ФРЕНКЕЛЬ
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ
ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ
ВЛАДИМИР ЦЫБИН
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ
АЛЕКСАНДР ЯШИН
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ



Фрагмент гравюры художника В. Д. ФАЛИЛЕЕВА

ПАВЕЛ
АНТОКОЛЬСКИЙ

МУЗЕ МОЕЙ
ВЕНОК СОНЕТОВ
1920 — 1967

1

Вот наконец-то, Муза, мы одни!
Дай руку, Расскажи, кто ты такая,
Чью тень стремили Невский и Тверская
Сквозь крутень многорукой толкотни?

Но для чего ты прячешься в тени,
Но для чего не ты — совсем другая
Ждет на углу, других подстерегая?
Иль вправду много у тебя родни?

В теснинах переулков нелюдимых
Я столько раз терял и находил их,
Вечерних, черных, одичалых птиц...

Дитя свободы иль исчадь ада,
Хоть отзовись и в яви воплотись!
Не знаю только, будешь ли ты рада...

2

Не знаю только, будешь ли ты рада,
Что мы сошлись у городских ворот.
Ведь я студент, бродяга, сумасброд,—
Небось тебе скучна моя тирада.

Ты не найдешь ни склада в ней, ни лада.
Ну что ж, прости, воды набрал я в рот.
А может быть, совсем наоборот,
Тебе нужны сонет или баллада?

Пойми! Я столько раз на свете жил
Движеньем крови, напряженьем жил —
Хватило б на цыгана-конокрада!

Две жизни, целых двадцать или сто,—
Как угадать, за это иль за то
Возмездье ждет меня? Или награда?

3

Возмездье ждет меня или награда
За множество несовершенных дел?
Я столько в пути недоглядел —
Ни Фив, ни Херсонеса, ни Царьграда.

Ведь человек — двухчастная шарада
Чела и Века. Здесь водораздел,—
Его биографический предел,
Живая или мертвая преграда.

Прощайте же, усопшие! Долой
Из этих строк их ответ нежилой,
Их кости, кольца, черепа, осколки

Их утвари, их бронза и кремни,
Пусть валяются их фолианты с полки!
Пусть запылают звездные огни!

4

Пусть запылают звездные огни!
Громады солнц, махины мировые,
Для нас одних зажженные впервые,
Предвидят наши судьбы искони.

В години жесточайших тираний
Не спят они, как псы сторожевые,
И, приподняв слепые веки Вия,
Следят за ходом всяческой грызни.

Но это злые присказки старушки...
Так сдвинем, Муза, глиняные кружки!
Ты добрым словом бабку помяни!

А я недаром к звездам обращаюсь,
Под звездами с тобою обручаюсь,
Как многие из юных в наши дни.

5

Так многие из юных в наши дни
Уходят в жуть без отпуска, без льготы.
Да здравствуют их молодые годы!
Не спорь, не сокрушайся, не кляни,

Что рано в бурю вырвались они:
Им предстоит построить мир свободы
Из голода, из горя и невзгоды,
Из слез и крови, грязи и резни.

Что в мире легкомысленней и чище,
Чем правота их праведности нищей,
Чем этот сумасшедший блеск в глазах!

Вот и взметнулся молнийный зигзаг
И громовая катится рулада
По площадям Москвы и Петрограда.

6

По площадям Москвы и Ленинграда
Опять плывет сиреневая мгла.
Мы молоды. Нам под ноги легла
Еще одна трибуна иль эстрада.

«Баллада о гвоздях» или «Гренада»
Сердца людские заново прожгла?
Чреда воспоминаний тяжела,—
Но вспоминать о молодости надо!

Вот, вот она — глядит, как в первый раз,
Глазастая, в сто сотен ярких глаз —
Гражданка Буря, девочка Мэнада...

Но Музы я сейчас не назову!
Иная входит Музыка в Москву.
Мы стали в строй рабочего отряда.

7

Мы встали в строй рабочего отряда,
В систему прочно сбитых шестерен.
Здесь голос Музы удесятерен,
И он звучит грозней, чем канонада.

Нет, он звучит нежней, чем серенада...
Нет, слышится в нем карканье ворон...
Нет, нет,— беспечный смех со всех
сторон —
Вальс — Лунная соната — клоунада...

Трехмерный мир Евклида страшно прост
И просто страшен. Есть четырехмерный.
В нем правит Время, отданное в рост.

Двадцатый век — его союзник верный.
Ему не Ньютон, а Эйнштейн сродни!
Встань! Нашу песню с нами затяни!

8

Встань! Нашу песню с нами затяни!
Меня ты наградила даром слова.
Так излечи от наважденья злого,
Застенчивость мою перечеркни.

Верни сердечный жар, оборони
От каменного века, от лесного
Желанья жить — и ждать. Стяни мне
снова
Кольчуги бранной сбитые ремни.

Позволь мне стать пилотом невесомым
И с ангельским соревноваться сонмом
Хотя бы здесь, на плоскости земной!

Позволь опять в высоком напряженье
Отправить в дальний путь воображенье,
Свяжи в дороге спутников со мной!

9

Ты спутников связала в цепь со мной.
Прошедшие по-разному сквозь время,
Не ждали мы ни орденов, ни премий,
Зато пленялись каждой новизной,

Зато влюблялись каждой весной,
Легко несли сужденное нам бремя
И относились весело к проблеме
«Быть иль не быть» на сцене площадной.

Светлов, Кирсанов, Луговской,
Сельвинский,
Причастные к эпохе исполинской,
Мы возмужали вместе со страной,

Прошли войну и мир, рассвет и полночь
И твердо верили, что ты исполнишь
Все, что сама сулила нам весной.

10

А то, что ты сулила нам весной,
Сбылось иль не сбылось,— уже не
помнят
Ни флаги площадей, ни окна комнат,
Ни воздух в окнах синий и сквозной.

И вот, усыплена голубизной,
Спит наша юность в сборниках
двухтомных,
Спит в пиджаках и брюках допотопных,
Спит и не спорит с юностью иной.

Иная юность, выросшая сразу
По зову жизни, а не по приказу,
Без пропуска, вне очереди встав,

Грядет, гудит, грохочет эта смена,
Грядущему диктует свой устав.
Все сбудется и с нею непременно!

11

Все сбудется с поэтом непременно!
Заслужит сто венков и сто обид
И сам чужую старость оскорбит
Своею правдой жгуче современной,

И вспомнит всех погибших поименно,
И скорбный марш погибшим протрубит,
И, наконец, не сломлен, не разбит
Гнездившейся бок о бок с ним изменой,

Пройдет он дерзко сквозь двадцатый век,
Еще безвестный юный человек,
Чье званье — Рядовой, чье имя —
Каждый.

Что ждет его, победа иль беда?
В каких туманах перед ним однажды
Пройдут, как сон, моря и города?

12

Пройдут, как сон, моря и города
В сверхсильной нереальной синераме.
Освещены всю ночь прожекторами,
Они к утру исчезнут навсегда.

Машин орда и призраков стада,
Герои в драме и кумиры в храме
Все яростней, все ярче и упрямей
Свой ужас обнаружат без стыда...

Но гибельность, грозящая планете,
В коротком не вмещается сонете,
Да я и не про гибель говорю!

Стоит на страже Муза неизменно,
И по утрам приветствует зарю,—
Со свитком Клио, в маске Мельпомена.

13

Со свитком Клио, в маске Мельпомена.
Все та же ты, вне моды, вне времен,
Единая под множеством имен,
Подруга русских лириков, Камена!

Зла иль добра, смиренна иль надменна,—
Твой ясный лик не стерт, не затемнен.
Ты, может быть, сменила сто знамен,—
Но это только смена,— не измена!

Что ж, я не археолог, не историк.
Мой век недолог, только опыт горек:
Я знал о т к у д а — отыщу к у д а.

Ничто не пропадет. На каждой тризне
Слагают гимны воскресенной жизни.
Будь счастлива, Подруга! Будь горда!

14

Будь счастлива, Подруга! Будь горда!
И знай, что это счастье, гордость эта
Есть достоянье каждого поэта,
Есть оправданье моего труда.

А труд — не автострада, а с т р а д а.
Не счетчиком исчисленная смета,
Не смиренная планета, но к о м е т а,
Параболой летящая звезда.

Вот наконец-то и пришло веселье,
Которого не знали мы доселе.
Не только руки — губы протяни.

С декабрьской стужей, с майскою грозой
Вошла в сонет четырнадцатый ЗОЯ.
Вот наконец-то, Муза, мы одни!

КОЛЬЦЕВОЙ

ВОТ НАКОНЕЦ-ТО, МУЗА, МЫ ОДНИ!
НЕ ЗНАЮ ТОЛЬКО, БУДЕШЬ ЛИ ТЫ
РАДА,—
ВОЗМЕЗДЬЕ ЖДЕТ МЕНЯ ИЛИ
НАГРАДА?
ПУСТЬ ЗАПЫЛАЮТ ЗВЕЗДНЫЕ
ОГНИ!

ТАК МНОГИЕ ИЗ ЮНЫХ В НАШИ
ДНИ
НА ПЛОЩАДЯХ МОСКВЫ И
ЛЕНИНГРАДА
ВСТУПАЮТ В СТРОЙ РАБОЧЕГО
ОТРЯДА.
ВСТАНЬ! НАШУ ПЕСНЮ С НАМИ
ЗАТЯНИ!

ТЫ СПУТНИКОВ СВЯЗАЛА В ЦЕПЬ
СО МНОЙ,
И ВСЕ, ЧТО ТЫ СУЛИЛА НАМ
ВЕСНОЙ,
С ПОЭТАМИ СБЫВАЛОСЬ
НЕПРЕМЕННО.

ПРОШЛИ КАК СОН МОРЯ И ГОРОДА.
СО СВИТКОМ КЛИО, В МАСКЕ
МЕЛЬПОМЕНА!
БУДЬ СЧАСТЛИВА, ПОДРУГА! БУДЬ
ГОРДА!



МЫ ПОКИДАЛИ ГОРОД НА ЗАРЕ

Мы покидали город на заре,
Не точку Н.,
А мой родимый город.
Дом отчий догорал у косогора,
Склонялася березка во дворе.
Мы покидали город на заре.

Чернели трубы в розовом дыму,
Крича, метнулась женщина к подъезду:
Качнулся дом
и рухнул, словно в бездну...
Лежал пустырь, не нужный никому.
Чернели трубы в розовом дыму.

Мы долго шли по улице глухой.
Зенитки били.
Падали фугаски...
Мне надоело двигаться с опаской:
С последним диском я ввязался в бой,—
Враг будет помнить город мой родной.

Простит меня товарищ командир
За этот миг случайный промедленья,
За то, что задержался я в сраженье,
За то, что я последним отходил.

1941

О ЖИЗНИ ДУМАТЬ НЕ УСТАНУ

О жизни думать не устану!
Пускай снаряды землю рвут,
И, может, со смертельной раной
Сейчас и я свалюсь в траву

У берегов далекой Вислы,—
Не все ль равно, где умирать?
Не все ль равно, когда?
Вот листья
С березы сыплются опять.
И снова свист...
Что ж, мы — солдаты.
Вперед!
По кочкам, по воде...
И умирать когда-то надо,—

Не все ль равно,
Когда
И где?

Так лучше здесь,
На поле боя,
Упасть, врагу пославши смерть.
Цветы коснутся изголовья,
А позже птицы будут петь!

.....

И в сотый раз я вспоминаю
Семью...
Поля родные...
Лес...

Да, я умру,
Я это знаю,
Но только б не сейчас,
Не здесь!

1944

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ГОРИТ ВАРШАВА

Девятый день горит Варшава,
Девятый день бойцы не спят,
И галки красные пожара
В ночи летят,
летят,
летят.

И Висла, бледная от горя,
Волной игривой не звенит,
И древний Ян, нахмутив брови,
На запад сумрачно глядит.

В костеле догорают свечи,
Рука застыла на груди,
Усердно ксендз молитву шепчет,
Взывает к господе: — Приди...

Но бог молчит.
Пылает запад.
Фашист лютует по ночам.
И древний Ян снимает шляпу
И земно кланяется нам.

Полячки, ладные собою,
На перекрестке двух дорог

Взирают на бойцов с мольбою
И шепчут:
— Помогите вам бог!

И дарят нам в тумане синем
Цветы и ласку нежных глаз.
Для них солдаты из России
Дороже братьев в этот час.

А впереди горит Варшава
Вот так же, как горел Смоленск,

И галки красные пожара
Стремятся в задремавший лес.

Проходят беженцы босые.
Вокруг гремит орудий гром.
Всё так же, как вчера в России —
Под Сталинградом,
Под Орлом.

1944

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

* * *

Ну, что тебе гражданская война!
Отечественной, что ли, не хватило?
Но почему-то сызнова она
Кавалерийской лавой накатила.

Горит, саднящей боли не тая,
Как тот осколок, что хирург не вынет,
А ведь у нас война была своя,
И мы в свой срок прошли ее навывлет.

Но та война не пущена на слом.
Есть у Петрова-Водкина картина,
Где трое за некрашенным столом,
И тягостна молчанья их причина.

В солдатском котелке отражены
Дня прожитого гаснущие блики.
А лица всех троих отрешены,
Заведомо похожие на лики.

Рот каждого печалью горькой сжат,
Задумчивы глаза, как на иконе.
А позади товарищи лежат
Или стоят на странном синем фоне.

Товарищи, погибшие в бою,
Которых прибрала земля сырая,
Невольно продолжают жизнь свою,
Лишь то, что прежде было, повторяя.

Наверно, так ведется испокон,—
Жестокий бой над балкою степною.
А главное, что этот синий фон
Уже навек за нашею спиною,
Как та война за нашею войною.

НА ВОЙНЕ

Зачем, искушая судьбу,
Отбившись от строя,
Ввалился я в эту избу
Давнишней порою?

Лик божий смотрел из угла
На мелочи быта.
А старая крыша была
Снарядом пробита.

И внутрь, сквозь неровный пролом,
Провал от снаряда,
Вливался под острым углом
Поток снегопада.

Он рушился вниз тяжело
На печь и полати,
И целый сугроб намело
Уже у кровати.

Теплом отходящим дыша,
По краю пролома,
Светясь и тихонько шурша,
Свисала солома.

И явственно, словно во сне,
Но столь же нелепо,
Белело в дневной вышине
Холодное небо.

* * *

Вновь наступающих праздников зов.
...Убран картофель.
Четкие контуры голых лесов,
Кранов и кровель.

В пору такую кругом тишина,
Словно издревле.
И обязательно песня слышна
В дальней деревне.

А ведь, входя своей черной стопой
В полосу света,
Враг утверждал, будто наша с тобой
Песенка спета.

Сгибли в позорном безумье своем,—
Что от них прока!
Так-то. А мы, между прочим, поем,
Даже неплохо.

...Сельская школа за рыжим бугром.
Парты покаты.
Мальчик широким плакатным пером
Пишет плакаты.

К празднику люди подводят итог,
Вот и я тоже
Твердой рукой испещряю листок,
Что-то итожа.

А пред глазами стоит на заре
Даль полевая,
Снова идти по осенней земле
Повелевая.

Колется первый ледок под ногой
Возле обочин.
Новой дорогой и песней другой
Ум озабочен.

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

* * *

Прости мне полет и паденье,
слепую попытку прозреть,
и горькое это уменье
от всякого счастья стареть.

Где наши остывшие тени
колеблют устои земли,
осенние листья сирени
густые снега замели.

ЯСНАЯ ОСЕНЬ

Ясная осень — пора простоты.
Солнечный день пребывает в надежде.
Сразу так много кругом пустоты,
Видимо, чем-то заполненной прежде.

Собственно, лишнего нет ничего.
Улицы стали подобием просек.
Кажется, что у тебя одного
Нынче природа участия просит.

Теплый туман, но уже нежива
В сдержанном свете, что как бы
неловко,
Ссохлась и в трубку свернулась листва
Или опала, желтея вдоль бровок.

Лишь тополя, зеленея, стоят,
Будто еще продолжается лето,
Будто кругом не шуршит листопад,
Будто бы их не касается это.

ГОЛОС АХМАТОВОЙ

[«Кругозор», № 1, 1966]

Где других голоса еще
На пластиночке матовой —
Убывающий, угасающий
Низкий голос Ахматовой.

Как костер затухающий,
Как простор затихающий.

Мерный, горько-медлительный,
Полный царственной гордости,
Голос Ваш удивительный
Выше муки и горести.

В мир от губ отлетающий,
Смерть в веках отмечающий.

Волнение мне ум заменило —
а ты не хотел его знать.
О, эта проклятая сила,
что слабостью принято звать!

Побаска о белой вороне,
покинувшей теплый насест —
а в сердце, как в зимнем вагоне,
полно незаполненных мест,

оно то мало, то огромно.
Расчетливый спутник, прости,
напрасно я, светлая, темно
твои застигала пути.

* * *

Эта лестница прямая
в сумрак катится, светлея,
я иду, не понимая,
как найти тебя сумею.

За стеной юнец охотник
над хлопушкой хлопочет,
этажом пониже плотник
столяром казаться хочет.

За зеленой занавеской
начищает мокасины
обладатель самой веской
и разменной словесины.

Я стучаться к ним устала,
ошибаться надоело,
все ступени пролистая
да на крышу залетела.

Кто посмел сказать, что поздно
для отчаянного риска?
Ночью небо слишком звездно.
Ночью звезды слишком близко.

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

* * *

Интеллигенты русские.
В поддевках и в пенсне...

Под крепкий чай с закускою
Шел крик по всей стране.
Вы скачущей походкою
Шли с Герценом сквозь мрак.
Растрепанной бородкою
С Невы играл сквозняк.
Интеллигенты русские,
Мир вымер, одичал...
Зачем вам формы узкие
Парламентских начал?!
Что в том бессменном правиле
Жить маемой газет?
Вы бога бы поправили,—
Будь он немилосерд!

Все было лишь преддверием...
Вам мир казался мал!..
Что бог? В него неверием
Ваш синий взор пылал.

ЧЕСТНОСТЬ

Мне быть хотелось просто
честным...

Среди полей, в густой толпе,
В теплушке и в четырехместном
Летащем по стране купе...

А век об этом думал мало!
Все штурмовали перевал.
И честность предо мной вставала
Как невозможный идеал.
И вот ни доброго, ни злого.
Смотрите, спутались умы...
Но честное вдруг било слово,
Как будто молния из тьмы.
Легко ступить на край могилы,
Запеть, взойдя на эшафот...
А честным быть? Что? Хватит
силы?

Кровавый проступает пот.
Мне быть хотелось просто
честным...

Я жил, решительно сопя.
Я о пути не думал крестном —
Мне только б уважать себя!
Легко на бреющем герою...
Рукой дрожащей, тих и мал,
Я знамя честности порою
Трагическое подымал.

ГОЛАЯ ПРАВДА

Подчас приходит сказка
Подарком даровым,—
Необходима ж встряска
И людям деловым!..

Процесс чередованья!
Как в скалах апатит!..

Чуть-чуть очарованья
Кому же повредит?!
Сидят себе, смакуя,
Ту сказку, как питье...
Вовеки не смогу я
Все ж вынести ее!
Я все-таки по крови
Твой, Русь, интеллигент!..
Мне б всё срывать покровы
И с мифов и с легенд!
Пусть кто-то сказку любит...
Я ж рад, — исподтишка
Коль истина проступит,
Как шило из мешка!

ТЕАТР

Угрюмая глубь театрального зала...

Ну что ж! Ты считал, что искусство как сало!
Оно же болезни сродни, не врачу!
Оно выбивает из равновесья...

На место уселся — мгновенье! — и весь я
Куда-то, — куда — неизвестно, — лечу...

И вот я спиралью кружим гулевою.
Лечу! И о небо я бьюсь головою.

ИРИНА

ВОЛОБУЕВА

БЫЛ ПТИЧИЙ ГАМ

Был птичий гам.

А я играла гаммы.

В окно врывались музыка и смех,
И словно бы живые диаграммы
Росли октавы вниз,

росли октавы вверх.

И Берта Карловна, в своей прическе сложной,
В крахмальной блузке с узенькою прошвой,
Страницы нот листала предо мной,
Притопывала ревностно подошвой,
Кивала с одобреньем головой.

— И раз, и два! — отсчитывала такты.
А где-то там, в Германии ее,
Топтали плац затоптанный солдаты,
И лилось пуль свинцовое литье.

Уж кости на дыбе трещат!.. Вдалеке
Вдруг занавес падает. Все честь по чести!

Я снова сижу перед сценой на месте
С программкой измызганною в руке.

ПИРЫ

На то указывал Гомеру
Нравоучительный Платон:
Кто перешел однажды меру,
Тот вечно будет посрамлен!..

В людские не вмещаешь сроки,
У них не чаша, а ушат!
Всё пьют гомеровские боги,
Всё жрут, горланят и грешат.

Края одежд, пируя, мочат!
И, жертвенный вдыхая чад,
До неприличия хохочут,
Танцуют, тискают девчат!..

Платон, — он ужас чует края,
А складки мантии белы,
Глядит он, головой качая,
На бесконечные пиры!..

— И раз, и два! — стучали сапогами.
И кто бы знал, что в гомоне весны
Муштра свои разыгрывала гаммы,
Чтоб грянуть взрывным грохотом войны.

— И раз, и два! — сквозь солнечную просинь
Шагал наш век, неотвратимо грозен,
А мир был полон песен и гудков,
Прелюдий Баха и Чайковских весен,
Дождей, черемух, белых облаков..

ЧАСЫ

Двенадцать бьет на Спасской башне,
И я ловлю себя на том,
Что новым суткам — день вчерашний
Я стала отдавать с трудом.

А раньше,
раньше дня начало
Мне было словно счастья зов.
Не то чтоб я не замечала,
Как все счастливые, часов.

Я им покоя не давала,
Я их беспечно урывала
Для пустяков, забыв дела,
То в спешке их подозревала,
То за медлительность кляла.

А ныне бережно и трезво
Слежу, как правят сроком дня
Две стрелки — остренькие жезлы
На циферблате бытия.

Где рядом с жизнью человека
Часы истории идут —
За веком век, и вновь полвека,
Век без пятнадцати минут;

Где зовы времени, по сути,
Звонят, оповещая свет,
О часе взрыва революции,
О часе взлета до планет.

И как могла я с безразличьем
Терять, не класть их на весы,
Такие полные величья
Веков минуты и часы!

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

КЛЯТВА СЫНОВЕЙ

С головами поникшими
Над отцами погибшими
Встали мы.

Над легендой повитыми
Их могильными плитами —
Встали мы.

Им, как будто бы мысленно,
Тихо мы и не выпренно
Говорим:

Листья вашего дерева,
А не серая тень его —
Это мы!

Эхо вашего голоса,
Зерна вашего колоса —
Это мы!

Битв минувших не отблески,
А законные отпрыски —
Это мы!

Меж годами посредники,
Вашей славы наследники —
Это мы!

Всех имен ваших — словники,
Ваших кровников — кровники —
Это мы!

Ваших помыслов — вестники,
Вашей правды — наместники —
Это мы!

Ваших давних наветчиков
Превратили в ответчиков —
Это мы!

Продолжение повести
Вашей чести и совести —
Это мы!

Ваших судеб — защитники,
А не блудные битники —
Это мы!

Ваших дум воплощение
И грехов отпущение —
Это мы!

Верность вашим обличиям,
Верность вашим обычаям —
Мы храним!

Верность вашему воинству
И мужскому достоинству —
Мы храним!

Верность вашему мужеству
И великому дружеству —
Мы храним!

Верность вашей душевности
И святой вашей верности —
Мы храним!

Сами ставшие взрослыми,
Вам клянемся мы веснами,
Светом собственных глаз,
И огнем над метелями,
Хлебом и колыбелями —
Быть достойными вас!

ВОСПОМИНАНИЯ

Не держит сердце у меня
На отболевшее равнения,
Ведь рана нынешнего дня
Больней вчерашнего ранения.

И так случается порой:
Пред светом нынешнего помысла
Тускнеет дум недавних рой
С несостоятельностью промысла.

Вдоль гор мы едем, вдоль равнин
И забываем днями длинными
Черты отхлынувших картин
Перед возникшими картинами.

Спешит забвения клинок
День прожитой отсечь от времени
И бросить в бешеный поток
Навстречу мчащемуся времени.

Над прежней радостью топор
Жизнь вознесла без понимания.
И сложен из надежд костер,
И горек дым воспоминания.

Восток забрезжил.

Я скачу
Вновь над потоком в белой кипени,
Затем скачу, что я хочу
Мой новый день спасти от гибели.

Заря подобна алыче,
И я желаю быть замеченным,
С убитым барсом на плече
В аул родимый въехать вечером.

Пусть память о минувшем дне
Останется не в суесловии,
А шкурой барса на стене
Век целый дышит в изголовии.

ТРИ ГОРСКИХ ТОСТА

Наполнив кружки, мудрствовать не будем
И первый тост такой провозгласим:
— Пусть будет хорошо хорошим людям,
И по заслугам плохо — всем плохим!

Еще нальем и вспомним изречение,
Достойное громокипящих рек:
— Пусть детство будет кратким, как
мгновенье,
А молодость пусть длится целый век!

И в третий раз содвинем кружки вместе.
— Друг чести, пей до дна! Не половинь!
Пусть обойдут нас горестные вести,
А сыновья — переживут. Аминь!

*Перевод с аварского
Якова Козловского*

ГРИГОРИЙ ГЛАЗОВ

* * *

Как сладок дым костра!
Как горек дым пожара!..
Сгорели до утра
и хата и кошара.

Хозяйка в стороне
стояла и смотрела,
покуда в том огне
вся жизнь ее горела.

Уже ни слов, ни слез.
Последний раз взглянула.
Шли пленные.
Мороз
выбеливал им скулы.

А мы на том костре,
согнав усталость нашу,
в невымытом ведре
варили молча кашу.

И грелись.
И, куря,
сушили рукавицы.
И тихая заря
нам отмывала лица.

О, как мечтали мы
ладонью тронуть пламя!
В окопах лютя зимы
куражилась над нами.

И вот она — пора:
тепло исходит паром...
Сгорели до утра
и хата и кошара.

Как сладок дым костра!
Как горек дым пожара!..

ДАВНЕЕ

Я вел двоих, проламывая ночь.
Дымилась снегом мокрые пригорки.
И, одичав, луна катилась прочь.
Курить хотелось.
Не было махорки.

Я на ходу ушанку подвязал.
Под сапогами ускользала глина.
Я вытер мокрым кулаком глаза
и выругался яростно и длинно.

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

ВЕЧНЫЙ ПОИСК

Костер погас. И показалось предку,
Что — все, что он — погиб средь бела дня.
Но молодые двинулись в разведку,
И вырубилась искра из огня.

Случайное везенье иль прозренье?
Не важно. Важно, что — наверняка.
С ее мерцаньем, складываясь в звенья,
Сменились поколенья и века.

Гудит под ветром провод над полями,
Берется штурмом ядерный редут.
Но где-то есть неведомое пламя,
Пусть молодые ищут — и найдут!

Ругал погоду и размокший лог.
И этих двух отглаженные лица.
Я был рабочим у войны.

Я мог
в глухой степи
лишь словом насладиться.

Я знал, что их повесят все равно
после суда и прочего порядка.
А я не спал и не курил давно.
И где-то затерялась плащ-палатка.

Я не довел эсэсовцев.
В логу
я кончил их.
Летело эхо тяжко.
Как две луны,
чернели на снегу
пропахшие косметикой фуражки.

Я молод был и глуп.
А шла война.
Полковник пожалел меня за что-то:
дал десять суток отсидеть сполна,
хоть плакала по мне штрафная рота.

В тот край найти дорогу не могу:
не хочет память,
нет значка на картах.
Я помню лишь фуражки на снегу
и чьи-то черепа на их кокардах.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОТСТУПЛЕНИИ С ОДНОЙ ВЫСОТЫ

Я отступал. Так было надо. Но
Из памяти не спишешь, как со склада,
Чужие танки под костром заката
И серый снег — на саван полотно.

Потом я был в тепле, здоров и сыт,
И через сутки все на место стало,
И только совесть воздух ртом хватала —
Как в омут шла. И жег мне щеки стыд.

И часто к ночи, перед тем как спать,
Мне шепчет память грустно и тревожно:
Высот, где закрепиться невозможно,
Не занимай, чтоб не катиться вспять.

СЛОВА

Слова, слова... Порою — в пустословье,
Порой — грозны и тяжелы слова,
Как монолит гранитный из-под слоя
Пластов, чей возраст видится едва.

История их в бурях прессовала,
Придавливала тяжестью земной,
Чтоб их живая плоть не пасовала
При испытаньях миром и войной.

Из них эпохам памятники ставили,
Их посылали на разбой и в бой,
Они в любви, как в пламени, иставили,
Чтоб стать грядущей жизнью и судьбой.

**ОЛЕГ
ДМИТРИЕВ**

ДЕТИШКИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Детишки двадцатого века,
В грохочущей гуще Москвы
Для прежних времен человека
Странны и загадочны вы.
Среди лакированных чудищ,
Что землю колесами мнут,
Мелькает отчаянный чубчик
И бантики крыльями бьют.
Без страха мальчишка наивный
Приходит на аэродром:
Над ним просвистит реактивный
И небо расколется, как гром, —
А он как ни в чем не бывало
Смеется и тянет ситро...
А вот налетит из провала
Пугающий поезд метро —
Смеется он — будьте здоровы! —
А сам от горшка два вершка...
Чего ж он боится?
Коровы,
Барана, козла, гусака.
...Он в поезде ехал на дачу,
Отважный и маленький мой,
И вот, сотрясаясь от плача,
Бежит по дорожке домой.
Страдальческий крик его тонок,
Вопит перекошенный рот —
Всего-то и страху:
Теленок
Стоит у соседских ворот.

Красноречив и многозначен мим,
Но лишь они родства людей основа.
Мир станет мертвым, став глухонемым,
И глупым, если поглупеет слово!

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ВЕСИТ...

Что невесомость? Результат паденья.
Когда ж к земле пойдешь на космодром,
На грудь как бы навалится каменья,
И тьма в глазах, и дышитесь с трудом.

Таков закон. Иным ему не статься.
Порхай, пари, ступай меж звезд скитаться,
Но чтоб узнать свой настоящий вес —
Спустись
однажды
на землю с небес!

Давай поскорее уладим
Трагический этот вопрос
И мягкие рожки погладим
И мокрый потрогаем нос.
Не бойся гудящего леса
И курицы важной, рябой —
Ведь ты не боялся железа,
Летящего перед тобой,
И грома средь ясного неба,
И мелко дрожащей земли!
Домой победы-ка
И хлеба
Для нового друга возьми.
Потянется теплая морда
С травинкой на темной губе —
И мягко
Живая природа
Уткнется в ладошки тебе...

БЫВШИЕ СОСЕДКИ

Как-то летом в полдень беспечальный
На шумящей площади центральной
Из квартиры бывшей коммунальной
Две соседки встретились случайно.
Семь семей разъехались куда-то
В Мневники, в Черемушки, в Кузьминки —
Вместе по домишке у Арбата
Радостные справили поминки.
Только сердце забывать не хочет,
Ночью заколотится неровно,

И приснится — мебелью грохочет
 За стеной соседка Марь Петровна!
 А проснешься — первая минута
 Наполняет радостью смертельной,
 Возвращая в тихий свет уюта
 Собственной, трехкомнатной, отдельной...
 А порой припомнятся родными
 Все осточертевшие соседи:
 Посидеть бы в общей кухне с ними,
 Предаваясь медленной беседе...
 Все же — сколько вместе испытали,
 Съели соли много больше пуда.
 Вместе схоронили. Воспитали.
 Всяко было — и добро и худо.
 Две соседки встретились.
 Два года
 Не видались в матушке-столице.
 Вспомнить столько разного народа
 Нужно им, чтоб власть наговориться!
 Столько пронеслось событий новых,
 И когда все это — непонятно...
 — Дед на пасху умер у Черновых.
 — К Соньке Хайтман муж пришел обратно.
 — Гущина скончалась от удара,
 Сам погоревал да помер вскоре.
 — Двойню родила хромая Клара.—
 Все перемешалось — радость, горе...
 Женщины то плачут, то смеются,
 Смятые платочки вынимают.
 Женщины надолго расстаются,
 Только одного не понимают:
 Как же можно в новой-то квартире
 Помирать: ведь столько ждали, ждали?
 Лучше б жили в здравии и в мире,
 Никому ничем не досаждали.
 Как ты, жизнь, нечестно поступила
 С Гущинными, с дедушкой Черновым ---
 Что ж ни года им не уступила,
 Не дала пожить на месте новом?
 Попрощались бывшие соседки,
 Повздыхав в туннеле перед «Прагой»,
 Унося наполненные сетки
 И глаза, наполненные влагой...

МАЙОР

С майором возвращаемся **домой**
 В такси маршрутном из **далекой части**,
 Над ним теперь и сам, о **бог ты мой**,
 Командующий округом **не властен!**
 Майор влюблен. Осенние **цветы**
 К себе он, как ребенка, **прижимает**.
 Лицо, утратив жесткие **черты**,
 Смешное выражение **принимает**.
 Вперед глядит он прямо.
 И назад
 Бросается литой асфальт под **шины**.
 Молчит майор, серьезен и **носат**.
 Блестят виски. Разглажены **морщины**.

А женщина осталась вдалеке.
 Она его цветами проводила
 И долго от шоссе не уходила,
 Белел-белел платок в ее руке...

Мы едем час. Я в тихом полусне.
 Таксист-бродяга жмет напропалую.
 И вижу я: майор цветы целует,
 И так прекрасно делается мне!
 Давай, майор, артиллерист, давай!
 Ты шевели припухшими губами,
 Все вспоминай красивыми **словами**
 И от цветов лица не **отрывай!**
 Твой быт наполнен силою **стальной**,
 Ты должен быть прямым и
непреклонным.
 О, как я рад, что ты сейчас
влюбленным
 Ребячески предстал передо мной,
 Что не швырнул прощальный свой
букет,
 Как чемоданчик, за спину **небрежно!**

Стоит в степях вечерний **теплый свет**,
 И на душе спокойно как-то, **нежно...**



ХОЛОДНОЕ УТРО ЦХАЛТУБО

На пиниях иней, как маска на скулах врача.
И очерк горы. И за нею в бездонности синей
Плывут облака, на холодном ветру клокоча.
И пар над провалом. И иней не падает с пиний.
Согрей мое сердце и скорбные руки скорей.
Здесь колются звезды и ночи безжалостно долги.
Согрей их приветом, далеким дыханьем согрей.
И сдунь, словно иней, со старого сердца иголки.
Не сердце, а кактус растет, распускаясь в груди,
И давит на ребра и гасит ночные светила.
Ты памятью в память скорее ко мне приходи,
Как в жизни и смерти спасеньем ко мне приходила.
Я жду тебя, слышишь! За горной гряды перевал
Летит мое слово, а ветер холодный нахрапист,
Его оборвал, и обвалом под камни — в провал.
Ни слова. Ни эха. Кончается ночи анапест.
Я жду тебя, слышишь! Гремит водопад, клокоча,
И тень от горы закрывает в тумане долину.
На пиниях иней, как маска на скулах врача.
Я выйду в ущелье. Я каменных гор не раздвину.
Я вслушаюсь в утро, как мальчик в плохие стихи.
Как в грубый подстрочник, который не ждет перевода.
На пиниях иней. В Цхалтубо поют петухи,
И запахом хлеба спокойная дышит природа.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДОБРОМ ПИРЕ

Давиду Квициридзе

Виною тому моя вина
И добрый твой порог.
Я выпил полный рог вина,
Как солнца полный рог.

Вино как шелковый огонь
Ласкало пищевод.
Оно и дружества ладонь
Сулили тыщи льгот.

И я душой помолодел
В кругу друзей твоих.
Я пил за дружбу наших дел,
За откровенный стих.

За первый и последний бой,
За Грузию твою,
За песню мужества, тобой
Рожденную в бою.

За сумрак партизанских троп,
За братские холмы.

За то, что время прямо в лоб
Встречать умеем мы.

Пил за судьбы солдатской честь
Твое вино до дна.
И пил за то, что в мире есть,
Есть женщина одна.

Что так далек ее порог,
Так краток счастья срок.
Но пел в руке туриный рог,
Налитый солнцем рог.

ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ УТРО

Блестит на солнце кремнезем.
На скатах гор подсохла глина.
Прозрачным жидким янтарем
Сквозит Цхалтубская долина.

Звонит ручей, как старый стих,
Как откровение и почесть.
И мир разнежился, притих,
Сам на себе сосредоточась.

Душа становится добрей,
Ей все смятения излишни.
Чирикнул первый воробей
На тонкой ветке лавровишни.

И смолк. И снова тишина
Светла, свежа и благодарна.
И над долиной вышина
До бесконечности янтарна.

ПАМЯТИ СИМОНА ЧИКОВАНИ

Есть удивительные грани
Поэзий братского родства.
Чеканил слово Чиковани
Всем превосходством мастерства.

Вершины Грузии высоки,
Красой особой хороши.

Он мне открыл ее истоки
С вершины собственной души.

Она была чиста, как горный
Родник, бегущий из-под скал.
Он, совершая труд упорный,
Себе пощады не искал.

Плечо Святой горы отныне
Его возвышенный приют.
Другие юноши в долине
Смеются, плачут и поют.

Его живой души улыбка
Моей сопутствует везде.
И серп луны над ним, как зыбка,
Плывет, подвешенный к звезде.

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

* * *

Вот семейный наш альбом:
дед с кокардой машиниста,
рядом бабушка Анисья
и детишки всем гнездом.

Вот мои отец и мать,
оба юные на диво,
тонут в недрах коллектива,
в группе их и не видать.

Это я с большим мячом,
я за партой, я на пляже,
в загсе тоже я — пора же!
Я в обнимку с малышом.

А теперь малыш один.
Мыслит. Хмурится. Хохочет.
Плачет. Кашу есть не **хочет**.
Пляшет — в яслях карантин.

Он на стуле. Он в тазу.
Он в прогулочной коляске.
На стене его «каляки».
А! Художнический зуд!..

Предки блекнут? Может быть:
их позиция статична,
их удобно со штатива
долгой выдержкой морить.

То ли дело блиц включать,
схватывать не вежи — вешки,
оставляя вечной спешки
и любительства печать.

И теряя день за днем,
и трезвея год от года,
в свете нового подхода
пересматривать альбом.

ГАВРИЛОВ ПОСАД

В сорок третьем, в мартовские дни,
выпала мне царская награда:
возвратились сверстники мои
из глуши Гаврилова Посада.
Молчаливо, громко, тяжело
топали по собственному дому.
— Посмотри. Погода. Повезло,—
вдруг на «о» один сказал другому.
Так он плотно вылепил слова,
буква «о» в них так согласно пела,

точно разом выкатились два
трехколесные велосипеда.
Посмотри... Погода... Повезло...
«О» назло обстрелам и фугаскам
полнилось, пузырилось, текло
молоком гаврилово-посадским.
Москвичи, евреи по отцу,
как они проникли в эту тайну,
в суздальскую, что ли, красоту?
Я не знаю, мудрствовать не стану.
Окали охотно, широко,
истово, солидно, домовито.

Окало оконное стекло,
окало округлое корыто.
До меня их говор долетал,
и я рыбкой прыгала с постели.
Ни семья, ни двор, ни Левитан
выправить дефекта не умели.

Логопеды потрясали «а»,
буквой «а»:
— Упрямыцы, вот как надо...—
Разражалась им в ответ Москва
хохотом Гаврилова Посада.

ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА

Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Б. Пастернак

Еретиком охотно б стала:
Чуждаюсь ложной красоты,
И в слове правды все мне мало
Неоспоримой простоты.

Ищу теперь среди поэтов
Тех, кто не любит пышных слов,
И назиданий, и советов,
И рифм изысканных и строф.

Хотелось бы мне их прославить,
Но слава уж венчала их,—
Тут ни прибавить, ни убавить,
Как говорил один из них.

В простых словах о самом главном
На чистом русском языке
Расскажешь и о зле недавнем,
И о ненужном холодке,

И об истории России,
И о святом ее труде.
Как любы нам стихи такие,
Как всем нужны всегда, везде!

Впадайте же в такую ересь,
В неслыханную простоту.
Я с вами силою не мерюсь,
Но вашу благодарно чту.

■ ■ ■

К первым годам революции
Память уносит меня,
Словно хотела б вернуться я
В утро далекого дня.

Дань революции малую
Вся моя жизнь принесла,
Все-таки счастье узнала я
В том, что с ней сердцем была.

Ведь и в моем поколении
(Незачем это скрывать)
Жили усмешкой глумления
Юные, старцам под стать.

Тот же, кто в пору суровую,
В трудностях и нищете,
Верил в пришедшее новое,
К подлинной шел красоте.

Песни революционные,
Слышу я в сердце ваш ритм,
Юность моя отдаленная
В каждом их звуке горит.

К первым годам революции,
Словно бы к первой любви,
Не перестану тянуться я,
Как эту страсть ни зови!

* * *

Не надо писать о боли.
О боли надо молчать.
Когда ж она поневоле
На слово ставит печать —
Сотри налет ее ржавый,
Забудь про горе свое,
Гордись страны своей славой,
Прямой дорогой ее.

Ни беды твои, ни хвори
Не будут тогда страшны,—
Рассмотришь ли каплю в море,
В кипенье его волны!
Подумать только: полвека
Стране твоей и моей.
Пора душе человека
Мудрее быть и смелей.

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ

ЧУДО

Явление великого поэта,
Как гения, всегда
Таинственно чудесно.
Так вспыхивает новая звезда
Во мгле небесной.
Как появился он? Кем послан и
откуда?

Это —

чудо.
Ищите — из туманности какой
Над бездной мглы
Возникнул он, как светоч вековой?
Исчислите углы

и восхожденья
и склоненья

На небе нового светила,
Чтоб вам наука тайну приоткрыла,
Ищите, словно в славной
Родословной
Происхождение его,—
Не разьясните этим ничего.
Сплетите новоявленное имя
С уже известными другими
В сверкающий созвездием венок,—
Поэт, как был, пребудет одинок,
Он не сливается с другим поэтом,
Он озаряет бездны

звездным
светом,

Таинственным,

единственным

СВОИМ...

Явление поэта —

Это

чудо!

* * *

Пойми — другого нет пути:
В поэзии, как и на сцене,
Тот должен вовремя сойти,
Кто дар лирический свой ценит.

Дряхлеть в стихах я не хочу,
Немыслим даже Пушкин старый,—
Чиновный Вяземский, ворчун,
Строчивший желчно мемуары!

Лишь тот поэт, который юн,
Имеет признанное право —
Касаться всех сердечных струн
И златоцветиться кудряво.

Нет мудрости седых волос.
В эпоху ярости и бури,
Как в Оптиной, перевелось
И старчество в литературе.



НЕВЕСТА

Уходил — обещал, что вернется и женится.
Как ждала! Так, наверно, ребенка — роженица.
Похоронку два года родители прятали.
Не поверила:— Правда ли? Правда ли? Правда ли?!..—
Бабы стали жалеть: «Ох, подрублены крылья-то!»
В монастырь бы ушла, только нынче не принято.
— Саша, Саша! — в душистую полночь сентябрьскую
и в мороз задубелый — беду свою тяжкую.
После все-таки замуж пошла за приезжего —
на работе заметного, дома прилежного.
Вот и дети, и дом — все по совести срублено.
Ну, а что-то притом все же сгублено, сгублено.
И, губу закусив, за шитьем иль за дойкою,
станет вдруг недоступной, чужою, недоброю.
Ну, а муж не поймет. Что за блажь неуместная?
Усмехнется:— Чего это ходишь невестою?..—
Ах, невеста, невеста... Мне тоже невесело.
Есть во всех наших женщинах что-то невестино.
Даже если плакучими станут ракетами,
не оплакать холмов, что по свету раскиданы.
Не оплакать парнишек, никем не утешенных,
не оплакать нам их обещаний несдержанных.
И земля в подвенечных снежинках — невестою,—
не мигая, глядит в черноту занебесную.

ТЕТКА

Только город у немцев был отнят обратно,
воротилась с другими туда моя тетка,—
по щепенке, кромсавшей подошвы, как терка,
по горелым местам, по камням еще теплым
воротилась. Ей было светло и отрадно.
Молодая. Платочек по-бабьи повязан.
На ногах сапоги. Одежонка худая.
И по кленам спаленным, по спиленным
вязам,
по обугленным трубам,
бесстрашная,
разом
пробежала глазами, о чем-то гадая.
А мужик был на фронте. А дочке — годочек.
Шла война. И еще до победы — потопать!
И пошла моя тетка за пап и за дочек
починять, кочегарить, выкраивать, штопать...
...Я люблю этот город: он белый, красивый.
Я туда наезжаю нередко, и тетка
в сотый раз горделиво кидает: «Вот то-то!»
И вздыхает: «Россия, Россия, Россия...»
Что — Россия?! Еще ты считаешь копейки,
в парусиновых тапках бежишь к магазину...

Белый город — и ты... Не поймут европейки
в штапелечках, в платочках в цветочках —
Россию.
А Россия в Залунье ракетами целит
за века, что грозили: быть вечно в грязи ей!
Что Россия, она — своих теток не ценит?
Просто знает она своих теток,— Россия.
И случись,— что ж, и мне черный хлеб их не
горек,
и, как тетка, себя не жалея ни капли,
буду день, буду белый ликующий город,
буду красное это пространство на карте.

* * *

...Та женщина, солящая грибы,
компоты запаасающая впрок...
И сад. И дым спокойный из трубы.
Я постучу, переступив порог.

Меня накормят. Простыни хрустят.
О чем здесь ночью сдавленно грустят?
О чем грустят, хотя и рассвело?
Зачем нас так невесело свело?

Она мне не расскажет ни о чем,
Она лишь зябко поведет плечом,
а мой несвязный искренний рассказ
пересказать заставит в сотый раз.

И будет так заботливо мила,
как будто бы ее беда — мала,
но я пойму, прозреньем не горда,
что в этом доме все-таки беда.

А ласточки летают вверх и вниз
и задевают крыльями карниз.
Уеду от непонятой беды.
Хозяйка мне в дорогу даст еды.

Я буду пирожки ее жевать.
Я буду ей хорошего желать.
Глаза, как дым, чужое горе ест.
Но много на земле веселых мест.

И я забуду, как ветла скрипит,
как женщина замученно не спит.
И я забуду тишину дубов
и вкус ее компотов и грибов.

Забуду, как я слабою была,
как женщина мне чем-то помогла, —
скорей всего молчанием своим,
когда так плохо было нам двоим.

Но где-нибудь, когда-нибудь, когда
меня опять ты победишь, беда,
я вспомню дом, где женщина не спит
среди глубоко запрятанных обид.

И я, свою переборков беду,
сама на стол кому-то соберу
и выслушаю исповедь его,
не впутывая в это своего.

Кого-то в жажду напою — рекой,
кому-то буду легкою рукой.
Я всем в себе обязана сама
тому, что есть вы, добрые дома.

* * *

Опять, как на машине гоночной,
несусь за вами, чудеса,
и абрикосовую горечью
запахли майские леса.

Как водолазы, грубо вжатые
в скафандры жесткие свои,
там набухают почки, жадные
от воздуха и от любви.

Там розовенький и хорошенький,
до одуренья ни к чему,
грибок взошел на нитке-ноженьке,
и сладко дышится ему!

О вёсны, реки пограничные.
Летит опасная вода...
Поклон вам, листья земляничные,
за то, что мыло — ерунда.

Поклон и муравью, и ежику,
и воробьям, орущим сбор,
и даже местному художнику
за непропущенный забор.

Я и сама, от вишен светлая,
на травке, светлой и тугой,
малюю что-то несусветное
незагорелую ногой.

* * *

Я душу научусь оберегать.
Ругайте! Не обижусь и не струшу.
Ругайте все, что хочется ругать,
но я не разрешу вам трогать душу.

Душа моя, дрожжиночка моя,
я на тебе взошла, как на опаре.
Жить невозможно, душу уморя,
когда душа в загоне и в опале.

Душа, возможность, завтрашний восход,
росточек — сквозь солончаки подушек,
счастливый ход — или счастливый код,
чтоб по нему лепить другие души.

И ты не думай, что в твоей руке,
угревшись, дремлет и не знает горя,
когда ее сжимаешь в кулаке,
небрежно, как птенцу, нажав на горло.

Она вольна, кукушкой в лесу —
в молчанье, крике, смехе или стоне.
И ты ее держи, как стрекозу,
спокойно и открыто на ладони.



**ДМИТРИЙ
НОВАЛЕВ**

ИДЕТ ЛЕД

Та знойная вода!
И медленный тот лед!..
Он глух,
Как в небе пух,
В котором спит полет.

Течение гнезда вьет,
Все в птичьих голосах.
Он тает на глазах,
Но не спеша плывет.

И шорох льдин в ушах
В мохнатых
Лес таит.
Как я, он медлит шаг,
Забыв себя, стоит.

Неслышный лед идет
По солнечной воде.
Уже он кое-где,
А все чего-то ждет.

Разлив
Нетороплив
И весь —
Как нараспев.
И он уйдет,
Проплыв,
Помедлить не успеет.

Но остается след
Разлива
На лугах.
И остается свет
В реке
И в облаках.

ПОТЕРИ

Они сошли в Полярном.
В полдень.
С бота.
Как уцелел он?
Как дошел сюда?..
Что там теперь?..
Туда ушла пехота.
Слышать:
Бомбили по пути суда.

Шинели
Ржавые на всех от крови,
Пожухли,
Коробом стоят.
И только взгляды
Скорбь потерь откроют,
Но, как позор свой,
Ужас затаят.

От всей заставы
Пятеро осталось.
И не сознание подвига —
Вина.
В глазах —
Тысячелетняя усталость.
А
Только-только
Началась война.

**ЯКОВ
НОЗЛОВСКИЙ**

СЛОВО

Слова умеют плакать и смеяться,
Приказывать, молить и заклинать.
Горячей кровью страстно обливаться
И равнодушно холодом дышать.

Добры они бывают и жестоки,
Таят пороки помыслов людских,

Негромко изрекают их пророки,
А торгоши выкрикивают их.

Со сцены королевский пересмешник
Еще словами потрясает всех.
Их горько шепчет кающийся грешник
И сладко шепчет, кто впадает в грех.

Призывом стать, и отзывом, и зовом
Способно слово, изменяя лад.
И проклинают и клянутся словом,
Напутствуют, и славят, и чернят.

И прежний смысл вдруг обернется
новым:
То «Лист опал», то «Глянь, какой
опал!»
И тот велик, кто не мечом, а словом
Брал крепости и земли покорял.

«КОН-ТИКИ»

Тору Хейердалу

Эскортных чаек слыша крики,
В норвежской скальной стороне
Стою под парусом «Кон-Тики»,
Покачиваясь на волне.

Из плоти бальзовых стволов
Плот,
 прошнурованный канатом,
Захлебывается меж валов
И возрождается крылатым.

Он тайну канувших времен
У моря вырвет в поединке.
И тот, кому молились инки,
На парусе изображен.

И, не забыв законов старых,
Пучина мужеству сама
Подносит огненных кальмаров
И рыб летучих задарма.

Есть смысл
 нам головой рискнуть,
Какие б ни гремели громы,
Чтоб проложить завидный путь
От ереси до аксиомы.

КАК В МОЛОДОСТИ ОТДАЛЕННОЙ...

Как в молодости отдаленной,
При звездах, озаривших мглу,
Звонит из будки телефонной
Он у аптеки на углу.

И замирает не случайно,
Когда у белого виска
Из трубки слышится звучанье
Девического голоска.

Любить отчаянно готовых
Ждет не одна еще гроза,
Виною — разница годов их,
Бросающаяся в глаза.

Но от всего, что им обоим
Впредь угрожает на земле,
Он отрешен, как перед боем,
И отражается в стекле.

И потому вздыхает трубка,
Которую невдалеке
Его голубушка-голубка
Сжимает в маленькой руке.

Божественно, а не амурно
Пред ним встает ее лицо.
И светится кольцо Сатурна,
Как обручальное кольцо.

АЛЕКСАНДР НОРЕНЕВ

СПАНЬЕ

Сплю в избе на полу
Обмороженный, с маршей.
Сплю в портянном пару,
Разомлевший, уставший.

На пуховом полу
Сплю! Опухший с мороза.
Сплю, набросив полу.
В пальцы впилась заноза.

Стала ночь за окном
От стужи синей.
Сплю под мокрым сукном,
Его край пахнет псиной.

В терпком вкусе собачьем
Шершавой полы —
Гололедица, молодость, Ладога.
До чего же шикарны — в избе полы,
Ах, как спится вповалку
Сладко!

И опять я встаю,
Вьюга, вьюжка вокруг,
Вьется белой золой.
Юрка, друг и земляк,
Злой, в карман за махрой...

И опять я иду —
Допоздна... И опять —
Ищем взводом избу
Завалиться и спать.

Еще руки — как куклы,
Размотал вот портянку. и сижу, в столбняке,
На полу, глядя в угли,
Об одном сапоге.

В печке пламя колдует..
Наступая на тесемки кальсон.
И бух — прямо в сон!
Лишь — рассеивается — в ушах моих звон..
Сплю по-царски. Мертвецки.
Без чувств... Невесом..
Сумасшедшей планетой сквозь космос несом!

Лишь под утро почуяв,
Как по полу дует.

Как тверда половица,
Садит из щелей.
Тем приманчивей нега ночлега.
Встал сосед по нужде
И обратно скорей,
Тря ладони, неся на обувке своей
Чистый утренний холод мохнатого снега.

Сплю всюю,
Край шинели надвинув до уха.
Спится всласть! — после груза, озноба и
верст.

Еще ночь..
Черного неба краюха
Крупной солью посыпана зимних звезд.

Тихо-тихо белеют луга кругом.
Они стали какими-то
Дымными, странными.
Или стужа обратно
Все то молоко,
Что коровы набрали,
Возвращает туманами?

Шуршитесь, непуган.
Сплю — как пью двести граммов: разом, до
дна.
Спит — как спирт пьет рота: до дна, одним
духом.

Спим — в избе на полу:
Пусть он стелется пухом!

Разрешите нам, хоть раз,
Отоспаться, война!

Муром, на марше, 1942 г.

СОЛДАТЫ ПИЛЯТ ДРОВА

Хорошо нам в деревне, здесь!
И недаром в глуби двора
Любо-дорого поглядеть,
Как солдаты
пилят
дрова!

Два рязанца, два земляка.
Круглолицым,
им нет, поди,
Вместе взятым,
и сорока..
Пилят так, что не подходи!

Пилят — будто дрова даны
Как награда, не как наряд,
Ходят локти,
как шатуны,
Спины
белые
блестят.

Завывает с присвистом сталь.
Чурки пляшут, как пятаки.
Этим лапищам волю дай,
Перепилят хоть полтайги.

Пар идет
от вспотевших
тел.
Ох и каждый пилить здоров!
Словно шел на войну
затем,
Чтоб дорваться
до груды дров!

Да надсадно жужжит в бревне
Сталь, вибрируя и дрожа..
И лежат сейчас
в стороне,
Как игрушки,
их ПППШ!

*Тернополь,
1-й Украинский фронт, 1944 г.*

ВЛАДИМИР НОСТРОВ

* * *

Линует дождик все под карандаш,
в блуждающих огнях желтеет Невский,
когда больной некрасовский пейзаж
пересекает Федор Достоевский.
И Гоголь жжет страницы.
И живой
поднялся Пушкин
с воспаленной раной.
И старый лес над Ясною Поляной
могуч и крепок, словно Лев Толстой.
Их броские и резкие тона
определят лицо родной культуры.
Тяжелые и грозные тома,
мятежные, тревожные натуры.
О, их умение пробивать года,
святое свойство пробуждать народы!
В семнадцатом империй дрогнут своды
и выйдут в поле бронепоезда.

* * *

При далеких наших расстояниях,
будто бы прощальная строфа,
в железнодорожных расписаниях
есть всегда печальная графа.
Этот век с людьми шутить не любит.
Прерывая тонкий женский плач,
чьи-то судьбы семафор разрубит
коротко и просто, как палач.
Отдышись от караумской пыли,
отряхни болот карельских слизь...
Многие геологов забыли,
многие солдат не дождались.
Только словно дальний синий облак

в лунных проникающих пучках,
все равно мерцает женский облик
у мужчин в расширенных зрачках.
И в воспоминаниях гнетущих,
ночью оставляющих без сна,
все неистребимей вера в Ждущих
Женщин,
загрустивших у окна.

В ОСТАНКИНСКОМ ПАРКЕ

Он в фонарях,
как лес в клестах,—
асфальт, нарезанный на ленты,
там, где целуются студенты,
поют транзисторы в кустах.
Буфет торгует коньяком
по ресторанным твердым ценам,
дразняще пахнет шашлыком
и чуть заметно свежим сеном.
Есть непонятная тоска
в таком смещении нелепом.
Под низеньким старинным небом,
как бы у самого виска,
провозглашая новый день
и попирая день вчерашний,
стоит Останкинская башня,
бросая медленную тень!
И звезды на небе сквозят.
Дрожа от собственного риска,
березки, словно гимназистки,
куда-то в прошлое скользят.
Церквушка будто бы в гостях —
одета чисто и немарко.
По вечерам в дворянском парке
поют транзисторы в кустах.



ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАТСК

Я помню деревянный дом,
где папиросный дым столбом,
а за окном собачий холод,
вморожен в небо лунный круг,
но молод мой высокий друг,
и я самозабвенно молод.

Для нас еще не вышел срок,
нас водка не сбивает с ног,
а только силы прибавляет.
Мы загуляли до утра,
нам дела нет, что Ангара
величественно прибывает.

Звезда над черною сосной,
фонарь на улице пустой,
сиянье в чреве котлована.
Вся эта жизнь уйдет на дно...
Дыхание затруднено
волной морозного тумана.

Вся эта жизнь ушла на дно...
А вместе с нею заодно
и этот дом, и эти годы.
На Братском море тишь да гладь.
Глядишь — и взглядом не объять
его искусственные воды.

НОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Дитя сороковых годов,
дитя послевоенных улиц,
я видел много городов,
но мне они не приглянулись.
Меня качали поезда,
меня кружили танцплощадки,
и это, видно, навсегда
со мной, как пальцев отпечатки.
И верно, потому что нет
такого места на планете,
где клином бы на белом свете,
как говорят, сошелся свет, —
я странным чувством полюбил
весь этот беспокойный табор,

в котором ел, в котором пил
и выходил очнуться в тамбур,
чтоб дверь тяжелую рвануть
и захлебнуться встречным ветром...
Куда ты? Но не в этом суть,
и дело все-таки не в этом,
а в том, что к женщине одной,
к какому-то микрорайону
с отяжелевшей головой
я шел по городу ночному.
Его окраина всегда
меня тревожила сознанием
того, что дикая трава
вплотную примыкает к зданьям,
что справа глина и бетон,
что где-то рядом запах поля,
клочок зари — ну, словом, воля,
переходящая в закон.
Но мой бессмысленный рассказ
так безнадежно затянулся,
а дело в том, что в этот раз
я заблудился и очнулся
среди крупноблочных корпусов,
занумерованных кварталов,
среди ободранных кустов
и бездыханных самосвалов,
и вышел к яркому костру,
к каким-то людям молчаливым.
Они сидели на ветру,
и ветер яростным порывом
из улицы, как из трубы,
ликуя, вырывался в поле,
свистел, и пламя золотое
сияньем озаряло лбы.
Под этот сумасшедший свист
я увидел с собою рядом
спокойный ряд усталых лиц,
очищенных огнем и мраком,
и понял, что и у меня
лицо почти иконописно
от пляски мрака и огня...
Но было все-таки обидно,
что ночь с ее блестящей мглой
так коротка в середине лета,
что ореол над головой
всего лишь только до рассвета.



* * *

Декабрь.
Голицынское утро.
Как далеко я от Баку!
Мороз.
И солнечная пудра
Блестит на сухом снегу.

Я далеко, какие годы
От южной юности моей,
От нежно-ветреной природы,
От шумно-ветреных затей.

От мальчика,
Который ловко
Из хризантем лепил снежки,
От глаз, которые узки,
Как у мужающего львенка.

...Легко мне на морозной тризне.
Наверно,
Тайная есть сладость —
Вторую половину жизни
Вдали от первой проживать.

И помнить только то, что ясно,
Как это утро,
Этот снег,
И в откровении прекрасном
Прекрасно продолжать свой век,

И слышать все,
Что было немо
(Ведь петь не просто на бегу),
Лепить из снега хризантемы
И оставлять их на снегу...

* * *

Стоит сухая осень,
Ясна, как никогда.
И хочется мне очень,
Чтоб было так всегда.

Ни хлябко и ни хлипко —
Все светится окрест.
И белочка в Подлипках
Из рук орешек ест.

И хвост струится чудный
По моему плечу.

Присвоить это чудо
Я вовсе не хочу.

А просто мне приятно,
Что белка ест из рук,
Как девочка опрятна,
И что светло вокруг,

И что кружатся листья,
И хочет кто-нибудь
Меня не из корысти —
Как белку — примануть.

* * *

Едва лишь только день померк,
Мой праздничный —
Мой день рабочий,
Как я смотрю уже поверх
Вплотную подошедшей ночи.

Авось и завтрашний рассвет
Мне даст тот самый дух свободы,
Необходимый для работы,
Когда работает поэт.

А ночь мне не дарует слов.
Когда-то по своей природе
Вся уходила на любовь,
Теперь на сны она уходит.

Безгрешно сплю в пустом доме
И вижу всяческие Леты
Минувших лет...
И потому
Надеюсь только на рассветы.

* * *

С. Липкин

Я за целебным ядом слова
В свои пески иду без слов.
Так в Каракумах змееловы
Идут на свой опасный лов.

Потом, от водки не хмелея,
Они впадают в долгий сон,
А рядом бодрствуют змеи
В мешке, и шевелится он.

У змееловов в шрамах руки
И ремеслом отравлен взгляд,—

Какие надо вынести муки,
Чтоб сделался целебным яд!
Какая страшная работа
Само добро извлечь из зла.
Но не было такого года,
Чтобы на это я не шла.
И не было такой недели
И не было такого дня,
Чтоб ночью змеи не шипели
Под самым боком у меня...

* * *

У тетки моей Антонины
Для смерти все припасено,—
И беленькое для помину,
И белое полотно,

И туфли на номер побольше,
И кофта пошире чуть-чуть,
Чтоб можно ей было по-божьи
В дубовом гробу отдохнуть.

Всё — есть.
Но о смерти нет речи.
Она эту речь не ведет,
Хлопочет над газовой печью
И платья племянницам шьет.

Замужней была.
Но бездетна.
И в семьдесят строго-стройна,
В заботах дневных беззаветно
Она только жизни верна.

Ах, скольких растила, крестила!
Приладилась к разным печам...
И тайно о смерти красивой
Печется она по ночам,—

Чтоб все было чисто и чинно,
Чтоб все подобало лицу...
У тетки моей Антонины
Всё —
Как у невесты к венцу.

* * *

Я стала очень некрасивой,
Гвоздик мне больше не дарят.
— Будь умницею, будь
счастливой! —
Вот что теперь мне говорят.

Но умницею я не стану.
А вот счастливою была.
И скатерти, словно туманы,
Я убирала со стола.

Мне было жалко древесины,
Прикрытой льном или полотном.
И пили за меня мужчины,
Как за синицу за окном.

И ждали только моей воли.
Синицы не держать в руке,
Как пены в море, ветра в поле
И зайчика на потолке.

И я нет-нет да опускалась
С небес на чью-нибудь ладонь,
Любила и не опасалась
Заманиваний и погонь.

А после ощущала дико
Свободу в собственном крыле,
И оставляла все гвоздики
На незастеленном столе.

МАРК ЛИСЯНСКИЙ

ЗИМА В МОСКВЕ

Не пургой,
Не метелью злою
И не лютою синевою
Закружилась зима над землею,
Зазвенела зима над Москвой.
Из высоких своих амбаров
Сыплет щедрой рукой добро —

Белоснежное серебро
На озябшие тротуары.
Я подумал: сама природа
В этот день вспоминает
Густой,
Ранний снег сорок первого года
Над Россией, от горя седой.
Безупречною белизною
На закате снега горят,

Но под белою пеленою
Созревает зеленый сад.
Вечер кажется птицею синей,
Талой звездочкой на лице,
Непридуманной сказкою зимней
Со счастливой развязкой в конце.
Даже ночью
Людским ликованием,
Звездным полымем
Мир озарен,
Словно северное сиянье
На московский легло небосклон.
И струится на пешеходов,
На бульвары твои, Москва,
Свежий снег сорок пятого года
Добрый вестником торжества.

1945

НА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМ КИЛОМЕТРЕ

На двадцать третьем километре
По Ленинградскому шоссе,
Где только вехи, только ветры
И нависающие ветви —
То в снежной пене, то в росе,
Стоят открыто перед всеми
У беспощадной той межи
Противотанковой системы
Окаменевшие ежи.
Они совсем недавно встали,
Направив брусья в облака,
Не на земле — на пьедестале,
И не на день, а на века.
Они стоят как перед немцем,
Как перед танком в том году,
Стоят с моим притихшим сердцем
В одном строю,
В одном ряду.
Здесь некий младший лейтенант,
Зарывший в землю свой талант,
Лежал в окопе перед боем,
Перед минированным полем.
А позади была столица,
А позади была Москва,
И он Москве шептал слова:
— Врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова!.. —
И он не знал, что станут песней,

Что станут клятвой те слова
И что назначит встречу здесь с ней,
С той самой песнею, Москва.
И на граните, на граните
Прочтет он эти две строки
Его души, его руки, —
Вы только правильно поймите!
Его пронзят былые ветры,
Он тронет веточки в росе —
На двадцать третьем километре
По Ленинградскому шоссе.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Пылает днем и ночью пламя
И озаряет шар земной.
Не утихает наша память
О тех, кто был убит войной.
Не то что совестно бывает:
Вот мы живем, а их уж нет,
Огонь горит — не убывает,
Горит — не угасает свет.
Совсем не ради мысли праздной
Об этом речь свою веду.
Смерть на войне бывает разной —
Не на виду и на виду.
То вдруг в минуты перекура
Найдет блиндажный твой уют,
То в поле сыщется пуля-дура,
То по своим иной раз бьют.
Встречали смерть в горящем танке,
Встречали с флагом на штыке,
И в обороне, и в атаке,
И на берлинском пяточке.
Я ощущал ее всей кожей,
Всей шкурой... И поверьте мне:
Случайной смерти быть не может,
Когда живешь ты на войне.
Смерть сдует в три наката крышу,
Рванет навывлет, наповал...
Тому, кто ждал вестей, напишут,
Что воин смертью храбрых пал.
И это так! Он жил отважно
И не придет домой с войны.
Но так могло случиться с каждым,
У нас пред ними нет вины.
Над их несбыточными снами,
Над нашей памятью живой
Пылает днем и ночью пламя
И озаряет шар земной.



Хорошо в полуподвале
На фундаменте плясать.

А наутро, по авралу,
Снег бросать с домовых крыш.
После праздника, пожалуй,
На ногах не устоишь.

Крыша старая поката,
Не видна из-подо льда.
Гиря, ломик и лопата
Все орудия труда.

Богу — богово, а кесарь
Все равно свое возьмет,—
И водопроводный слесарь
С крыши скалывает лед.

Приволок из преисподней
Свой нехитрый реквизит.
После ночи новогодней
Водкой от него разит.

Он с похмелья брови супит,
Водосточную трубу
Гирей бьет, лопатой лупит:
— Сдай с дороги, зашибу!

Снегом жажду утоляя,
Дышит-пышет в рукава.
Молодая, удалая
Не кружится голова.

Потому что он при деле,
И, по молодости лет,
Не томит его похмелье
И забот особых нет.

Хороши работы эти
Над поверхностью земли,—
Предусмотрены по смете
Сверхурочные рубли.

Хорошо, что этот старый
И усталый, талый лед,
Падая на тротуары,
Распибается взлет.

ШТРАФ

Мир везде и всюду одинаков,—
Изнывая от его щедрот,
Баранускайте через Краков
По центральной улице идет.

Все грубы и наглы.
Чем же, кем же
Утешаться к тридцати годам
Баранускайте, манекенше,
Разъезжающей по городам.

Здесь и там, то в Праге, то в Варшаве,
Все они грубы и наглы.

Но
Баранускайте вправо, вправо
Тем же отвечать. И пить вино...

И —
В вечерний шелк полуодета,
А точнее — полунагишом
Краковская гейша, с тенью гетто
На лице красивом и большом,
Голосом поставленным и резким,
Яркой краской увеличив рот,
Перепутав польское с еврейским,
Голубые песенки поет.

Крупная, по-женски обжитая
И вполне здоровая на вид,
О любви и нежности мечтаю,
По ночам тоскует и не спит.

Вот и разрушается здоровье,
Неполадки в теле молодом,—
И струя ветхозаветной крови
Через сердце движется с трудом,

Для чего ей новых мод шедевры,
Синей тушью подведенный взгляд,
Если не выдерживают нервы
И почти без повода шалят.

Лишь одна осталась ей свобода —
Вспоминать свою былую прыть
И, не соблюдая перехода,
Медленно проспект переходить.

Милиционеры, не зевайте,
Поскорей свистки пускайте в ход,—
Переходит Баранускайте
Улицу, не там, где переход.

Черные чулки и красный шарф,
Сумочка из кожи крокодила,
Баранускайте платит штраф,
А квиток к витрине прилепила,

Поплевала на него — и шлеп,
Так и припечатала квиточек,
Чтобы отучить, отвадить чтоб
Всех, до приставаания охочих.

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

Красный петух, октябрь золотой, снег
серебряный..
Разве есть что на свете
их перьев, и крупки, и листьев
целібнее?
Нужно к ранам (вот именно)
к свежим (естественно)
их приложить,
если свежие раны, конечно, вы успели уже заслужить.
Это пестрое, шумное, гордое
нужно с рассвета и затемно
добывать и копить, и хранить, и беречь
обязательно,
чтобы к ранам (вот именно)
к свежим (естественно)
их приложить,
если свежие раны, конечно, вы сумели уже заслужить.
Как трудны эти три работенки:
надежда, любовь и пристрастие!
Оттого-то, наверно, и нет на земле
работенки прекраснее.
Вот и самые свежие раны,
неустанные, словно вулканы,
дымятся во мне..
Потому что всегда и повсюду
только свежие раны в цене!

ДЖАЗИСТЫ

Джазисты уходили в ополчение,
цивильного не скинув облаченья.
Тромбонов и чечеток короли
в солдаты необученные шли.
Кларнетов принцы, словно принцы
крови,
магистры саксофонов шли,
и кроме
шли барабанных палок колдуны
скрипучими подмостками войны.
На смену всем оставленным заботам
единственная зрела впереди,
и скрипачи ложились к пулеметам,
и пулеметы бились на груди.

Но что поделатъ, что поделатъ, если
атаки были в моде, а не песни?

Кто мог тогда их мужество учесть,
когда им гибнуть выпадала честь?

Едва затихли первые сраженья,
они рядком лежали. Без движенья.
В костюмах предвоенного шитья,
как будто притворяясь и шутя.

Редели их ряды и убывали.
Их убивали. Их позабывали.
И все-таки под музыку Земли
их в поминанье светлое внесли,
когда на пяточке земного шара
под майский марш, торжественный
такой,

отбила каблуки за парой — пара...
За упокой их душ.

За упокой.

ПИСЬМО АНТОКОЛЬСКОМУ

Здравствуйте, Павел Григорьевич!

Всем штормам вопреки,
пока конфликты улаживаются и рушатся материки,
крепкое наше суденышко летит по волнам стрелой,
и его добротное тело пахнет свежей смолой.

Работа наша матросская призывает бодрствовать нас,
хоть вы меня и постарше, а я помоложе вас.
(А может быть, вы моложе, а я намного старей...)
Ну, что нам все эти глупости?

Главное — плыть поскорей.

Киплинг, как леший, в морскую дудку насвистывает без конца,
Блок над картой морей просиживает, не поднимая лица,
Пушкин долги подсчитывает,
и, от вечной петли спасен,
в дали вглядывается с мачты вор Франсуа Вийон.

Быть может, завтра меня матросы под бульканье якорей
высадят на одинокий остров с мешком гнилых сухарей,
и рулевой равнодушно встанет за штурвальное колесо,
и кто-то выругается сквозь зубы
на прощание мне в лицо.

Быть может, все это так и будет. Я точно знать не могу.
Но лучше пусть это будет в море,
чем на берегу.

И лучше пусть меня судят матросы от берегов вдали,
чем презирающие море обитатели твердой земли...

До свидания, Павел Григорьевич!

Нам сдаваться нельзя.
Все враги после нашей смерти запишутся к нам в друзья.
Но перед бурей всегда надежней в будущее глядеть...
Самые чистые рубахи
велит капитан надеть!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Официант Иван Афанасьевич ненавидит посуды звон.
Все равно ему:

оловянная, серебряная, золотая..
И несдержанность постояльцев оборачивается злом,
и тускнеет
шевелюра его завитая.

Шеф-повар Антон Андрианович ненавидит всякую снедь.
Ему бы — селедки да ржаного кусочек...
Но супруга ему пророчит голодную смерть
и готовит ему разносолы.

А он не хочет.

ГОРОД

Рисунок углем

Только светало. А он уже шел,
Зачатый рано, в туманы, гудками,
Сбитый ветрами, в бульварах свежо
Пахнущий стройкой, смолой и дождями.

Медью ли тлела живая заря,
Жить ли звала в заводских корпусах —
Он высыпал на платформы, горя
Памятью роц и поселков дымясь.

Да, просыпаться ему не легко
Было. Он плавился шлаками ночи.
Он остывал, изумляясь меж прочим
Тенью кустарников, звезд и рекой.

Вот он по крышам, в антеннах залег,
Плавится золотом над этажами,
И, напевая, лучом, — уголек
Первым проснулся в синеющем пламени.

Дальше пошел разговор по цехам.
Коротко. По заводскому обычаю.
Отгул встал — и у станка
Вещи размеренный вырос добытчик.

Вот это — город и двор заводской,
Он разожжен, как огромные печи,
Весь он разбегом авто и подков
Стянут, и тонут от топота речи.

Вот это — город, огромный развод
Рот и огней, пешеходов и линий —
Город признал молодое родство,
Вылазку труб в деревенские сини.

Утро окрепло. Он снова подобран,
Вкручен, как гайка. И взят на учет.
Только светает — и снова в работу
Многочисленный хозяин идет.

РИСУНОК ЗИМНЕГО УТРА

А! Вот она, первая снежность —
На удивление белизна:
Нагорная, легкая свежесть
Вся в перышках зимнего сна.

И черепичные крыши
Проснувшиеся. И дымок,
Взлетающий выше и выше,
До самого неба флажок.

И в этом спокойном раздолье
Все лишнее убери —
Оставь только белое поле
Бумаги
И бедную лампу зари.

И, может, отвалы ночи,
Серебряные совсем,
И веток сияющий росчерк
В неведомо-новой красе.

ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН

* * *

Зверь не может молчать.
Он кричит.
А не может кричать —
он мычит.
Камни тоже кричат.
Ветки тоже кричат
и кольшутся ветки.
А мне говорят:
— Помолчи.—
А мне говорят:
— Замолчи! —
А я уже намолчался
в разведке.

* * *

Когда, проснувшись рано,
не размыкая век,
ты ощутишь за рамой,
как валит снег на снег;
как он все выше, выше,
прозрачный, голубой,
над окнами, по крыше,
сомкнется над тобой.
И ты, скользя неловко,
став невесомым вдруг,
отходишь, словно лодка,

Б. Виргер

от ослабевших рук,—
руби окно, как прорубь,
прорви единство льдин,
встань, в чем лежал, и пробуй
отрыть себя один.

* * *

Не паситесь в офсайте
в тени у чужого крыльца.
Старых жен не бросайте,
несите свой крест — до конца.
Их негладкие руки,
их горькие стрелки морщин —
наши с ними разлуки,
угрюмство домов без мужчин.
От себя не бегите.
Не бойтесь костров Колымы.
Старых жен берегите.
С годами они — это мы.
Что у нас под глазами
кладет огорченья мешки,
и у них со слезами
не уходит, упав со щеки.
А что было, то будет:
и травы по грудь,
и снега.
От морей не убудет
пока у морей берега.

* * *

Что любил, что не любил —
дело давнее.
Все копил, копил, копил,
как приданое;
неба нотные значки,
утра обручи —
все в зрачки, в зрачки, в зрачки,
клен да облако.
К слову слово,
к звуку звук,
под облавами.
Все в сундук, в сундук, в сундук,
сверху травами.

.....

Я как бочку раскачу
все, чем полнился.
Я за все теперь плачу,
за все полностью.
И легко, легко отдам
все до колышка.
Мне не нужно здесь и там
для себя нисколечко.
Я прошел уже свой лес
вслед за гончими.
Время камни собирать
уже кончилось.



ИЛЬЯ
СЕЛЬВИНСКИЙ

ФЕВРАЛЬ

Метет метелица
— белы́ снеги́.
А в белом дыме
с песней озорною
Как бы забрызган розовой зарею
Сидит российский попугай —
снегирь.

Поэтому на вьюгу не ворчи:
Весна идет! Во что ей воплотиться?
Весну несут
не черные грачи,
А эти заревые птицы.

МОГУЧИЕ НЕЯСНОСТИ

Весною неуютно мне. Тоска.
Чего-то хочется.. Куда-то тянет..
Ни в снежных лысынах налет песка,
Ни в телевизоре весенний танец
Не радуют, не веселят.
Весной
Неясности особенно могучи.
Стою в своем саду под бузиной,
Разросшейся ордынской кучей,
Ее дыханье слышу за плечом
С тончайшим запахом спитого чаю.
И тихо плачу. Та́к вот. Ни о чем.
Чего мне надо? Сам не знаю...

КУСТЫ СИРЕНИ В МАРТЕ

Бурые и сухие, как розги,
Вблизи они те же, что в ноябре,
Но издали — будто в небрежном
наброске
Зеленым пятном предвещают апрель.

Опять подхожу все ближе, ближе —
И снова розги да бурый тон;

А издали — снова кустарник рыжий
Зеленоватым мазком оттенен.

Что это? Наше предчувствие? Или
Плакатный рефлекс черно-синей
сосны?

А может быть,
безо всяких стилей
Просто-напросто чудо весны?

ПЕТР СЕМЫНИН

ЛУГ

Горит и вьется над цветком
Живой цветок в разводах,
И жарче с каждым завитком
Дыханье небосвода.

А луг раскинулся в меду
До зарослей малины,
И солнце смотрит сквозь слюду
На Вавилон пчелиный.

Как зелье, варится тут зной
Из запахов и красок,
И тянет силой колдовской,
Дурманной дремой сказок.

Еще, наверное, дней пять
В сверканье и гуденье
Продлится эта благодать
Великого цветенья.

Потом косцы придут сюда,
Поднявшись с петухами,
И сенокосная страда
Уставит луг стогами.

ВСЕ СНОВА

Ведь все одно как будто каждый год:
Осипший снег, ручьи, земля спросонок
И облако, как розовый теленок,
Парное пойло у мостков сосет.

И кочет, залетевший на сарай,
Кричит, как новый тенор на премьере,—

Вот-вот отправит душу к богу в рай
Иль оземь грянется, по крайней мере.

И старый МАЗ скользит в густой грязи
С проклятьями и скрежетом зубовным.
Но, из ловушки вырвавшись на полном,
Смолкает вдруг перед певцом Руси.

А в громком небе свой переполох —
Стада скворцов, взрываясь, как ракеты,
Трезвонят так, как будто мир оглох;
А мир лежит неубранный, раздетый.

И, щурясь, тянется... Наверно, сны
С очей его не все еще слетели,—
Куда как сладко замирать в постели
И слушать нянькину возню весны.

Жить, жить и жить, и ненасытно пить
Все: ветер, солнце, синеву, туманы,
И всё в себя, как высший смысл, вместить,
Ты — гость земли, но гость на праздник
званный!

* * *

Солдаты голые верхом
На жеребцах въезжают в воду,
Речным холодным серебром
До глаз окаченные с ходу.

На утренней воде слышной
Возня и хохот за кустами
И ржание больших коней
С кавалерийскими хвостами.

И если подойти к реке
Покосом, где кустарник реже,
Увидишь их невдалеке
Во всей красе, лихой и свежей.

Окашивая жаркий луг,
Босые бабы то и дело

На речку взглядывают вдруг
Из-под платков с усмешкой смелой.

А там, сверкая голизной,
Под сень черемух, как под лавры,
На берег-луг в цветы и зной
Из вод выносятся кентавры.

НИКОЛАЙ СИДОРЕНКО

* * *

Вечны связи листвы вскипевшей
С листопадами сентября;
По дороге зари сгоревшей
Молодая спешит заря;

Замещается поколение
Поколеньем, идущим вслед...
Продолжение, а не тленье —
В непреклонном движенье лет.

Если песня одна допета,
Значит, время другой звучать,
И от строчек «На смерть поэта»
До «Возмездья» рукой подать.

Все под звездами заменимо —
И былинка, и человек.
Только совесть неповторима,
Только правда у нас — навек.

Не напрасно мудрец старинный
Был спокоен, когда упал:
Он заканчивал путь свой длинный —
Ученик вслед за ним вступал.

В ЭТИ ДНИ

Озера, луговины, рощи...
Вдыхай покой, живи вдвойне.
Но мысли почему-то жестче,
Все чаще — строчки о войне.

Ответь мне, память, разве мало
Легло солдат на Мировой?
Четыре года укрывала
Земля их ласковой травой.

Позавчера своей рукою
Друзьям я закрывал глаза,
И нет мне на земле покоя,
Пока планету жжет гроза;

Пока смиряем через силу
Неистовых коней судьбы,
Копаем свежие могилы,
Сбиваем детские гробы.

Где нежность мира — Афродита?
Ее сразили над волной
Три пули в спину Мередита
И бомбы с неба — на Ханой.

Ты ни в горах, ни в океане
Прибежищ тихих не ищи,
И, видно, надобно заране
Готовить камни для пращи.

Как вспомнишь все — и сердце
жестче,
И жадно ветер ловишь ртом...
Озера, луговины, рощи,
Я к вам приду потом... потом.

КИТЕЖ-ГРАД

Судьба укрыла Китеж-град
В воде от помыслов неправых.
Я шел к нему сквозь мглу преград
И жег костры на переправах.

Я горы сокрушал в пути
Под грозowymi облаками;
Окоченевшими руками
Ломал железо, чтоб дойти.

А не дойду, так ты дойдешь,
Я не увижу — ты увидишь:

Когда со света сгинет ложь,
Всплывет, колебля воды, Китеж.

Он — светоч правды, сон и явь,
Он — сказка, ставшая сказаньем.
Всю мысль и жизнь к нему направь,
Будь вдохновлен одним дерзаньем.

Всплывет он с илистого дна,
Где бьют ключи, не замирая,
И запоет, навек ясна,
Земля, от зелени сырая.

И Китеж-град, под плеск волны,
Озерные покинет воды —
И все сердца внимать вольны
Чистейшей музыке Свободы.

Ищи всю жизнь свой Китеж-град,
Не уставай служить дерзанью.
Не бойся залпы с баррикад
Добавить к вещему сказанью.

ПРЕДВЕСЕННИЕ ЗИМНИЕ ДНИ

Предвесенние зимние дни,
А снежницы как полные блюдца,
Ветлы в поле покуда одни.
Скоро поле и ветлы очнутя.

Предвесеннее бьет через край.
Тянут мимо пролетные утки.
Ты смотри, замечай и вдыхай —
Не таким будет мир через сутки.

Вдруг сама будешь завтра иной.
Подступает такая погода,
Что в заречье пойдешь не со мной
На протяжный набат ледохода.

Все случается в жизни, поверь.
Впрочем, я — самодельный философ;
Я в теории встреч и потерь
Не решу и простейших вопросов.

Побеседую с первым грачом
О его незатейливых планах,
О починке гнезда над ручьем
И о всяких превратностях странных.

Покачается грач на ветле,
Утомленный веселой дорогой.
Зацветет вероника в тепле —
Ты ее, ради бога, не трогай.

Зацветает она для тебя:
Вся весна — для единственной в
мире.

И не нужно, весну торопя,
Поселять ее в душной квартире.

Ты ищи на просторе весну —
Там и света, и ветра в избытке.
До полуночи я не засну,
На крючок не закрою калитки.

Возвращается с неба вода,
На гнездо возвращается птица...
Пусть мелькнет под окном иногда
Заплутавшая в поле зарница.

* * *

Ослабевае все-таки мороз,
И вьюги утомились от скитаний,
И небеса в преддверье теплых гроз
Сияют светом добрых обещаний.

Ах, если бы и вправду случилось так,
И люди горе горькое забыли,
Глухую пору залпов и атак
И танковых набегов в вихрях пыли.

Все так и будет. Спросишь ты — когда?
Я не скажу — я не гожусь в пророки.
Ты только верь, что отойдет беда,
Что подойдут совсем иные сроки.

Ты яблоньку в апреле посади,
Ей подари небес весенних своды.
Как ветер морщит лужи, погляди,
Как в полыньи привольно рвутся воды!

Над нами синь — преддверье теплых
гроз —

Сияет светом добрых обещаний...
Ослабевае на земле мороз,
И вьюги утомились от скитаний.



БОРИС СЛУЦКИЙ

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ

Те тайны,
военные тайны,
что я сохранил,
не напоминали
секретов,
военных секретов.
Загадочным взором старинных портретов
смотрели они у меня
со страниц.
Я таинство смерти хранил у души в тайнике.
И таинство боя,
и славную тайну победы.
Скрывать эти тайны ни разу я не дал обета.
Они, словно птицы, в моей трепыхались руке.
Я их отпустил,
и запели они о своем.
Все тайны — пустил,
а секрета ни разу не выдал:
военные тайны,
все то, что я в тайне увидел,
все те,
с чем войну скоротал я вдвоем.

* * *

Ленин — из учительской семьи.
Дома — толковали про тетради,
но готовы были
счастья ради
человеческого
на бои.

Ленин с детства знал: учить людей,
арифметике или восстанию,
сеять семена благих идей —
нет блестящей
этого блистания.

* * *

От Малахова кургана
до Мамаева кургана
отступали,
а другие — от границы до Москвы.
А иные — по дороге в плен попали,
а иные — не сносили головы.

Но закончили войну не на Кавказе,
не на Волге и не на Дону,
а в берлинском, праздничном приказе,
там, на Шпрее,— мы закончили войну.

Все — и те, кто в сорок первом сгнули,
похоронены по долам и лесам,
из чехлов свое оружие вынули
и палили по берлинским небесам.

Трассами перечеркнуло беды,
выпили, как предки в старину.
Общая
была победа.
Вместе
выиграли мы войну.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПАВЛЕ КОГАНЕ

Разрыв-травой, травую повиликой
мы прорастём по горькой, по великой,
по нашей кровью политой земле.
*(Из несохранившегося стихотворения
Павла Когана)*

Павел Коган. Это имя
Уложилось в две стопы хоря.
Больше ни во что не уложилось.

Головою выше всех ранжиров
на голову возвышался.
Из литературы, из окопа
вылезала эта голова.
Вылезала и торчала
с гневными веселыми глазами,
с черной, ухарской прической,
с ласковым презрением к друзьям.

Павел Коган взваливал на плечи
на шестнадцать килограммов
больше,
чем выдерживал его костяк,
а несвоевременные речи —
гордый, словно Польша,—
это почитал он за пустяк.

Вечно преждевременный, извечно
довременный и послевременный
Павел
не был своевременным, конечно.
Впрочем, это он и в грош не ставил.
Мало он ценил все то, что ценят,
мало уважал, что уважают.
Почему-то стал он этим ценен
и за это уважаем.

Пиджачок. Рубашка нараспашку.
В лейтенантской форме не
припомню...

В октябре, таща свое раненье
на плече (сухой и жесткой коркой),
прибыл я в Москву, а назначенье
новое, на фронт,— не приходило.
Где я жил тогда и чем питался,
по каким квартирам я скитался,
это — не припомню.

Ничего не помню, кроме сводок.
Помню список сданных нами
градов,
княжеских, тысячелетних...

В это время встретились мы с
Павлом
и полночи с ним проговорили.
Вспоминали мы былое,
будущее предвкушали
и прощались, зная: расстаемся
не на день-другой,
не на год-другой,
а на век-другой.

Он писал мне с фронта что-то
вроде:
«Как лингвист, я пропадаю:
полное отсутствие объектов».
Не было объектов, то есть
пленных.
Полковому переводчику
(должность Павла)
не было работы.

Вот тогда-то Павел начал лазать
по ночам в немецкие окопы
за объектами допроса.
До сих пор мне неизвестно,
сколько «языков» он приволок.
До сих пор мне неизвестно,
удалось ему поупражняться
в формулах военного допроса
или же без видимого толка
Павла Когана убило.

В сумрачный и зябкий день
декабрьский
из дивизии я был отпущен на день
в городок Сухиничи
и немедля заказал на почте
все меню московских телефонов.

Перезябшая телефонистка
раза три устало сообщила:

«Ваши номера не отвечают»,
а потом какой-то номер
вдруг ответил строчкой из
Багрицкого:

«...Когана убило».

* * *

Поэзия — оклик, режет окрик.
Она не нуждается в гипсах и охрах,
а только в бумаге и карандаше.
Эта легкость — мне по душе.

Стихи, написанные в течение жизни,
может выучить на память вдова,
впитать и скрыть, а скажут — брызни,
она и брызнет большие слова.

Поэзия прибавляет хорошее
стиха по четыре в год (со всех),
а прочее застилает порошею
забвения.
Белый забвенный снег.

Краткость, портативность стиха,
его переносность,
общедоступность сырья и станка,
методов блаженная косность:
работай приемами хоть Гомера
или средневековых баллад,
были бы разум, чувство, мера,—
не позабудут твой вклад.

ВРЕМЕНА ГОДА

Лето кануло в Лету, в сухую реку,
с берегами, забытыми палью и прелью,
и покоится там до конца апреля.

В середине мая кустик ореха
осторожно глянет зеленым глазом,
и теплынь пролезет знакомым лазом,
прошлогодним, третьеводнишним,
вечным,
и расправит плечи, поднимет голову
и шибает в нос ароматом вешним,
и пруды полны детишками голыми,
и земля накаляется, как сковородка.

Все леса, все поля, вся земля —
нараспашку.
Распахнута каждая косоворотка,
растегнута каждая рубашка.

Планета распарена, как роженица,—
ни минуты не прохлаждается.
Каждый день кто-нибудь женится.
Каждый миг кто-то рождается.

ДАЛЬНИЙ ЮГ

Ветер колени слегка заголял.
Музыка тихо из окон звучала.
А на балконе студент загорал,
одновременно конспект изучая.

Был удивительно скучен конспект,
и потрясающ
текший под тем же балконом

проспект:

южный,
дремучий,
полный красавец.

В тапки обут, в ленты одет
тёк пред глазами.
Нет, не осилит конспекта студент!
Нет, он завалит экзамен.

* * *

Абстрактная живопись — Айвазовский,
спиной к окну пишущий море,
абстракцию моря, формулу моря.
Страшнее всего — обернуться:
живое море влезет в окно,
размоет формулу, зальет абстракцию.

* * *

Не отвечаем за родителей,
зато вольны в учителях.
Вольны усвоить и отвергнуть,
вольны запомнить и забыть.

Оценки, те, что нам поставят,
и те, что мы поставим им —
учившим нас и научившим,
от нас зависят и от них.

АЛЕКСЕЙ СМОЛЬНИКОВ

* * *

С войны не возвращаются. Не лги,
Что будто бы с нее вернуться можно,—
Она лишь затаится осторожно,
Когда, вернувшись, скинешь сапоги.

Она как в рукаве пустом рука:
Ее уж нет, а все болит к ненастью.
Она — слепой осколок твой, что,
к счастью,
До сердца путь не отыскал пока.

Подписывают мир не для солдат.
Одним лишь павшим он сигнал отбоя.
А тот трубач, что в бой нас вел с тобою,
Он все трубит — и нет пути назад.

* * *

Певцов России крестная стезя..
Так след звезды промчавшейся — все
светел.
Всегда была ты тем, чем быть нельзя,
Точнее — тем, чем должно быть на свете.

Из мглы времен, мгновенна и светла,
Не ты ли на российском небосводе
Являлась людям Пушкиным к свободе
И Лермонтовым к мщению звала?

Певцов России вечный непокой!
И гордо мне, и страшно мне, и сладко.
И сердце замирает, как взрывчатка,
И след звезды — сквозит над головой....



НОЧЬ В СЕЛЕ КАМЕНЕВО

Хозяйка при свете коптилки стелила солому,
сушились портянки, шинели и ватники — полный содом...
Я лег и подумал:
«Ну вот, наконец мы и дома!»
Который по счету и каждый по-своему — дом.
Солдатская доля:
кулак заменяет подушку,
а спать вшестером веселее, чем спать одному.
За тонкой стеной, уцелевшая как-то, вздыхала телушка
и, думая думу, мычала задумчиво:
му-у...
Заснули в секунду.
Как здорово спится с дороги!
За вычетом храпа с телушкой, должно быть, царит тишина.
Нас шесть.
Одеяло одно.
И солдатские голые ноги
причудливым светом своим освещает луна.
Друзья, что вам снится?
Храпят...
Повернувшись со вздохом,
я вдруг вспоминаю с немного смущенной душой,
что в давнее мирное время спалось мне порою так плохо,
а вот на войне научился я спать хорошо.

с. Каменево, апрель, 1943 г.

* * *

Это так вот и будет, вы мне уж поверьте:
кто-то скажет вам тоном безгрешно простым,
что такой-то погиб героической смертью
при атаке какой-нибудь там высоты.
Вы взволнуетесь. Волосы скорбно
взъерошив,
вы расскажете всем, пока память свежа,
что покойник был очень и очень хорошим
и ужасно покойника этого жаль.
Мол, мы вместе знавали и беды лихие,
поверяли друг другу и грусть и мечту.
Мол, стихи он писал — иногда неплохие;
если кто-нибудь хочет — давайте прочту.
Черт возьми! Где параграф закона такого,
где записана та несусветная бредь,
по которой, увы, для хорошего слова
о самом себе — надо сперва умереть?

А при жизни я, что же, простите, был хуже?
Мне не надо, товарищи, пышных наград,
фимиам, как барану конфета, не нужен,
только доброму слову я б очень был рад.
Чтоб стихи похвалили, когда я «в ударе»,
и когда перетянет тоска бечевой,
чтоб сказали: а это ведь, собственно, парень,
если прямо в глаза говорить, — ничего...
Я порою сижу позабыт-позаброшен —
хоть об стену башкой грохануть от души!
Ну сказали бы мне, что я, в общем, хороший,
и стихи хоть чуть-чуть, хоть порой хороши.
Нет! Никто не придет. Ну тогда я хоть
тресну,
а мечту свою давнюю в жизнь проведу:
для начала погибну, а после воскресну
и послушать хорошее слово приду.

д. Жуковка, март, 1943 г.

С ЯРМАРКИ

Смотри —
земля, как яблоко,
кругла и молода.
Бубенчиками с ярмарки
летят-звенят года.
С горы все круче катятся,
а встречу — прощай, прости! —
сады, березки, платица
мелькают на пути,
и мне —
«Приветик, бабушка!»...
А, ладно, ни черта!
Любили меня девушки —
не нынешним чета.
Друзья не слыли нервными,
вступая в бой и в стих;

теперешние недруги
начитанней бывших.
И были дни отчаянней
да ноченьки темней...
Но старческим ворчанием
не удержат коней.
А все ж играет кровушка,
сигает бес в ребро...
Полным-полна корбушка:
кому раздать добро —
веселую, богатую,
живую жизнь мою?
Давай, народ, расхватывай —
задаром отдаю!
Задаром — не за дешево,
за цену не в рубле —
за все твое хорошее,
чем жил я на земле.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ

* * *

Нет, меня моя Ярославна
Дни и ночи нигде не ждет...
Вот ракета, спускаясь плавно,
Озарила фашистский дот.

Поднимусь, побегу я, хмурый, —
Только б раньше мне не упасть, —
И заткну его амбразуру,
Как ощерившуюся пасть.

1943

* * *

В бруствере ход муравей-землекоп
Вырыл себе для жилья...
Видишь, сегодня и ты в свой окоп,
Юность, зарылась, моя.

Враг притаился за ближним бугром —
Выставил сотни дул.
Что это — молнии? Что это — гром?
Ветер какой подул!

Кем — и понять не поймет муравей —
Выжжено все до травы?...
Сдвинута каска моя до бровей,
И не поднять головы.

Ну, хорошо еще есть нора —
Дрожь муравья берет...
Нам подниматься уже пора,
И до бугра — вперед!

1943

СУШЬ

Марля с ватой к ноге прилипла,
Кровь на ней проступает ржой.
— Помогите! — зову я хрипло.
Голос мой звучит, как чужой.

Сушь — в залитом солнцем овраге.
Сухота в раскаленном рту.
Пить хочу! И ни капли во фляге.
Жить хочу! И немоготу.

Ни ребят и ни санитаря.
Но ползу я, пока живу...
Вот добрался до краснотала
И уткнулся лицом в траву.

Все забыто — боль и забота,
Злая жажда и чертов зной...
Но уже неизвестный кто-то
Наклоняется надо мной.

Чем-то режет мои обмотки
И присохшую марлю рвет.
Флягу — в губы:
— Глотни, брат, водки,
И до свадьбы все заживет!

1943

* * *

Домой! В Москву!
В Москву! Живой!..

А кем теперь ты стал? — Обузой.
И абажур над головой
Повис оранжевой медузой.

Не можешь спать — вставай в ночи.
Сжимая свой костыль рукою,
Ходи по комнате, стучи,
Сестру и мать лишай покоя.
И жизнь свою зови пустой...

Но ведь постой,
Постой,
Постой!

Беда не так уж велика.
Зачем себя считать в отставке?
Да мы еще наверняка
И в жизнь внесем свои поправки.

Хромой?
Ну что же, что хромой!
Не все же видеть в худшем свете.
Мы не затем пришли домой,
Чтоб гастролировать в балете.

1944

НАД НЕПРЯДВОЙ

Неправда, это все неправда,
Не высохла, не заросла —
Она течет, моя Непрядва,
Как шесть веков назад текла,

Когда над нею, меч сжимая,
Стоял Димитрий и смотрел,
Как двигались полки Мамаю
Под непрерывный посвист стрел...

Здесь были и другие реки,
Но где же их живая синь?
Они повысохли навеки.
И не воскреснуть им.
Аминь!

Их именам не повториться,
Им не вернуть былой почет...
А Дон по-прежнему струится,
А вот Непрядва все течет.

Она, конечно, стала уже,
И глубина ее не та.
Но и доселе воду кружат
Ее святые омота.

Видать, не только ливни-грозы,
Ключи и талые снега —
Ее питали пот и слезы
И наша кровь и кровь врага...

Она не станет полноводней.
Но вот и я над ней стою
И сам прошу: прими сегодня
Еще одну слезу —
Мою.

* * *

Где ты, счастье мое большое?..
Я топор куплю и пилу —
Стану плотником.
Всею душою
Потянусь к сему ремеслу.

Я досок настрогаю к лету,
Чудо-лодочку смастерю
И отправлюсь по белу свету
В направлении на зарю!

В глушь ворвусь.
И начну отселе, —
Для того я и вышел в путь! —
Строить праздничные карусели,
Ладить санки и лыжи гнуть.

Я и впрямь на глухих дорожках
Возведу для своих дружков
Сто избушек на курьих ножках,
Тыщи праздничных теремов!

Не спасись ни тоске, ни грусти
От веселого топора...
Разулыбится в захоlustье
Лопухая детвора.

Но ребят я не избалую,
Не изнежу, не распушу, —
Только силу их удалую
К свету солнечному обращу.

В тесных избах раздвину стены,
Потолки у них подниму.
И самих ребят непременно
Пристращу к ремеслу сему.

...Нет светлей моего удела.
Что за счастье мне принесло
Расторопное это дело,
Просто плотничье ремесло!

В ДАГЕСТАНЕ

Был мой полет стремителен и громок,
И в Дагестан

сквозь дымчатый предел,
Омар Хайяма нескупой потомок,
Я без вина и чаши прилетел.

Где ценят званье кунака высоко,
Не должен, кто зовется кунаком,
Входить в жилища сыновей Востока
И с чашею своей и с бурдюком.

Оглушены ущелья буйным гулом,
И льнет к душе сквозная вышина.
Звезда удачи над родным аулом
Здесь стихотворцу каждому видна.

Кавказских сочинителей застольник,
Я видел кряжи в девственном снегу
И, чести очарованный невольник,
Пил за вершины в дружеском кругу.

А правнуки мятежного наиба,
Которого носил арабский конь,
Кидались в пляс на площади Гуниба
И высекали сабельный огонь.

Бессильный избежать сердечной муки,
Пленился я красавицами гор,
Чьи брови как воинственные луки
И колдовской стрелоподобен взор.

Когда бы тибетейку, как папаху,
К одной из них забросил я в окно,
Боюсь, мою узорчатую сваху
Она, смеясь, отвергла б все равно.

Где встарь искали золото
и кровью
Багрились камни от людских грехов,
Я поклонялся горному гнездовью
Над золотом вознесшихся стихов.

Чеканкою увенчанные наши
Сдвигали на заоблачном пиру,
Мы не вином наполненные чаши,
А строфы, призывавшие к добру.

И женщина сидела с нами рядом,
Стихи не зря в ее звучали честь.
И нас она окидывала взглядом,
Не ведая, кого же предпочесть.

НА КНИЖНОМ БАЗАРЕ

Поэт, что уверовал в собственный дар,
Однажды явился на книжный базар.

Воочью хотел убедиться поэт,
Как он покоряет читающий свет.

Как бойко идет его книгою торг,
Как всех она в шумный приводит восторг.

Глядит стихотворец:
кто мал и кто стар,
Все прибыли нынче на книжный базар.

Мужчина в халате к прилавку пролез:
— Хайяма стихи мне нужны позарез!

Потом к продавцу подступает другой:
— Подай-ка мне Пушкина, друг дорогой!

Поэт раздосадован и удивлен:
«Бокалов кому-то все слышится звон.
А этот — любовные ищет стихи
Про женские ножки, дуэли, грехи...»

Вослед книголюбу входил книгочий.
И думал поэт, не сводя с них очей:
«Собою заполнили весь магазин,
А книгу мою не берет ни один.

Хоть Пушкину носят поныне цветы,
Но строчек моих современной черты.

Намного стихов моих ритм и язык
Хайямовских ближе любителям книг.

Понять современников просто нельзя,
Как будто Хайям с ними пьет, а не я.

Как будто я умер, а Пушкин живет.
У них — сумасшедших — все наоборот!»

Не знал он, бедняга, что будут и впредь
Бокалы сдвигаться, сердца пламенеть.

*Перевод с таджикского
Якова Козловского*

ВПЕРЕД ГЛЯДИ

Тому, кто в бога верует, с тобой не по пути,
Хотя б он верил с десяти,— как в учрежденье,— до пяти.

Не верь фанатику ханже: заразный, как чума,
Крестами метит он дома, душитель душ, палач ума.

Благочестивой злобы яд струит бегучий взгляд,
И в слове «брат» клубится ад, и вдруг подлеет слово «брат».

Вся суть его — предательство, а цель его — грабеж.
Он весь неправда, кривда, ложь. Он весь как в трости скрытый нож,

То плакальщик, то факельщик, то ябедник, то плут,
Он праведникам рай сулит, а грешным страшный суд.

...Тугой двойчаткой стих скрути, стальную нить вплети.
Вперед, всегда вперед гляди.

А встретишь нечисть на пути,—

Не сомневайся, не щади:

бичом стиха перекрести, в обочину смети.

ДРЕЗДЕН, МАЙ 1945

Этот город был роскошен,
Древней славой знаменит,
А сейчас он в прах раскрошен,—
Каждый третий здесь убит...

Только речь не о саксонцах.
Речь о русских. Обо мне.
Бой окончен. Май и солнце,—
Вот оно — в моем окне!

Я лучам его навстречу
Ставни настезь отворю,
На приветствие отвечу,
По душам поговорю:

«Оба мы пришли с Востока.
Нам, солдатам, ты родня:
Были мы в бою жестоком
Войском света и огня.
Есть в солдатской дружбе нашей,—
Выше званий и заслуг,—
Не унылый пост монаший,
А разлитый полной чашей
Коммунизма щедрый дух.
Ополчились мы с тобою
Против жадности и зла,
И вино свое хмельное
Нам Победа поднесла.

Так свети мне прямо в душу —
Для тебя раскрыта грудь.
Так свети мне!

Все разрушу,
Что тебе закроет путь!»

1945—1966

* * *

Земляк москвич! песок прибрежный
Ногой изнеженной копни:
Состав податливый и нежный
Не повредит твоей ступни.
Прости мне грубость — к черту брюки,
И ни к чему рубаха здесь.
Закинув за голову руки,
Сомкни глаза, мой друг, и грезь.
Счастливым мир, лучи и звуки —
Теплу и плеску сдайся весь.
Предайся праздности бездумной,
Законной лени отпускной.
Расстанься со столицей шумной,
С ее привычной суетой.
Вообрази, что и столица
Хоть миг, а хочет отдохнуть —
На миг забыть иные лица,—
И сам лицо ее забудь.
Доверчиво приникнет к ложу
Твоя сутулая спина.
Дремли. Ничем не потревожу
И я младенческого сна.

ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ

* * *

Когда из Брянских золотых лесов
Мы в октябре с боями отходили,
Хлестал промозглый дождик по кустам,
По свежим пням, по вербам опаленным.

Не только люди — мокрая листва
И потускневший лиловатый вереск,
И мхи, и увядающие травы
Глядели умоляюще на нас.

Над нами птицы, крыльями плеща,
Испуганные, с криком пролетали.
Их путь лежал не в теплые края,
А в те места, где выстрелов не слышно.

А мы... Мы горсть оставленной земли
С собой не брали. В полевую сумку
Ее не насыпали. Что нам горсть?
К чему? Мы все обратно отвоюем!

*Елец,
декабрь 1941 г.*

* * *

Под небом обнаженным, звездным
У бруствера дышали мы
Скорее ласковым, чем грозным,
Морозным воздухом зимы.

И от студеной этой ласки,
Тревожной ночи вопреки,
Нам вспоминались то салазки,
То елки в бусах, то коньки.

Случилось так само собою,
Что здесь, на огневой черте,
Мы приобщались перед боем
К бессменной этой красоте.

И сохраненный в хвойных лапах,
Что инеем опушены,
К нам долетал смолистый запах,
Забывтый запах тишины.

А через час — атака наша,
И ждет команды миномет...
Но красота сродни бесстрашию.
Кто был на фронте, тот поймет.

*Русский Брод,
1942*

* * *

Актеры эстрады! Актеры эстрады!
Забуду ли вас, фронтовые бригады?
Танцовщицы в рыжих тулупах, в ушанках,
Гримерные в заиндевельных землянках.

Сарай уцелевший становится клубом.
Концертное платье под ватником грубым.
Слезу утирает испытанный летчик,
Услышав бесхитростный «Синий
платочек».

Прикрыты листвою тяжелые танки,
Колдует жонглер на тенистой полянке.
Смывается пыль, позабыта усталость,
И только Искусство на сцене осталось.

О, эти сценические площадки!
Кулисы и занавес из плащ-палатки...
Акомпаниаторша немолодая
Аккорды берет у переднего края.

Летит грузовик по лежневке рокады.
Актеры эстрады! Актеры эстрады!
Танцорка в шинели, певунья с гитарой
И грустный жонглер на полуторке старой.

Новоржев, март 1944 г.



ПЕТР В ЕВРОПЕ

Кабак гоготал, бил посуду, ругался,
крапленой колодой шлепал о стол,
и он приходил, длинноногий, рукастый,
еще не остывший от запаха смол.

Купцы и бродяги чавкали сыто
и пили добротню во здравье царя,
а он все смотрел, как сквозь мелкое сито
Европу процеживал для себя.
Казалось, ослепший от долгого пьянства,
он бровь тяжело, как топор, поднимал
и видел флотилии и кумпанства
и цены на ворвань припоминал.
Он хлопал по заду девок визгливых,
чтоб выиграть гульден, гнул пятаки,
но ждали курфюрсты его визитов,
склонив рогатые парики.

Там в залах, где запах пудр и эссенций,
где плыл напомаженный этикет,
кениг московский грыз заусенцы
и смачно сплевывал на паркет.
И, фыркнув в улыбку затянутой даме,
он вдруг убежал, как крутой кипяток,
чтоб пела наутро пила в Саардаме,
чтоб звонкие доски клевал молоток.

Мужичья работа к царю приходила,
с тяжелою тачкой по сходням гнала,
мужичья работа в виски колотила
и застила потом соленым глаза.
А вечером снова ядреное слово,
и пеной тяжелые кружки полны,
и бургеры смотрят — ученые совы —
смотрят на чудо из дикой страны.
Он так начинал, молодой и задиристый:
«А ну-ка подкову — сейчас разогну!..»
И был он и вправду похож на антихриста,
на злого веселого сатану.

КОНТРОЛЕР

Тот трамвай по бульварам проходит
Мимо Сретенки, Чистых прудов,
Ничего в нем не происходит,
Я не знаю уж сколько годов.

Но всегда об одну и ту пору,
По субботам в десятом часу
Я встречаю там контролера —
Жестяные очки на носу.

На руке контролера наколка:
Две стрелы и широкий орел.
Видно, жил — разлитая Волга —
Когда был молодым контролер.

Где носило тебя, где качало,
Обжигало какой тоской,
Что не выбрал ты лучше причала,
Чем скрипучий трамвай городской?

Может, там, за спиною сутулой
(А в те дни за прямою спиной),
Океанскими ветрами дуло,
Ураганы вставали стеной.

Или звонкие джазы взрывались,
И, тебя оценив за размах,
Три бубновые дамы смеялись,
Позабыв о казенных домах.

А быть может, всего вероятней,
Ты нешумно и правильно жил
От мальчишеской той голубятни
До натруженных старческих жил.

Лишь совсем пацаном, втихомолку,
в глубине земляного двора
сотворил себе эту наколку —
голубого, как море, орла...



Из суеты земных наречий,
Из перемирий и вражды
О, как нам нужно —
Человечьей,
Обжитой нежностью, звезды.

Что скажем ей мы,
Ее людям,
Когда нас вдаль пошлет Земля?
И кем тогда для них мы будем?
Ученики? Учителя?

И небо вновь звезду уронит.
И я в степи средь темноты
Ловлю доверчиво ладонью
Снежинку теплую
Звезды...

* * *

Вот живу,
И ничего не скрою,
И за все стыжусь я неспроста
Перед горькой, женской чистотою,
Вечной, недоступной,
Как мечта.
Полюбить как отлюбить...
И снова
Я в своей разлуке, как изгой.
Я теперь поверил,

Что виновна
Жизнь моя пред этой чистотой!
Было все в любви
Легко и просто:
Ну поплачет — и пройдет тоска...
Что же моя радость не забудется
Тоненькою жилкой
У виска?
На себя надеюсь той надеждой,
Что еще к тебе

тянусь,
тянусь,

Всею темнотою своею нежной
Дотянусь —
И ею захлебнусь!
Вот живу,
И ничего не стою
Средь мужской, ненужной суеты...
Перед горькой женской

чистотою

Как я буду жить без чистоты?..
Под каким отчаяньем и горем
Стала ты
Святою из простой?
И нахлынет нежность моя горлом —
Хлынет вместе с болью и тоской.
Верую,
Душою всей приемлю —
Наискось,
Разверзнув небосвод,
Ни одна падучая на землю,
Ни одна звезда не упадет.

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

* * *

Кто ты? Руда, иль просто россыпь,
Иль самородок золотой,
Засевший в каменном отксе,
В болоте вставший на постой?

Ты в магазине ювелирном,
Умело согнутый в кольцо,
Глядишь металлом слишком
мирным
И прячешь прежнее лицо,

Что исцарапано камнями,
Искажено, загрязнено,
Пока лежало в мерзлой яме,
Засосанное на дно.

Когда на тусклом мертвом лице,
Едва отличном от камней,
Мерцают солнечные блики,
Ты даже камня холодней.

Но вот ты наконец отмыто.
Металлом желтым становясь,
Все камешки с тебя отбиты,
Земная вычищена грязь.

Ты замерцаешь мягким светом,
Теплейшим светом золотым,
Прохожим солнцем разогрето,
Сравниться хочешь с ним самим.

И зашумят на круче тополя!
Зеленым дымом улочки заполнит.
И черная размокшая земля
О самой ранней юности напомним.
О том, что жизнь была ко мне щедра,
В лицо и в спину ливнями хлестала,
О том, что горя, песен и добра,
Любви и хлеба черного хватало.

* * *

Мороз! На улицах темно.
Себя почувствуешь подростком,
Ударишь в конское дерьмо —
Звенит и катится по доскам!
И вдруг команда: — Становись! —
Военкомат открыл ворота.
Из всех щелей протяжный свист,
И на вокзал — за ротой рота!
А баба плачет и кричит:
И слава богу, не сопьются,
И твой болван и мой бандит
Домой с профессией вернуться.
А у «болвана» стынет кость.
Шурует пар у виадукка.
И чувства разные насквозь —
Маруся! Матушка! Разлука!

* * *

Сайра шла! Играли косяки.
Плавники из пены вылетали.
Дни мои дробили на куски.
Сны мои на части разбивали.
А потом, чтоб водку мы не пили,
Для работы силы берегли,
На вонючей палубе крутили
Жуткую «кинуху» о любви.
В этом фильме тоже было море,
И, конечно, было голубым!
В этом фильме тоже было горе,
А потом развеялось как дым!
И одно мне было непонятно,
Что глазами, грустными от слез,
Фильм о море в море необъятном
Смотрит виды видевший матрос.

* * *

Я плыл и думал о свободе.
Ведь от свободы отвыкать
Труднее, чем к любой работе,
К любой погоде привыкать.

Я знал, что все трюма закрыты.
Все вентиляторы открыты.
Все галюны с утра помыты.
Утечки пара в кубе нет,
И роботы сохнут на батдеке.
Отбой! Я падал на брезент
И даль процеживал сквозь веки.
Была работа — делом чести.
Была свобода — ей сродни.
Легко мне думалось о смерти.
Легко мне пелось о любви.

* * *

В городе ночью шумят листопады.
Воздух трещит за стеклянной стеной.
Я засыпаю, лечу под канаты
И, просыпаясь, трясусь головой.
Тренер не спит — финалисты продули.
Лучшую муху как ветром смахнули.
Тяж разучился удары держать.
Очень страдает. А мне наплевать.
Радостей жизнь для меня не избыла.
Что мне какой-то проигранный бой?
Вечером слава меня обделила,
Утром уже открыли любовь!
Юноши дуют в спортивные трубы.
Кружится мусор веселого дня.
Листья летят. И в разбитые губы
Рыжая Майя целует меня.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

На больничной койке засыпаю,
Будто вниз на палубу лечу,
Руки в кровь о ванты раздираю,
В небо что-то жуткое кричу...

И опять от смерти убегаю!
На широких лыжах ухожу.
На рыбацкой лодке уплываю.
Собственною шкурой дорожу.

Я не шкурник, и своею шкурой
Я не собираюсь торговать.
Просто шкура новая, и шкуру
Неохота мне ее терять!

* * *

Веселое время каникул
С веселой водой утекло,
А утром журавль курлыкал,
И горло тревогой свело.

Покрытые инеем камни.
Природы пустые глаза.
Нелепо махал я руками,
К причалу по глине скользя.
А тут еще ветром подуло,
И дрожью покрыло залив.
И холодно было подумать
Про этот прощальный заплыв.
Но мальчик в прозрачном тумане
Богатого золотом дня,
Не зная моих колебаний,
С восторгом смотрел на меня.

Я понял наивную душу
И, новой игрой увлечен,
Подумал, что, если я струшу,
Когда-нибудь струсит и он.
Я ласточкой прыгнул с причала —
Вода обожгла, понесла,
А ночью башка полыхала.
Стенала от боли спина.
Кричала пролетная стая,
И мальчику снилась во сне
Пловца голова золотая
На темной осенней воде...

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

ПРАЧКА

Бьется в корыте белая вьюга.
Сильные руки в воде горят.
Выше и выше растет на лавке
мокрая гряда чужого белья.

Стены вспотели. Потухли окна.
Паром тяжелым навис потолок.
Крепкие бедра оклеила юбка,
сбился на шею красный платок.

Руки устали. Последняя пара.
Скоро в корыте уснет прибой.
Скоро развесит она рубахи
ветру на плечи под свод голубой.

1924

2017-й ГОД

Я вижу утро в красной заре
и красную дату в календаре,
знамена, что жарко румянят щеку
тому, кто рукой прикоснулся к деревку.

Пусть долго друг друга сменять годам,
я внучек своих различаю там.
Я вижу трибуны у древней стены,
людей, что сегодня и не рождены,
с пробившейся изморозью седины.

Пусть хищно нацелены клювы ракет,
я слышу то время, припав к строке.

АЛЕКСАНДР ЯШИН

СКАЗАТЬ ИЛЬ ПРОМОЛЧАТЬ!..

Приехала сестра...
Не виделась пять лет.
— Поди, уже стара,
Узнаешь или нет?

Узнать почти нельзя.
Ее ли в том вина?
Гляжу во все глаза:
Она иль не она?

Лишь пять недолгих лет, —
Каких?
Коротких пять,
А целой жизни нет.
Сказать или смолчать?

Какая ж так гроза
Смогла ее согнуть?
Гляжу во все глаза:
Сказать иль обмануть?

ВАДИМУ КАПЛИНУ, МЕДВЕЖАТНИКУ

Вот опять поставила
На своем
 зима.

В шубах горностаевых
Ели
И дома.

Для меня по-прежнему
Дороги до слез
Эти дали снежные
И первач — мороз.

Снег до переносицы,
До ушей,
До крыш.
Лишь поземка носится
По полю без лыж.

Может, вспомним молодость,
Дорогой Вадим,
Где-нибудь за городом
Зайца подсадим?

А быть может,
 в добрый час —
Ах, еще бы раз! —
Старый бог потешит нас
И берлогу даст?

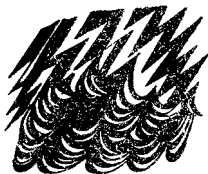
Пусть не очень важную,
Пусть совсем невидную,
Хоть малометражную,
Малогабаритную.

Встали б на медведя мы
Супротив чела,
Кто с ружьем,
Кто с ФЭДом бы —
Была не была!

Эх, кабы
 да кабы!..
Снова б наши бабы
Пряли шерсть,
Варили щи
Из медвежьей лапы

Ну, а мы,
 мужчины,
Пили бы чин чином
И, хвалясь
И кочевряжась,
Гнули бы бухтины...

Сколько лет,
Сколько зим,
Дорогой Вадим!
Может, вспомним молодость,
Ружья зарядим?



К Н И Г А С Т И Х О В

ОКТАБРЬ

Октябрь
Был подобен
Не только бойцу,
Чьи пальцы к гранатному жмутся кольцу,
Но старцу подобен он был, мудрецу,
За высшую правду седому борцу,
Юнец, чей румянец России к лицу,
Скакал он, посланец от сына к отцу,
И сам от себя был подобен гонцу,
Что мчится, дробя захолустий ленцу,
Тот самый Октябрь, подходящий к концу,
Как грозный корабль,
Подходящий к дворцу.

ЗИМНИЕ ГРОЗЫ

В десятых числах февраля
Опять гроза была в Москве.
Вторая. В эту зиму две,
А может быть, и больше гроз
Над горизонтом пронеслось,
Но город все же столь велик,
Что даже замечать отвык
Явления такие, как
Блеск молний через снежный мрак
И гром, грохочущий в мороз.

Зато
Стряслось
В Москве вот что:

Москвичка в меховом манто,
Задев другую, нанесла
Укол ей.

Это не игла,
Таящаяся в рукаве,
Была, но это, говорят,
Был электрический
разряд.

Вот что случается в Москве,
Причем не где-то тамверху,
Куда восходит дым из труб,
А в синтетическом меху
Ее неисчислимых шуб.

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ

«Правление
Петроградского учетного и ссудного банка
Имеет честь
Пригласить господ акционеров в чрезвычайное общее собрание
Имеющее быть во вторник 24 октября 1917-го года
В 3 часа пополудни в помещении Банка Невский проспект № 30»

Узнать бы,
Что именно делали господа акционеры,
Имевшие честь до того незадолго прочесть
Это объявление, напечатанное на последней странице
Последнего номера журнала «Столица и Усадьба»!

КЛАССИКИ

Редко
Перечитываем классиков.
Некогда. Стремительно бегут
Стрелки строго выверенных часиков —
Часики и классики не лгут.

Многое
Порою не по сердцу нам,
А ведь в силах бы из нас любой
Взять бы да, как Добролюбов с Герценом,
И поспорить, хоть с самим собой.

Но к лицу ли
Их ожесточенье нам?
...И любой, сомненьями томим,
Нудно, точно Гончаров с Тургеневым,
Препирается с собой самим.

НОЛЬ ЧАСОВ

Эту вы заметили минуту?
Фраза музыкальная над башней
Все еще не кончилась, как будто
День еще не кончился вчерашний,
Но на самом деле наступило
Завтра... Нет, не завтра, ошибаюсь,
А сегодня... А сегодня было
И прошло. И полночь, улыбаясь,
Это переходное мгновенье,
Сверив с временем международным,

Уточняет судьбы поколенья,
Называемого переходным.

...На плечах Василия ночами
Засыпают городские птицы,
Только под прожектора лучами
Ночью они могут пробудиться.
Я не сплю. Я слышу шелестенье
Поздних шин и голоса людские.
В это переходное мгновенье
Все они немного не такие.

Птицы спят, сложив невинно крылья,
Но не смолкли голоса земные,
И порой без всякого усилья
Все они звучат как позывные
В это переходное мгновенье.

* * *

Пахнет день
Машинным отделеньем
Переполненного парохода.

К берегам
Плывем мы отдаленным,
И хоть ближе год они от года —
Разве что грядущим поколеньям
Наконец покажется природа
Широко раскинувшимся лоном,
На котором отдохнуть охота,
Расставаясь с блещущим салоном
Комфортабельного
Самолета.

ЧТОБ ТАКИМИ НЕ ШУТИТЬ ВЕЩАМИ

Мы,
Властители
Моторов,
Позабыли мир телег и санок.
Я хотел бы
Вчувствоваться в норы
И дворянок, и крестьянок,
И аристократа, и монаха,
В келье прячущегося нелюdimо
В старой лавре, пахнущей мощами.
Да и в тех, кому грозила плаха,
Воплотиться бы необходимо,
Чтоб такими не шутить вещами!

ОСЕНЬ

На асфальте
Зеленым по серому
Нарисованы глазки жар-птицы летающей,
 Это нарисовал, наверно,
 Художник, поблизости обитающий.

И на деревьях
Акварельные пятна
Осени грустной
Нарисовал, вероятно,
Тот же самый художник искусный.
 Вот и листья
 С деревьев слетают,
 И выметают их целую уйму.

Я узнаю, где обитает
Этот художник. Скажу ему:
— Сделайте так, как все было вначале —
 Выпрямьте травы и листья обратно
 подвесьте!
И не пожимайте недоуменно плечами,
Вы, художник без дела стоящий в
 подъезде!

ПЕРЕМНЫ

Можно ль надеяться,
Что снова встречу
Я нынче на даче, там, где растет береза,
Того же самого мальчика, наполовину
 русского,
 наполовину индейца,
Сына преподавательницы португальского
 языка,
Или же этот ребенок из мальчика превратился
 в подростка?

А на соседней даче,
Над которой раскинулись клены,
Встречу ли в это лето
Донского старого казака —
Бывшего профессора Сорбонны,
Или же он сделался штатным
 профессором
Московского университета?

Будет ли
Старый художник
Указывать мне на старого храма
Далекий, чуть видимый крест,
Или изменилась вся панорама
Этих мест!

Будет ли
Мой знакомый писатель,
Как и в прошлом году, стрекотать на
 машинке,
Приехав в тот же самый колхоз,
Или все переменится и останутся только
 лишь
 те же вершинки
Лиственниц, сосен, кленов, берез!

А может быть,
И некоторые из них полягут
Для воздвижения всяческих новых
 полов, потолков и стен,
Но я полагаю, что в изменениях за год
Все-таки к худшему не будет перемен.

ИСКРЫ

Изрядно
Повредил я ногу,
И ночью трудно мне идти,
А, как всегда, хожу я много
По каменистому пути.
 И, в темноте шагая быстро,
 Я тростью по булыгам бью,
 Из камня вышибая искры,
 Чтоб озарить тропу свою.

Железный наконечник трости,
Звеня, всекается в гранит,
И ввысь, как будто к звездам в гости,
Взлетают искорки в зенит,
И сыплются по небосклону...

И, видящий, как бьюсь я с тьмой,
Смеется с неба благосклонно
Джордж Гордон Байрон, бард хромой.

ВСТРЕЧА С ТАНОМ

Расскажу
О Тане-Богоразе я.
Мне было двадцать лет
И однажды пришла фантазия
Поступить на географический факультет.

Я написал стихотворение
И, напечатав его в «Звезде»,
Приобрел себе новые брюки и клетчатую
 ковбойку, решив, что, прилично одет,
Буду легче принят в университет,
И поехал на дом к профессору
 Тану-Богоразу.
Я сказал ему прямо и сразу:



БАЛЛАДА ОБ АЛЕКСЕЕ КОЛЬЦОВЕ

1

Кольцов
Меня интересует
С его певучей русской речью.
Воображение рисует Кольцова перед русской печью.
Сквозь занавесочку из ситца я вижу круглое лицо —
Кольцову дома не сидится, Кольцов выходит на крыльцо.

2

Меж прасолов,
Среди купцов да их сподручных молодцов и
жеребцов степных кровей,
Явился Алексей Кольцов, поющий точно соловей.
Дуняшу, девушку простую, отеческую рабу,
Он полюбил, но их судьбу разбил отец, над ним лютуя.
И, проданная отцом по крепостническим законам,
Дуняша сгинула с концом, в степях затеряна за Доном,
На чужедальной стороне. Конечно, по его вине: ему бы
на лихом коне
По хуторам все дальше мчаться, найти Дуняшу,
обвенчаться,
Но он на это не пошел, своей Дуняши не нашел и дал
остыть следам горячим,
И лишь слезами изошел, и этим соловьиным плачем,
Не замолвив свою вину, воспел скорее всю страну,
Чем эту девушку одну — предмет любви и обожанья,
И, славослов ее красот, вознесся до таких высот,
Что поняли петербуржани и москвичи: — Добро поет,
Ведь вот какие соловьи в Воронеже, где нравы дики!
У нас романтики свои, свои Новалисы и Тики.
И надобно его тащить оттуда, из гнезда отцова! —
И философии учить они задумали Кольцова.

3

И ею он не пренебрег,
Явившийся на невский берег под своды их библиотек.
Но, незлобивый человек,
Он, выступивший от лица
Страны, что пьет страданий чашу,
Не позабыл и про отца, про бессердечного скупца,
Продавшего его Дуняшу:
Мол, как бы выручить папашу, в долги он влез, недоглядел.
Действительность не приукрашу!

Так за родителя радел и блюл он интерес отцовский —
Семейный, прасольский, купцовский.
И ни Белинский, ни Грановский, а тут помог ему Жуковский
В ведении отцовских дел, послаив повыше кой к кому,
Царю представив самому, но намекнув с улыбкой светской,
Что с философией немецкой певцу возиться ни к чему.

4

И вот
Назад
В страну отцов,
Где в тесной клетке прыгал чижик,
Вернулся Алексей Кольцов с признанием от мудрецов
И кипами премудрых книжек.
Мол, просвещенные умы одобрили мой труд полезный,
И от сумы и от тюрьмы спасен родитель наш любезный.

Все хорошо! Пришла пора забыть о стряпчих окаянных.
Французскому учись, сестра, учись играть на фортепьянах—
Недолго и до сватовства!

Но неспроста была крива
Отца усмешка. Голова
Был в доме он. Мол, черта с два! Тебя поженит мы сперва.
А песни что? Одни слова! Но тут не Питер да Москва.
Довольно. Хватит баловства. Тебе не шляпа, а шубара
К лицу! Присмотрена и пара —
Увидишь, девка какова!

Но тут
Вошла в свои права
Купеческая вдова, она, та самая Варвара.

5

Да,
Вздумал он, забыв Дуняшу,
С Варварой счастье обрести.
Она была такой почти, как жизнь сама,— ничуть не краше
И не дурней. Бог ей прости. И вот скрестились их пути.
Пылаючи, полупогасши, сама как будто чуть жива
От изнурительного жара, она ждала его, вдова, ждала его,
как печь дрова,
Как уст иссохших жаждет чара.

О, бедный Алексей Кольцов,
Он видел: рот ее пунцов, кровь на устах ее алела,
Был цинк белил ее свинцов, он понимал — она болела.
Она болела и она его, конечно, заразила,

Но не болезнь его сразила — другая явь была страшна!

6

Конечно,
Алексей Кольцов
Сам виноват в конце концов,
Что он Дуняшу перепутал
С Варварой, дочерью греха,
И неспроста ее в меха
Какой-то офицер укутал,
Похитил и увез во тьму
И пропил в трубочном дыму.
Но все-таки не потому погиб Кольцов, не потому!

7

А потому, что он, Кольцов,
Воспевший грусть страны отцов,
Он, лицезревший государя и петербургских мудрецов,
Перехитривший хитрецов, всех кредиторов и истцов
И ведавший, с каких концов проникнуть в недра канцелярий,
Вдруг ощутил, еще в разгаре второй своей любви,— к
Варваре,—
Еще не брошен этой Варей, пустейшей из господних тварей,
Что песня больше ни одна, как встарь, в былые времена,
Уж не звучит, хоть содержанье и философия в них есть —
Ведь сколько книг успел прочесть! — и есть любовь и
обожанье,
Но конское в них смолкло ржанье, бубенчиков дребезжанье
Звучит, как олово и жесть.
Ведь вот в чем заключалась мечь!

8

Причем казалось так ему, конечно, только самому:
Случалось, что и славно пелось, но только потерял он
смелость
В родном дому, в пустом дому.
И в страхе, что поет мертво,
Как в чем-то обманувшись грубо,
Он — на лежанку, да под шубу,
Не глядя ни на кого.
И тлели во печи дрова,
И за стеной вздыхал родитель:
Премудрая, мол, голова, он помирает, сочинитель!
И было не понять сестру: презрев французским заниматься
И фортепьянную игру, сестрица изводила братца,
Чтоб поскорей ему скончаться.

— Не беспокойтесь, сам помру! —
Тут шла ли о наследстве речь, о чем другом ли — кто
припомнит,
Но верно: поспешил он лечь на смертный одр во мраке
комнат.

А все-таки
В конце концов
Я вижу, как в стране отцов
По снежной низменности нашей
Он мчится, Алексей Кольцов,
Конечно, следом за Дуняшей
На Дон в далекое село,
Чтоб там с Дуняшей повстречаться,
Да, повстречавшись, обвенчаться,
На пальчик ей надев кольцо.

Я вижу бледное лицо —
Кольцов выходит на крыльцо.



4

**вечер
одного
стихотворения**

ВЫСТУПАЮТ ПОЭТЫ:

МОСКВЫ

ЛЕНИНГРАДА

КИЕВА

ТБИЛИСИ

НОВОСИБИРСКА

ГОРЬКОГО

ДАЛЬНОГО ВОСТОКА

КАЛМЫКИИ

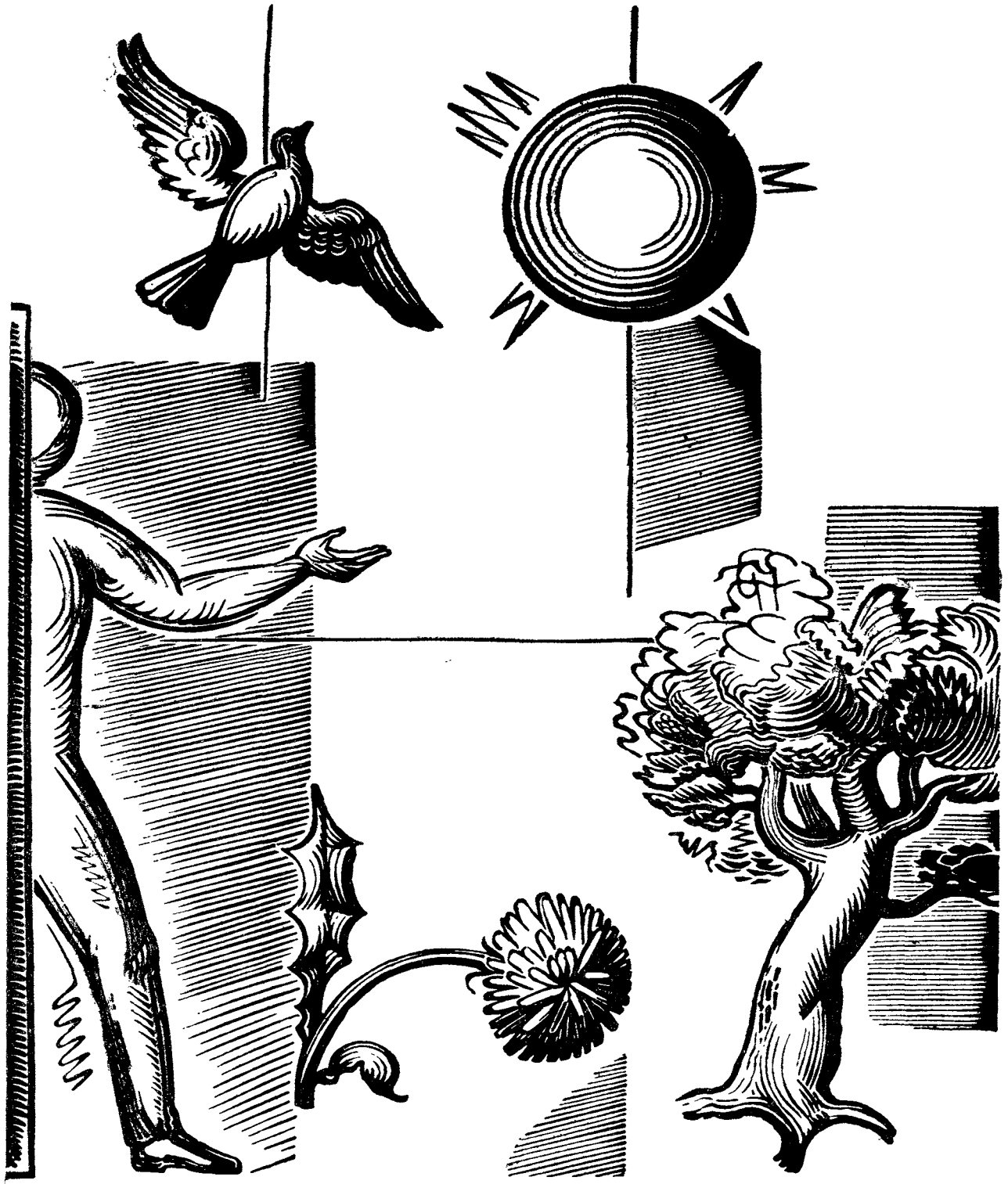
МИНСКА

АЛМА - АТЫ

ВОЛГОГРАДА

**НИКОЛАЙ УШАКОВ
СЕРГЕЙ МАРКОВ
ЗИНОВИЙ ВАЛЬШОНОК
АЛЕКСЕЙ ЗАУРИХ
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ
ИННА КАШЕЖЕВА
ЕЛИЗАВЕТА СТЮАРТ
ЭДУАРД АСАДОВ
ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ
ВЛАДИМИР ТУРКИН
МАРГАРИТА АЛИГЕР
ВЛАДИМИР КАРПЕКО
МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ
КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ
МАРГАРИТА АГАШИНА
ДЖЕМС ПАТТЕРСОН
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ
СЕМЕН ЛИПКИН
АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ
НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ
ЯН ВАССЕРМАН
ЭДУАРД БАЛАШОВ
ЮРИЙ ГОРДИЕНКО
МАРК МАКСИМОВ
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ
ГРИГОРИЙ КОРИН
ВАЛЕНТИН КУЗНЕЦОВ
ВИКТОР БОКОВ
РУВИМ МОРАН
ВИКТОР УРИН
ИГОРЬ РИНК
ПАВЕЛ ГРУШКО
ИВАН ХАРАБАРОВ**

**ГРИГОРИЙ ЛЕВИН
ГЕННАДИЙ КАРПУНИН
НАУМ КИСЛИК
ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ
ЯКОВ БЕЛИНСКИЙ
МИХАИЛ ДЕМИН
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ
ИГОРЬ КРАВЧЕНКО
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ
ГЕРМАН ФЛОРОВ
ФЕЛИКС ЧУЕВ
КАЗИМИР ЛИСОВСКИЙ
ИГОРЬ ВОЛГИН
ЛЕВ ОШАНИН
ЮРИЙ ПАНКРАТОВ
ПАВЕЛ ЖЕЛЕЗНОВ
СВЕТЛАНА ЕВСЕЕВА
ЮРИЙ КОРИНЕЦ
ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ
ЮРИЙ АДРИАНОВ
НИКОЛАЙ РУБЦОВ
ОСИП КОЛЫЧЕВ
ЮРИЙ ОКУНЕВ
ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ
ИГОРЬ ЛАШКОВ
ЕВГЕНИЙ ПАВЛИЧЕНКО
ВЛАДИМИР КУЛАГИН
АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ
ВАДИМ ЧЕРНЯК
ИЛЬЯ ФАЛИКОВ
ЛАРИСА РУМАРЧУК
ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА
ИЛЬЯ ФОНЯКОВ
НИКОЛАЙ ФЛЕРОВ**



Фрагмент гравюры художника В. А. ФАВОРСКОГО

НИКОЛАЙ
УШАКОВ

ВЕСНА 1967

Апрельских полон впечатлений,
я повторяю тот мотив,
что наиграл мне лес весенний,
в дубы
и сосны
заманив,
когда бубенчик свой — гударик
на сто звонков
настроил он,
когда подснежника фонарик
невидимой рукой зажжен,

когда,
весне во всем поверя,
среди былинки и лучей
по легким лесенкам апреля
переливается
ручей,
когда звенит в нем дорогая,
нет,
драгоценная вода,
когда пешком дойдешь до рая,
а в ад
не ходят поезда.

СЕРГЕЙ
МАРКОВ

ШЕМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА

1

В строгий вечер у дверей
Грудью трогала перила,
Провожала егерей,
Черный веер уронила.

Окна снежною слюдой
Затянуло на полгода.
Самый злой и молодой
Не вернулся из похода.

Так сказал седой усач...
Заскрипела половица.
Скомкав шаль, горюй и плачь,
Шемаханская царица!

Ты красива и легка
И повадкой, и походкой,
И, достойная пайка,
Ходишь в лавку за селедкой.

Плачешь, мертвого любя,
Бродишь тенью по светлице...
Видят всадники тебя
На махновской колеснице.

Бьет мальчишка в барабан,
Как свеча горит предместье.
Пулеметный шарабан
Да веселое бесчестье.

Ведь, беспутных сыновей
Обучая сквернословью,
Батяка тешится твоей
Ненасытной любовью.

Ты ль со смехом у дверей
Грудью трогала перила,
Провожая егерей,
Черный веер уронила?

2

Но ударила гроза
По тебе прямой наводкой,
Шемаханская краса
За железною решеткой.

И шумит судебный зал,
Словно каменный колодец,
И не любит трибунал
Анархистских богородиц!

Высшей мерой бредит снег,
Дышат холодом перила.
...Про внезапный твой побег
Долго стража говорила.

3

Новый час в твоей судьбе,
В жизни — новые приметы.
И недаром о тебе
По утрам кричат газеты:

«Хорошо известно нам,
Что она в кафе «Манила»
Егерям и пластунам
О походе говорила.

Что она верна кресту,
Отомстит врагам сторицей.
Прозвана за красоту
Шемаханскою царицей».

4

Край чужой не по душе,
Снится ночью синий север,
Пусть японский атташе
Подает заветный веер.

Слушай льстивую хвалу.
А на сцене в час расплаты
В опереточном пылу
Пляшут дикие сарматы.

Твой поклонник — желтый бес —
Для тебя не сыщет дара,
Опираясь на эфес,
В душной лавке антиквара.

И с подарком наконец
Он стоит перед дверями.
Сделан редкостный ларец
Хохломскими кустарями.

Рассмотри его одна.
Ведь рисунок — небылица:
У высокого окна
Стонет, плачет царь-девица.

Клонит ясное лицо,
Будто что промолвить хочет;
На узорное крыльцо
Вылетает пестрый кочет.

Ниже голову нагни —
И увидишь ты сквозь слезы
Половецкие огни
И рязанские березы.

Свет живого янтаря
Разливается рекою,
Лебединая заря
Проплывает над Окою.

5

Ты сейчас не рада дню,
Свету ласкового солнца,
Ты идешь на авеню,
Бросив хилого японца.

О тебе лишь говоря,
В голубой туман стаканов
Прячут губы егеря
Из славянских ресторанов.

Слышишь громкую молву?
«Наши руки не ослабли,
Для похода на Москву
Мы точили наши сабли.

Как отточены клинки —
Пусть враги узнают сами», —
Повторяют казаки —
Волки с синими глазами.

Но ответ им был таков:
«Вы отважны, вы спесивы,
Но без храбрых казаков
Я пойду в родные нивы».

6

Не видать путей и век,
Ты сейчас одна с метелью,
На границе пахнет снег
Черным порошком и елью.

Ты сюда пришла сама
По своей и гордой воле,
Ледяные терема
Вырастают в белом поле.

Мчится снежная труха
В знак родимого привета,
Слушай пенье петуха
В самой лучшей части света!

Ты увидела вдали
Сквозь метель — огни и тени,
На краю родной земли
С плачем встала на колени...

7

Долго думал атташе
(Сосчитав чужие танки)
О загадочной душе
Этой сказочной славянки.

Где, какой нашла конец,
Уходя на синий север,
В заколдованный ларец
Положив свой черный веер?

ЗИНОВИЙ ВАЛЬШОНОК

ГОРСТЬ ТАБАКА

Я был в семнадцатом вчера.
Матросы солоно шутили.
И ветры, словно юнкера,
меня, сощурясь, решетили.

Застыв, как палец у курка,
в час баррикадного затишья,
я тихо престонал:

— Братишка!
А не найдется ль табачка?

И он, ревкомовская кость,
мигнул: «Не дрейфь, малыш...
Минутку...»

Сообразил мне самокрутку
и про запас насыпал горсть.

Святой обычай доброты,—
как дружбой, куревом делиться.
Дымил я, вглядываясь в лица,
глазевшие из черноты.

В седую изморозь папах,
в недвижность юнкерских фуражек.
А дым был горек и оранжев
и революцией пропах.

Я был в семнадцатом вчера,
как будто день вместил полвека.
И ухала Нева, как эхо,
во мне вскипая до утра.

АЛЕКСЕЙ ЗАУРИХ

* * *

Ни звезд, ни лун над черной
крышей,—
лишь три прожекторных свечи.

Блокадный мальчик белобрысый
прошел по городу в ночи.

И вот сегодня над Невою
под светом праздничной звезды
я с непокрытой головою
ищу в снегах его следы.

Иная даль, пора иная —
метель военная прошла.
Дошел ли мальчик — я не знаю —
тогда до крова и тепла.

Я в этот день, такой погожий,
его, безвестного, зову.
Не тот ли он седой прохожий,
что, щурясь, смотрит на Неву?

Его ль во взгляде чьем-то гордом
узнал я нынче на углу?
К мальчишке в ватнике потертом
я руки теплые тяну.

Сядутся голуби на крышу,
ну, а во мне ревет гроза.
Шаги полночные я слышу,
гляжу в недетские глаза.

Я в дверь толкнусь, прикину к
ставням,
я разбужу пустырь немой —
ты не забыт и не оставлен,
мой друг, ровесник вечный мой.

Горят зарницы жарче меди,
а ты шагаешь по войне
навстречу солнышку, победе,
синицам, девушкам и мне.

...Текут огни нарядных елок,
и снег подсвеченный валит.
И только сердце, как осколок,
в груди засело и болит.

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

ВДОХНОВЕНЬЕ

Так это ты, святое вдохновенье?
Ты здесь? Тебя я тотчас узнаю.
Хвала тебе! И да придет мгновенье,
когда ты снова явишь власть свою.

Так это ты вселилось вдруг в лавину,
крутые горы Пшавии круша,
и был прикован к ветхому камину
их верховод, их тайновед — Важа?
Не ты ль морозным вышило узором
чаргальскую дорожную суму —
в ней нес Важа свой вещей труд,
в котором
он волю дал и сердцу и уму?

Не ты ль сопровождало звон стакана,
светясь в вине тбилисских погребков,
когда оно во здравие веков
поило кисть — и чью же: Пиросмана?!

Не ты ль — конечно ты! — за нами следом
сомненье и раздумье приведя,
вдруг небо озаряло синим цветом,
как будто бы и не было дождя?

И наконец, ответствуй, уж не ты ли
в Гандже далекой
жгло сильней, чем зной?
Иссохшая душа Бараташвили!
Она распята — ты тому виной!

Хвала тебе. Живи и правь вовеки.
Но все ж, когда творит рука творца,
всегда ль ты воплощаешь до конца
всю страсть, которой тесно в человеке,
всю доброту, всю боль, весь гнев его?
Во все века они рвались наружу.
Ты помогло им? Более того,
живя в душе, ты не сожгло ли душу?

А что, когда и ты грешным-грешно
пред одному тебе известным богом:
пора! — а слово не изречено;
конец! — а надо бы еще о многом!..
Иль золото неизреченных слов
и золото мазков несотворенных
червям досталось в царстве вечных снов —
слепым червям во тьме могил бездонных?

А может быть, невыплеснутый гнев
земную твердь колышет и доселе?
Но мглу, и сон, и смерть не одолев,
он так и остается в подземелье.

О, если это так,
будь ты судьба,
будь божий гнев, будь милость ты
господня,—
молю: помилуй своего раба!
Раба помилуй своего
сегодня...

С грузинского перевел Юрий Ряшенцев

ИННА НАШЕЖЕВА

* * *

Ты всегда меж раем и меж адом:
Мчишься сквозь экватор, сквозь метель,
Шар земной! И ты похож на атом,
Не на настоящий — на модель.
На подставке, пластиком обитой,
К стержню прикрепленные хитро,
Четкие сплетаются орбиты,
Посреди — янтарное ядро.
Шар земной, спеленатый в сигналы,
В трассах самолетов и ракет,

Ты похож на четкий тот макет,
Если бы его с подставки сняли.
Только знаешь ли, на что способен
Он, что по-гигантски невелик,
Он, чьему обличью ты подобен,
Твой, всегда невидимый, двойник?
Он, твоя незримая частица,
Он — модель простая на столе...
Он, в котором поровну таится:
Антимир и мир на всей земле!
И такой же на плакатах синих
Атом словно вертит хула-хуп...

ЭДУАРД АСАДОВ

ВETERANAM OKTYABRSKIH BOEV

Пятьдесят,
 пятьдесят,
 пятьдесят,
 пятьдесят!
Потрясающие полвека!
Эти цифры как птицы над миром летят,
В песнях ветра и в шелке знамен шелестят
И горят в душе человека!

Наш поклон и великая наша любовь
Вам — бойцам легендарных походов,
Вам — солдатам, героям октябрьских боев —
От солдат сорок первого года!

Мальчуганами, «Зимний» штурмуя не раз,
Мы восторженно вам подражали.
Изучали по школьным учебникам вас
И на сборы не раз приглашали.

А когда в сорок первом на всю страну
Трубы властно пропели тревогу,
Мы, вчерашние школьники, прямо в войну
Не колеблясь шагнули с порога.

Годы мчат. Ваши головы снега белей...
Ах, как ваши ряды поредели..
Но не время грустить, ибо пламя идей,
И дела, и сердца у горячих людей
Никогда и нигде не старели!

Жизнь кипит! От далеких Курил до Москвы
Строят счастье сыны и внуки.
Все, что вы отстояли и создали вы,
Вы в надежные отдали руки!

Потому наш поклон и сердца и любовь
Вам — бойцам легендарных походов,
Вам — солдатам, героям октябрьских боев —
От страны, от земли и от ваших сынов —
От солдат сорок первого года!

ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ

ТРОЕ ИЗ ЛЕГЕНДЫ

У новейшей истории спросим
Факты из предпоследней главы:
Как священным число 28
Стало в дни обороны Москвы?

В русских сказах присутствуют
 числа —
Тридцать три, например, или семь.
Не ищи в них особого смысла, —
Может, числа случайны совсем,

Но уж если в сознании народном
Утвердились легендой они,
То решение бесповоротно —
Будет так навсегда, искони.

Гитлер танки тяжелые бросил.
Сколько шло их в ноябрьский тот день!
А навстречу — всего 28,
И не танков, а просто людей.

Вихрь враждебный — метельные
 крылья.
Подмосковье. Последний рубеж.
Казахстанцы-гвардейцы закрыли
В обороне опасную брешь.

Чем закрыли? А разве не ясно?
Телом трепетным, кровью живой.
Оставалось до площади Красной
Пятьдесят километров всего.

Политрук по фамилии Диев,
Поднимаясь и рушась опять,
Прохрипел, что за нами Россия,
Только некуда нам отступать.

Эта клятва над фронтом звучала,
Предвещая спасенье Москвы
И советской победы начало,
Даже если гвардейцы мертвы.

28 погибших героев —
Кто не знает легенды о них?
Но недавно открылось, что трое
В том сраженьи остались в живых.

Их, обугленных, взяли оттуда,
По три года лечили потом,
Это вписано было как чудо
В хирургической практики том.

Утверждаю, что их воскрешенье,
Не нарушив легенды ничуть,

Возвеличило, как подтвержденье,
28 — и подвига суть.

А панфиловцы, те, что живые,
Трое, с лицами в сетке морщин,
Проживают на периферии,
Появляются в дни годовщин:

Перед юностью новой несметной
Стать гвардейская, сдержанный жест.
Как орлы на курганах бессмертья,
На дощатых трибунах торжеств.

ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

* * *

Так неожидан был и нов
акцент тбилисских воробьев!
В сомненьи: что за птица? —
я наблюдал черты страны,
где лица женские скромны,
горды мужские лица.

Я направлялся по утрам
к углу, где Кошуэтский храм,
с грузинкою-мадонной.
Во всем вокруг сквозила страсть:
не свет, а блеск, не цвет, а масть,
не тень — провал бездонный.

Но все смягчал хозяйский клан,
к полудню предлагавший план,
поистине духовный.
Шел жаркий спор: когда — куда,
пока не гаркнет тамада
свой приговор верховный.

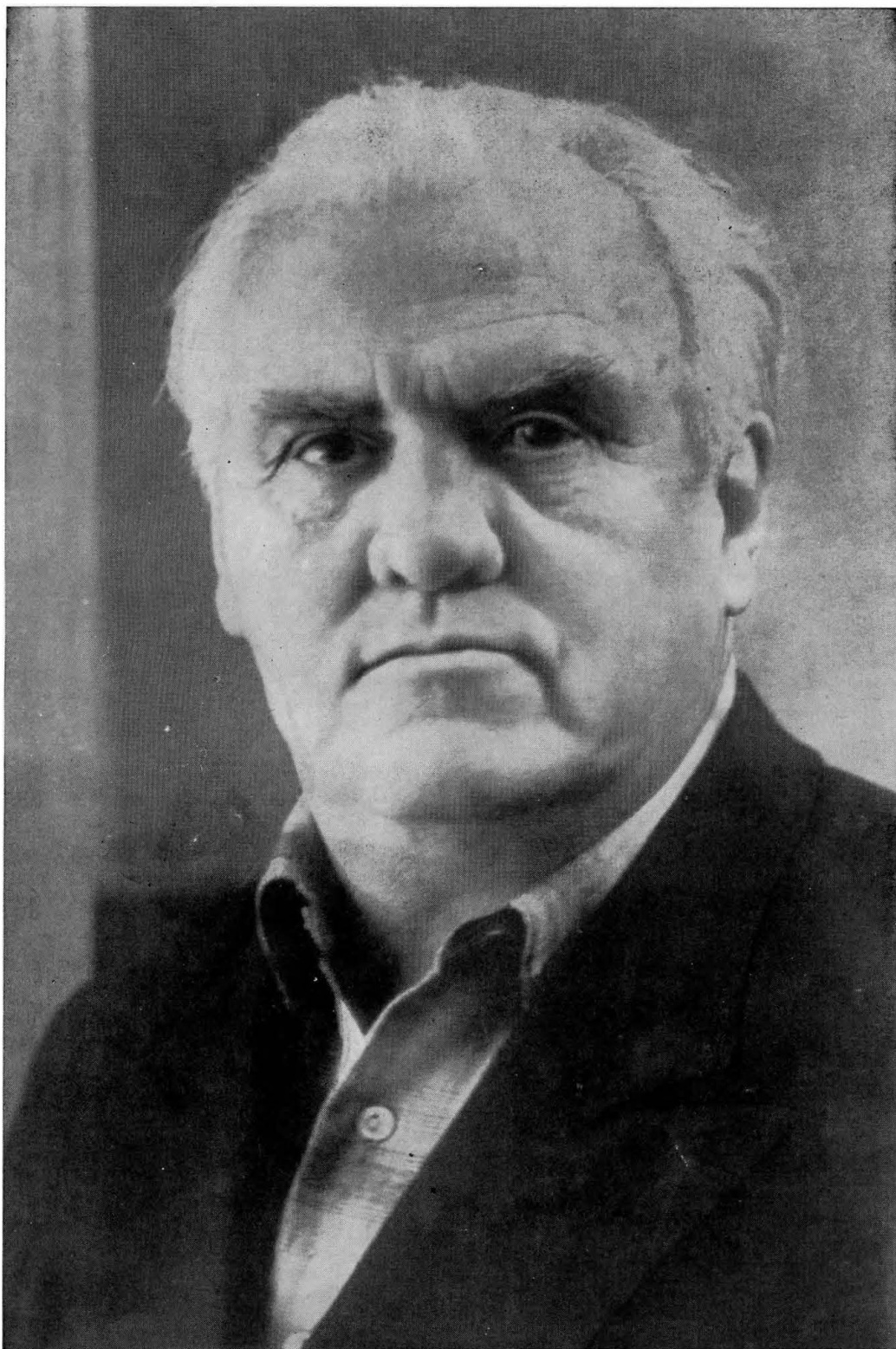
И каждый раз меня всего
кидало в дрожь от одного
незначущего факта.

Ведь вот безделица, мура,
и знаю сам: забыть пора,
да не выходит как-то.

Всяк тот, кто, следуя добру,
меня водил как ко двору
к высокой кисти иль перу
иль к их родне тем паче, —
служил творцам, как верный Сид,
весь дух свой вкладывал в их быт,
но — Тициан, Ладос, Давид
их звал, и не иначе.
Какой-то в этом был ответ.
Живет без отчества поэт
(не всякий раз, но часто!).
Пускай кому-то подчинен,
но никому на свете он
зато уж не начальство.

А властный клич: — Идем к Ладос! —
так всех нас возвышал зато,
что я, идя обратно,
уже не рот раскрыл — уста —
ответить, где проспект Шога,
приедем, вероятно...





Герой Социалистического Труда Николай Семенович Тихонов



Герой Социалистического Труда Павел Григорьевич Тычина

пока ребенок наконец услышал,
и отозвался, и на голос вышел
из медной рощи, из высоких трав,
из голубых и розовых кустов.
Но, материнский голос услышав,
он сразу отличил среди знакомых слов
впервые им услышанное слово.

Он удивленно произнес: — Товарищ...—
Прислушался и повторил: — Товарищ...—
И он пошел на зов, твердя: — Товарищ...

Ребенок шел в густой траве до плеч,
в густом настое зелени и хвои,
и это слово нес, как будто меч
несет впервые в жизни юный воин.

— Товарищ...— он твердил на все лады
и отстранял, и прижимал к груди.
Ребенок шел на зов, а впереди
громоздко, близко, ярко и темно
клубились годы славы и беды...

Ах, слово! Послужило ли оно
тебе в пути, дитя далеких лет?
Ах, слово! Пригодилось или нет?
Товарищи!

Ты помнишь ли ту рощу, дом и двор?
Ты, человеком выросший с тех пор,
ты человеком вырос ли, однако?
...Клубятся годы зарев, годы мрака.
Между добром и злом размыты рубежи.
Ты человеком вырос ли,— скажи? —
подхваченный в тот день потоком русской
речи,

ее значений и противоречий,
неразделимо сплавленных навек,
как в водах Волги струи разных рек.
Оки и Белой и Шексны и Камы.
О, дикое величье нашей драмы!

Ее еще никто не написал,
она огромна и сложна, как мир,
и если снова не придет Шекспир,
ее никто и написать не сможет.
Но я не отрекаюсь ни по чем
от тех нагромождений за плечом,
от нашего пути.

Он был.

Он прожит.

От тьмы и света, от добра и зла.
То жизнь моя была.

Я в ней росла.

О, молодость моя, тебя кто хочет судит.
Но у меня другой уже не будет.
Товарищи!

Тот полдень. То дитя.

....Ребенок шел, на все лады вертя
впервые им услышанное слово,
шептал: — Товарищ...— Повторял:

— Товарищ...—

Он старше стал на несколько минут,
на несколько шагов от рощи и до дома,
на это слово старше,

им ведомый,

впервые в жизни,

в мир,

туда, где ждут

товарищи.

Иди, дитя, иди в цветах до плеч,
ладошками расталкивая травы,
иди вперед,

в судьбу,

в родную речь,

в мир утренний, лазоревый, кровавый.

Там ждут тебя товарищи твои,
твои победы, праздники, бои,
обвалы срама и раскаты славы.

Иди, дитя, не опуская глаз.

К тебе пришел товарищ в первый раз.

Запомни это слово, этот час...



**ВЛАДИМИР
КАРПЕКО**

ОПЯТЬ...

Оставив поле за собою,
Опять мы отошли назад.
Но это поле — поле боя:
На нем убитые лежат.

Еще горит закат багровый,
Еще висит сраженья дым,
Еще по ним не плачут вдовы,
Не плачут матери по ним,

Но им уже, лежащим немо,—
Им по свистку уже не встать,
Им не глядеть уж в наше небо
И нашу землю не топтать!

Нет, мы врагу не подарили
Ни одного клочка земли...

Опять окопчики отрыли
И до рассвета залегли.

И вот — светает! Уплывает
Тумана сизая волна,
И, раздробляясь, пропадает
В осколках звуков тишина.

Опять, как карканье вороны,
Доносится чужая речь,
И по цепи: — Беречь патроны! —
Приказ... Да было б что беречь!

Опять кружит над нами «рама»...
Разрыв!.. Другой!.. Пошла гроза!..
Но мы опять посмотрим прямо
В ее свинцовые глаза.

1941
Ленинградский фронт

**МИХАИЛ
МАТУСОВСКИЙ**

«РОСТОВСКИЕ ЗВОНЫ»

То будто бы слышится стон похоронный,
То чудится крик самого звонаря.
Купите пластинку «Ростовские звоны»,
Клянусь, вы потратите деньги не зря.

С чем можно сравнить этот хор колокольный,
Когда вдруг становится воздух плотней,
Как будто бы в сумерках бор многоствольный
Под ветром гудит от вершин до корней.

Кто дал им, скажите, такое уменье,
Какой в этом сплаве процент серебра,
Что стоит их только задеть на мгновенье,
Как звук не затихнет уже до утра.

Их каждый раскат отдается ознобом,—
Такая им власть надо мною дана,
Когда они делят с искусством особым
То «блин, то полблина, то четверть блина».

Недаром я слышал преданья об этом
И издавна помнить об этом привык,
Что колоколам на Руси, как поэтам,
За правду одну вырывали язык.

Мы только недавно смогли догадаться,
И то когда жизнь свой урок нам дала,
Что лучше взглянуть предварительно в
святцы,
Потом уж вызванивать в колокола.

Чугунные била с размаху калеча,
Ростовские звоны гудят и гудят.
На вече, на встречи, на смертные сечи,—
Куда позовет еще этот набат?

И так я стою, их грозой оглушенный,
Под серой холстиной осеннего дня.
Ростовские звоны, ростовские звоны,
Вы вечно гудите в крови у меня.

КИРИЛЛ
КОВАЛЬДЖИ

* * *

Время для нас текло по различным руслам.
Ты родилась ровесницей мне
в красной Москве, в белокаменном городе
русском,

а я — до советской власти
на той стороне.

Ты в школьных учебниках видела:
заштрихована Бессарабия,
косая решетка легла ей на грудь,
ее под шумок сграбастали,
бояре ее разграбили,
ты знала — ее непременно
из прошлого надо вернуть.

Озорная девочка в пионерском галстучке,
насколько ты старше меня была!
Ты б ко мне прилетела взволнованной
ласточкой,
чтоб немедля призвать на большие дела.

— Это просто
и даже очень,—
ты сказала бы мне горячо.—
Надо все объяснить рабочим,
удивительно, как ты не понял еще!
Ничего ты не видел хорошего.
Бог с буржуем — какой это мрак!
Что ж вы ждете, ребята,
что же вы?
Революцию делают так и так...

МАРГАРИТА
АГАШИНА

* * *

От березового колышка,
от далекого плетня
отвязалась речка-воложка,
докатилась до меня.

Вот и гуси сизокрылые.
Вот и старая ветла...
Что ж так поздно, речка милая,
где ж ты раньше-то была?

Мы над прошлым порой улыбаемся
взросло,

и не верится просто самим,
что мы жили когда-то и разное и розно...
Все родное тебе — я уверен —

отроду было моим
вместе с краем родным,
где с дубами и грабами

непреклонные высятся буки...

Обнимают мою Бессарабию

две реки, две руки —

материнские руки.

Я без усталости молод, мне легко и просторно,
мне беда не беда на отцовской земле,
где над жизнью, над памятью

материнские руки простерты

и в разлуке повсюду

протянуты нежно ко мне.

Где б я ни был — со мною мое междуречье,
что издревле поныне

на век вековой

отголоски чеканной латыни

с могучей славянскою речью

сдружило, как левую руку с правой рукой.

Эти руки не клали преград

пробужденной душе человечьей,

эти руки меня посадили ребенком на

плечи,

чтоб простор я увидел другой,

эти руки в открывшийся мир отпустили,

научили меня, помогли

видеть мир не глазами пустыми,

а глазами этой земли.

Вот и горькая припевочка
вниз по реченьке плывет:
«Не тому досталась девочка,
потому и слезы льет!»

Замерла ветла корявая:
все как надо поняла...
Что ж ты поздно, песня правая?
Где ж ты раньше-то была?

ВИОЛОНЧЕЛЬ

Сменили рано мы свои профессии.
Тревожная пора тому виной.
Я в музыкальный класс при школе
Гнесиных
был принят перед самою войной.
Мне приходилось временами трудно,
но вдруг светлело все, когда в тиши
виолончельные тугие струны
касались струн мальчишеской души.

Я забывал про радости и бедствия
и про существование свое
под завораживающим воздействием
всплывающего рокота ее...
Потом война, нарушившая многое,
Нахимовское, памятное мне,
где строчки слов я, словно струны трогая,
перебирал с собой наедине.
Все было поздно начинать сначала.
Но сдержанно, как будто сквозь метель,
войною заслоненная, звучала
во мне та самая виолончель.

ЮРИЙ
ЛЕВИТАНСКИЙ

СОН ОБ УХОДЯЩЕМ ПОЕЗДЕ

Один и тот же сон
мне повторяться стал,
Мне снится, будто я
от поезда отстал.
Один, в пути, зимой
на станцию ушел,
а скорый поезд мой
пошел, пошел, пошел.
И я хочу бежать
за ним, и не могу,
и чувствую сквозь сон,
что все-таки бегу,
и в замкнутом кругу
сплетающихся трасс
вращение земли
перемещает нас —
вращение земли,
вращение полей,
вращение вдали
берез и тополей,
столбов и проводов,
разъездов и мостов,
попутных поездов
и встречных поездов.
Но в том еще беда,
и, видно, неспроста,
что не годятся мне
другие поезда.

Мне нужен только тот,
что мною был обжит.
Там мой дорожный свет
от скорости дрожит.
Там любят лечь — так лечь,
а рубят — так сплеча.
Там речь гудит, как печь,
красна и горяча.
Мне нужен только он,
азарт его и пыл.
Я знаю тот вагон,
я номер не забыл.
Он снегом занесен.
Он в угле и в дыму.
И я приговорен
пожизненно к нему.
Мне нужен этот снег.
Мне сладок этот дым,
встающий высоко
над всем пережитым.
И я хочу за ним
бежать, и не могу,
и все-таки сквозь сон
мучительно бегу,
и в замкнутом кругу
сплетающихся трасс
вращение земли
перемещает нас.

СВИРЕЛЬ ПАСТУХА

В горах, где под покровом снега
Сокрыты, может быть, следы
Сюда приставшего ковчега,
Что врезался в гранит гряды,

Где, может быть, таят вершины
Гнездовья допотопных птиц,—
Есть электронные машины
И ускорители частиц.

А рядом, где окаменели
Преданья, где хребты молчат,

Пастух играет на свирели,
Как много тысяч лет назад.

Познавшие законы квантов
И с новым связанным днем,
Скажи, глазами ли гигантов
Теперь на мир смотреть начнем?

Напевом нежным и горячим
Потрясены верхи громад,
И мы с пастушьей дудкой плачем,
Как много тысяч лет назад.



**АНАТОЛИЙ
ПЕРЕДРЕЕВ**

* * *

Я жил свободно
И открыто,
Я делал чистые дела,
И производственная крыша
Над головой моей плыла.
Она была
Как купол цирка,
Но не хватало высоты
Парам
Расплавленного цинка,
Удушью
Серной кислоты,
Но этот дым
И слово «вредник»
Я принимал
Без лишних слов
И нес
Брезентовый передник
Все шесть
Положенных часов.
И к вентиляторному ветру
Я прислонялся головой...
А на стенах —
Плакаты века,

Призывы,
Лозунги его.
Они
В упор кричали:
— Выше
Производительность труда!..—
И жили
Голуби под крышей,
От снега спрятавшись туда.
Садилась голуби
На фермы,
Роняли голуби
Помет
И падали,
Теряя перья,
Полет коверкая,—
В пролет...
Как ветошь,
Тлело оперенье...
Но между цинковых чанов
Я нес
Брезентовый передник
Все шесть
Положенных часов.

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ

ХРАМЫ

Что творили, не ведали сами,
Но любой был на подвиг готов.
Древний храм сокрушали ломами
Комсомольцы тридцатых годов.

Разрушая свирепо и строго
Красоту неизученных лет,
Горделиво порочили бога
(Того бога, которого нет!).

А свои трудовые мозоли
И струящийся каплями пот

Почитали наивно, как зори
Небывалых доселе красот.

Не желая таранить упрямо
Неповинных старинных церквей,
Реставрируют древние храмы
Комсомольцы сегодняшних дней.

Воздвигают упавшие стены,
Золотят купола и кресты,
Чтоб сияло свежо и отменно
Все величье былой красоты.

Это не отступление народа,
С каждым годом видней и родней
Комсомольцы тридцатого года
Комсомольцам сегодняшних дней.

ЯН ВАССЕРМАН

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

Все затихли, затихли, затихли
За Кейптауном и за Тикси,
Будь то лайнеры-лебеди,
Прижавшие крылья бортов,
Или крошки-фелюжки,
Что болтаются, словно редиски,—
На судах всех мастей, всех морей,
всех портов

Дважды по три минуты в часу
Умолкают радисты.

Люди, слушайте ближних!
Может, кто-нибудь гибнет в ночи?
У кого на лице
Ледяное дыханье аврала?
Свищут синие волны,
Сверкающие, как мечи,
И пока что никто их
Не перековал на орала.

Мы у мертвых в долгу.
Здесь не пахнет тюрьмой
долговой.

Мы им все отдаем:
Ордена, обелиски, салюты
И минуту молчанья.
Потому что в момент роковой
Мы не слышали их.
Не умолкли мы на три минуты.

А у горя различны
Тональности и голоса,
Горе может и шепотом,
Даже если оно и огромно...
Ну, так слушайте молча,
Три минуты на полчаса!

Хоть с позиций формальных
Оно не совсем экономно.



ГЕННАДИЙ НАРПУНИН

ЦЫГАНКИ

Опять на площади цыганки
Серьгами медными звенят,
И крутят толстые сигарки,
И кормят грудью цыганят.

Они весне и солнцу рады,
Хоть внешне хмуры и строги.
На них старинные наряды
И хромовые сапоги.

Цыганки смотрят исподбровья.
Сурьмой подведены глаза.
И густо смазаны коровьим
Прогорклым маслом волоса.

На них какие б ни напасти,
Они без карт не могут жить.

И тщетно городские власти
Им запрещают воровать.

Цыганки знают досконально,
Цыганки знают лучше нас,
Что жизнь не так уж идеальна,
Как представляется подчас.

Там муж жену побил жестоко,
Там отбивают жениха,
Там сын вестей не шлет с востока,
Уж не случилось ли греха?

Цыганки шпарят, как по книжке,
О судьбах дам и королей.

Потом уходят ворожейки
Поглубже в сад и там, в тиши,
Расположившись на скамейке,
Едят устало беляши.

НАУМ НИСЛИК

МУЗЫКА

Там даже был какой-то свой уют,
в потемках, где смотрел я поневоле
бесвязное, как бред, кино немое,
пока не вспомнил, что в раю — поют.

И я побрел по этой тонкой нитке,
и выбрался на свет, и в тот же миг
услышал звук — он был сигналом пытки,
он в уши мне вошел, как плоский штык.

А раем был военный лазарет,
и рядом, в репродукторе на сквере,
симфония взрывалась на заре,
гармония раскалывала череп.

Стенанья распадающихся форм,
внезапное крушенье мирозданья
меня застигло в старом школьном зданье,
где тусклый свет и скорбный хлороформ.

И, оглушая, повлекло обратно
в безмолвие коробки черепной,
и смутное лицо сестры палатной,
мерцающая, проплывало надо мной.

Но, корчась, проклиная и молясь,
я вдруг поймал какой-то тихий зуммер,
и стала восстанавливаться связь,
а попросту я понял, что не умер.

Что книгу бытия листать сначала:
постигнуть зло, уверовать в добро,
за женщину отдать свое ребро
и душу, чтобы слово зазвучало.

...Лишь музыку я слушать не могу,
все чудится: безгласен и бескровен,
лежу пластом, и — только гром в мозгу,
и только гром...

Прости меня, Бетховен.

**ВЛАДИМИР
СЕМЕНОВ**

Я ВСПОМНИЛ ОПЯТЬ САПЕРА

Я вспомнил опять
Сапера —
В палате лежит у нас.
Вернется домой
Не скоро:
У парня —
Ни рук, ни глаз.
Дежурные сестры
На страже.
Лежит
В ночной тишине.
Не может
Повеситься даже
На прочном
Солдатском ремне.
Не сдвинет бинты,
Как маску,
Не знает —
Настал ли рассвет?
Глядит в потолок

Сквозь повязку
Глазами,
Которых нет.
Поднимется на минутку:
— Дай закурить, солдат! —
Сверну ему
Самокрутку,
Вздохнет он:
— Спасибо, брат! —
Потрескивает махорка,
Плывет
Голубой завиток.
Сапер произносит
Горько:
— Ну как же мне жить,
браток? —
Притихнут больные
В постелях,
Задумавшись о своем...
И долго
В повязках белых
Мы молча сидим вдвоем.

**ЯКОВ
БЕЛИНСКИЙ**

КРИЧАЩЕМУ ПОЭТУ

Чуть слышный шорох вызревшего колоса.
Упала капля, гладь реки рябя...
Вполголоса, вполголоса, и только вполголоса,
чтоб люди лучше слышали тебя.
О, эти тыщи вытянутых шей!
О, тишине внимающие уши!..
Вполголоса — что может быть слышней
для тех, кто хочет и умеет слушать.
Вполголоса — о малом и великом, —
и все понять сумеют до конца
и уши, одичавшие от крика,
и криком оглушенные сердца.
Вполголоса — чтобы насытить голод
заждавшихся, — без пышных тостов пир.
Вполголоса — во весь огромный голос
души! На весь безбрежный мир!

ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВСКАЯ

* * *

«Все по соборам да по соборам —
Не надоело?..»
По косогорам, по косогорам
Вверх — то и дело...

«Зачем соборы?.. Не многовато?..
Чудно и странно!»
Затем — что прочно,
Затем — что свято
И первозданно!

Не только вера —
Талант народа,
Его старанье,
Его защита, его свобода,
Его страданье...

Да, горевали о Горгасале
Мы в пятом веке...
Огни Тбилиси не угасали,
И у Метехи
Готовил скульптор Амашукели
Его подобье...
А мы — склонялись к Светисцховели,
К его надгробью...

Да, из столетья мы в столетье
Переходили,
Войска из крепостей Месхети
В бой проводили:
Светало в Вардзии пещерной,
Потом — смеркалось,—

Рука Тамар с крестом священным
Не опускалась...

Из века в век мы шли, и песни
Нам камни пели.
Теснили турки нас и персы,
Дома горели...
Но вновь ковали и боронили
В пределах отчих,
Короновали и хоронили
Царей и зодчих...

Дал знак Тимур: кувалды били,
Огонь метался —
Устои храма подрубили —
Но храм остался,

Не рухнул!.. Кладка такую цепкой
Была в те годы,
Что стен остатки держались крепко,
Вися под сводом!

Собор — затем, чтоб собираться
Без долгих сборов,
Чтоб друг от друга не запирались
На сто запоров.

Да, по соборам! И не с толпою,
А словно в детстве —
Мы ловим эхо, бредя с тобою
В столетьях — вместе...

И бегу времени, как дети,
Не поддаемся...
О сколько мы с тобой столетий
Не расстаемся!..

ДАВИД
НУГУЛЬТИНОВ

БОЛЬ

Кольнув нежданно изнутри
И затемнив благополучье,
Предупреждает боль: — Смотри! —
И, как дозорный самый лучший,
Тревогу бьет, гремит в набат...
И вот — покой убит, разъят.

Мобилизует сил запас
И чувства стынувшие будит...
Нет, если боль отнять у нас,
Добра от этого не будет!
Ведь я живу, покуда чую
И боль свою и боль чужую.

*Перевела с калмыцкого
Юлия Нейман*

ГРИГОРИЙ
КОРИН

РАЗВЕДЧИЦА

Ни фамилии, ни имени
Не припомню теперь ни за что.
— Обними меня, обними меня,
Обними меня, морячок.

Ах, разведчица, ты разведчица,
Заблудилась ты или пришла?
Только ты погоди до вечера,
А то полем пройдет старшина.

Поле минное, поле тминное,
А на травушке — кобура.
— Обними меня, обними меня,
Обними за все вечера.

Я растерянный.
Губы в клевере.
Я — мальчишка, наган — на боку.

А за клевером, за деревнею
Голоса поверки в полку.

Пальцы ломкие, пальцы длинные
Легче трав на лице моем.
— Обними меня, обними меня,
Затяни меня, как ремнем.

Ох, разведчица, ты обманщица,
Шея скользкая, длинше стебля,
Обещала родить мне мальчика,
Если стану мужчиною я.

Был я первым твоим, и ты — первая.
Как внезапно пришла, так ушла,
И, прощаясь, метнулась из клевера,
Даже адреса не дала.

И растерянная по тропочке
Пробивалась одна на заре,
И навек потонула в окопчике
С моим адресом в кобуре.

ВАЛЕНТИН
КУЗНЕЦОВ

ДЕТСТВА НЕ БЫЛО

А наше детство не было зеленым,
Мы выросли из детства, пацаны...
Качается Россия на вагонах,
Качается земля в руках войны.

Мы выросли. Нам детства было мало,
Нам подавай винтовку и коня.
И сквозь чахотку гжатского вокзала
Отчаянно шагала ребятня.

Я оттащил тулуп на барахолку,
Как печка теплый дедовский тулуп.
И вот лежу один на жесткой полке,
Ем черный хлеб и огурцы — хруп-
хруп.

Казалось мне, остановилось время,
А до Москвы три дня идет состав.

За окнами, покинутые всеми,
Лежали села, руки распластав.

Шли через поле беженцы босые,
А скот ревел, шарахался, кричал.
Куда, — скажи, — ты двинулась, Россия,
Мое отечество, моя печаль?

Кто объяснит мальчишке? Кто
расскажет
О горе-доле, о беде твоей?
За речку малую и за глухой овражек
Ты отдавала лучших сыновей.

Горит Россия. Плач встает окрестно.
И далека победная весна.
Качается в вагонах наше детство...
А детства не было —
Была война.

ВИКТОР
БОКОВ

ОЛИМП ЛЕОНИДЗЕ

Неуснувшие черешни
Бьют зеленым помелом.
Шевелят и тянут клешни,
Норовят туда, где дом.

На «Олимпе Леонидзе» —
Солоухин, Доризо,
Я, Сергей Васильев, ниже —
Ночь, холмы и горизонт.

Мы немного замерзаем,
Нет ни женщин, нет ни дев,
За столом один хозяин
Леонидзе — горный лев.

Голос грубовато нежен,
Голова его седа.
Но как молод и мятежен
Академик-тамада.

Поседевший воин Музы
Держит речь, как меч, как щит.

— За поэзию Союза! —
Гогло голосом гремит.

Не задремлешь здесь от скуки
Возле чаши круговой.
Пьем. Закусываем луком,
Шашлыком, тархун-травой.

А хозяин наш прекрасный
Подает нам вертела.
Вот уж постепенно гаснут
Все небесные тела.

Вот уже восток алеет,
Месяц прячет тонкий рог.
Вся компания хмелеет,
Леонидзе трезв, как бог.

По веранде ходит гордо,
Синь сквозит из-под бровей.
Отовсюду слышно:— Гогло!
— Я! — И к нам идет скорей.

И орлиным взглядом мечет,
Озирается кругом.
Постоишь с таким, и легче,
Ты и сам орел орлом!

РУВИМ
МОРАН

ПРИЗВАНИЕ

Я аромат слесарной мастерской,
Дух масла и нагретого металла
Иной раз помню с ясностью такой,
Как будто перед табельной доской
Стою и начинаю все сначала.

Ах, кто под старость не знаком с тоской
О том, что век не так, как надо, прожит,
И кто сказать с уверенностью может,
Что трудится в той самой мастерской?



БАЛЛАДА О КОРЧАГИНЕ

Приключенья, и сказки, и были —
сколько разных волнующих книг!
Помню, эту на стол положили:
на обложке и ветка и штык.

Я прочел ее духом единым,
как котовцы летел на коне.
Все же книга по разным причинам
в годы разные нравилась мне.

Было время, мне нравилось место,
где, явившись к попу поутру,
Павка портил поповское тесто,
подсыпая в квашенку махру.

Через год, от волненья сгорая,
ночью позднею, в третьем часу,
я решил, что матроса Жухрая,
если надо, я тоже спасу.

Был и я далеко не тихоней
и, ломая сиреневый куст,
лет в пятнадцать, как Павел за Тоней,
я ходил по лесничеству чувств.

Годы, годы... проносятся мимо...
И я с Павкой встречаюсь опять,
и учусь расставаться с любимой,
не желающей правду понять.

Так вот чувства мои вырастали,
новый смысл будоражил меня.
От страниц закалявшейся стали
полыхнуло дыханьем огня.

В сорок первом году, спозаранку,
в том же возрасте встретив весну,
я, как Павел Корчагин в Гражданку,
в свой черед уходил на войну.

Был я в роте у нас книгоношей,
книг семнадцать возил я с собой.
Как-то раз в деревеньке хорошей
приказали нам выступить в бой.

Это вам основательный довод,
если в битве за землю свою,
как Корчагину нужен был Овод,
мне Корчагин был нужен в бою.

Как знамена, шумели страницы,
где написано «только вперед».
Если это опять повторится,
Павел снова меня поведет.

МАЛЬЧИК ИЗ БЛОКАДЫ

От голода не мог и плакать громко,
Ты этого не помнишь ничего,
Полуживым нашли тебя в обломках
Девчата из дружины ПВО.

И кто-то крикнул:
«Девочки, возьмемте!»
И кто-то поднял бережно с земли.
Вложили в руку хлеба черствый лом-
тик,

Закутали и в роту принесли.

Чуть поворчав на выдумку такую,
Их командир, хоть был он очень строг,
Тебя вписал солдатом в строевую,
Как говорят, на котловой паек.

А девушки, придя со смены прямо,
Садись, окружив твою кровать,
И ты вновь обретенным словом
«мама»
Еще не знал, кого из них назвать.

1943

ПАВЕЛ
ГРУШКО

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

От последних известий до последних
все как будто в порядке, все как будто на
известий
месте.
Люди заняты жизнью, делами привычными
в соответствии с опытом и своими обычаями.
В этот час на сферической нашей обители
происходят чреватые взрывом события.
А покуда события не стали известьями,
люди прячут тревогу за спорами, песнями,

люди делают дело — корчуют, ворочают,
боронуют, вальцуют, рыбачат и прочее,
дышат, смотрят, едят, вспоминают забытое,—
что, по сути, и есть основные события.
Не впервой им заглядывать в черные бездны.
А события — ну что же, они неизбежны,
а тревоги — ну что же, не меньше их будет:
это честная плата за то, что мы люди.
Просто надо держаться по возможности
вместе
от последних известий до последних
известий.

ИВАН
ХАРАБАРОВ

БРАТСКОЕ МОРЕ

Сосны к морю спускаются,
к самому Братскому морю,
Это место когда-то
называлось рекою Окою.
Я присяду здесь тихо
и даже словечка не молвлю.
Чтобы мне
не спугнуть
тишины, синевы и покоя;
Всюду стройные сосны —
как стрелы иль длинные копья,
Все леса да леса —
здесь не встретишь ни поля, ни пашни,
Лишь июльского сена
душистые свежие копны
Придают берегам этим
вид обжитой и домашний.
Где-то там, посредине,
маячит рыбацкая лодка,
Слышен выстрел далекий
и звуки собачьего лая.
Я с тревогой гляжу,
как, в воде утопая холодной,
Гордо висится кедр,
покориться судьбе не желая.
А вода его пробует
силою взять и измором,
Только держится кедр,
напрягая тугие коренья.

Мне не верится даже,
 что здесь не всегда было море
 И что вся красота его —
 рук человеческих творенье!
 Море дышит прохладой,
 чтоб травы от солнца не сникли,
 Чуть колышутся волны,
 у берега бревна качая,
 И краснеют над морем
 созвездья лесной костяники,
 И, склонившись к воде,
 розовеют цветы иван-чая..
 Снова в путь я готов
 отправляться дорогой прямою,
 Снова весел и бодр —
 что случилось со мною такое?
 Ведь всего только было —
 пропахшее хвоею море
 Да пятнадцать минут
 тишины, синевы и покоя!

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН

* * *

Мне детство выпало на долю
 В том городе, где память — жгла:
 Я приходил на поле боя,
 В свой стан история звала.

Где той былой Петровой славы
 Еще не заросли следы,
 И в Корпусном саду Полтавы
 Орел — предвестником беды.

Где люди, что видали виды,
 На каждом встретятся шагу,
 Где Украина «Энеиды»
 Ковала первую строку.

И где, как двух стихий слиянье,
 Как двух слиянье мощных рек,
 Днепра и Волги колыханье,—
 Жил небывалый человек...

К нему в глаза б вы заглянули,
 И там — я утверждать берусь —
 И богатырь ленивый Тюлин,
 И музыкант слепой — Петрусь.

Так с детских лет в строке единой
 Две песни гулко отдались,
 Так в ней Россия с Украиной
 На жизнь на всю мою слились.

И не крыло одно, а крылья
 Тугие за моей спиной.
 Так ты мне, родина, открылась
 Той двуединой стариной.

Мне с детства щедрый дар подарен,
 В нем силу черпаю свою.
 Тебе, мой город, благодарен
 За двуединую струю.



С Л О В О Н А К А М Н Е

[к нашей вклейке]

Дорогой читатель! Когда разговор об этой публикации зашел у нас с Николаем Тихоновым, он, поэт мужества, ветеран четырех войн, пружинно поднялся из-за стола. Быстрое, безошибочное движение к полкам книг, и в руках у Николая Семеновича — его «Болгарские записи». Воениздат. Год 1945-й. Издание скромное, как солдатская шинель, а запахнешь — как от шинели тех лет, веет гарью военных дорог.

Он сразу открыл нужную страницу и сказал только одно слово: Плевна. И прежде чем в книге, прочиталось в его глазах возвратившееся через десятилетия волнение той минуты, когда он увидел еще совсем свежее, но уже адресованное векам свидетельство исторической встречи боевой славы дедов — героев Шипки — и внуков — солдат нашей Великой Отечественной. А свидетельствовал камень. Мрамор. Точнее — двенадцать стихотворных строк, высеченных на нем.

«У главного мавзолея, — записал тогда Тихонов, — снаружи прикреплена мраморная доска, на которой красуется большая красная звезда, и под ней простые, от солдатского сердца написанные стихи и надпись.

Надпись гласит: «Героям Плевны от частей 3-го Украинского фронта победоносной Красной Армии».

Ниже надписи — стихи:

*Вдали от русской матери-земли
Здесь пали вы за честь отчизны милой,
Вы клятву верности России принесли
И сохранили верность до могилы.*

*Вас не сдержали грозные валы,
Без страха шли на бой святой и правый.
Спокойно спите, русские орлы,
Потомки чтут и множат вашу славу.*

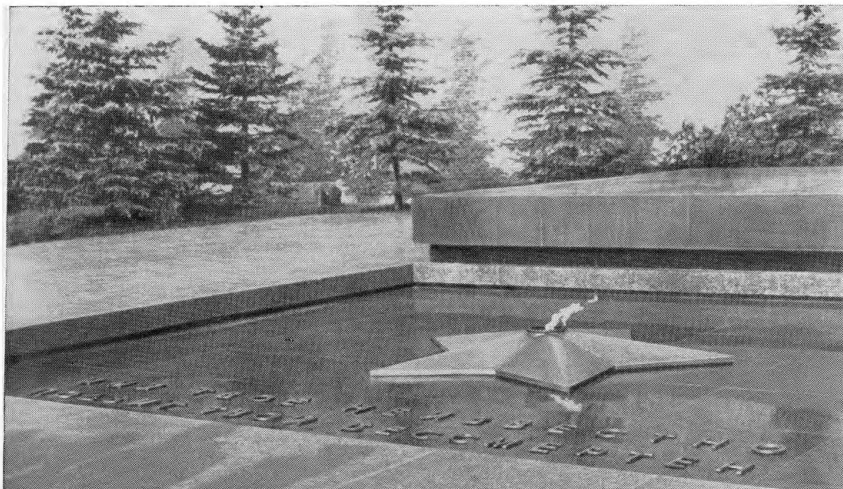
*Отчизна нам безмерно дорога,
И мы прошли по дедовскому следу,
Чтоб уничтожить лютого врага
И утвердить достойную победу.*

Сентябрь 1944 года.

Я представляю себе, как запыленные наши воины впервые поднялись на эти Зеленые горы и обвели глазом все поле великого сражения прошлых времен...»

Николай Семенович поставил книгу на место. Мы молчали. Как молчат, когда любое слово — кощунство. Как молчат перед памятником. Перед лицом Времени и Вечности.

А думалось о переключке веков. И о поэзии, чье бессмертье, конечно, не в том, на камне или на бумаге написаны строки. Есть устные памятники слова, пережившие столетия. Недаром их так и называют —



Огонь славы у Кремлевской стены. Символы вечности — огонь и камень. И здесь же — оставленное на века слово. Эта краткая надпись рождена в стенах МКК КПСС совместным трудом трех поэтов — Михаила Луконина, Сергея Михалкова, Константина Симонова.

Этот памятник установлен под Москвой, «на двадцать третьем километре по Ленинградскому шоссе» (читай стихи Марка Лисянского на стр. 82 нашего сборника).



А эта выбитая резцом на стеле поэма написана Ольгой Берггольц. Стела вместе с фигурой Матери-Родины венчает ансамбль Пискаревского кладбища в Ленинграде.

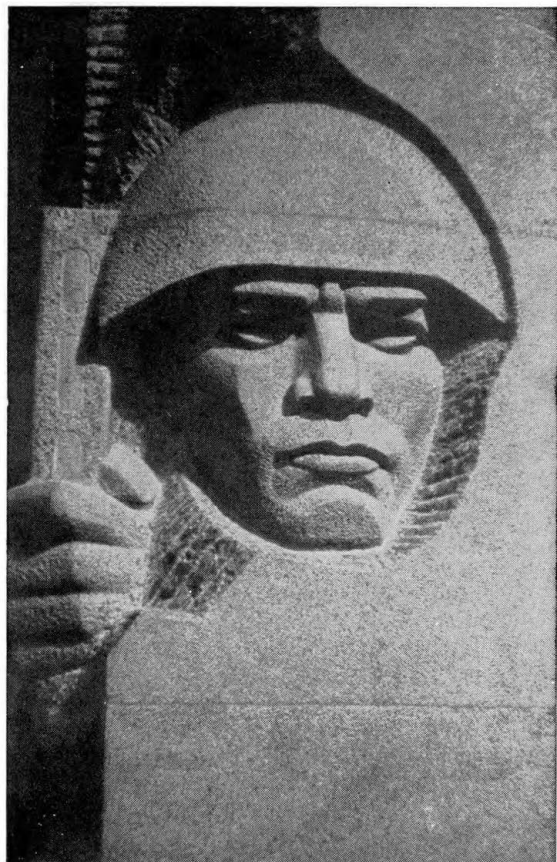


ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ЛЕНИНГРАДЦЫ
ЗДЕСЬ ГОРОЖАНЕ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ ДЕТИ
РЯДОМ С НИМИ СОЛДАТЫ-КРАСНОАРМЕЙЦЫ
ВСЕЮ ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ТЕБЯ ЛЕНИНГРАД
КОЛЫБЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ.
ИМЕННО ВАМ ГОРОДЯНИМ МЫ ЗДЕСЬ ВЕРИТЬ СМЕРТЬ НЕ СМОЖЕМ
ТАК ЖЕ МНОГО ПОД ВЕЧНОЙ ОХРАМОЙ ТРАГИКИ
НО ЗНАЙ ВНИМАЮЩИЙ ЭТИМ КАМНЯМ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

В ГОРОД ДОМИЛИСЬ ВРАГИ В БРОНЮ И ЖЕЛЕЗО ОБЛЕЛИ
НО С АРМИЕЙ ВМЕСТЕ ВСТАЛИ
РАБОЧИЕ ШКОЛЬНИКИ УЧИТЕЛЯ ОПОЛЧЕНЦЫ
И ВСЕ КАК ОДИН СКАЗАЛИ ОНИ
СКОРЕЕ СМЕРТЬ ИСПУГАЕТСЯ ЧЕМ МЫ СМЕРТИ
НЕ ЗАБЫТА ГОЛОДНАЯ ЛЮТЯЯ ТЕМНАЯ
ЗИМА ПОРОК ПЕРВОГО СОРОК ВТОРОГО
И ТРИ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБСЛУЖЕВ
НИ У КАС БОМБЕЖЕК В СОРОК ТРЕТЬЕМ
ВСЯ ЗЕМЛЯ ГОРОДСКАЯ ПРОГЛЕНА

НИ ОДНОЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ТОВАРИЩИ НЕ ПОЗАБЫТО
ПОД НЕПРЕРЫВНЫМ ОГНЕМ С НЕБАС ЗЕМЛИ И С ВОДЫ
ПОАВИГ СВОИ ЕЖЕДНЕВНЫЙ
ВЫ СВЕРШАЛИ ДОСТОЙНО И ПРОСТО
И ВМЕСТЕ С ОТЛИЧНОЙ СВОЕЙ
ВЫ ВСЕ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
ТАК ПУСТЬ ЖЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ БЕССМЕРТНОЮ ВАШЕЙ
НА ЭТОМ ПЕЧАЛЬНО ТОРЖЕСТВЕННОМ ПОЛЕ
ВЕЧНО СКАНЬЕТ ЗНАМЕНА НАРОДА БАЛТОАРМИИ
РОДИНА-МАТЬ И ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД

Как парус бессмертья, устремлен
в грядущее пилон в Старой Руссе,
на котором высечены слова Миха-
ила Дудина.



▲ Стела в честь воина-ополченца Фрунзенской
дивизии на Метростроевской улице Москвы.
Перед ней установлена гранитная страница.
Стихи написал Марк Максимов:

Я с вами
равный среди равных,
Я камнем стал,
но я живу.
И вы,
принявшие Москву
В наследство
от сограждан ратных,
Вы,
подарившие века мне,
Вы — все,
кто будет после нас,
Не забывайте ни на час,
Что я
смотрю на вас
из камня.



памятниками. Но бессмертие поэзии — в ее сопричастности к жизни народа, к его подвигу, его бессмертию. И может быть, строки на камне говорят об этой сопричастности просто наиболее наглядно.

Уже прощаясь, Тихонов сказал, что имя фронтового поэта — автора этих двенадцати строк — установить не удалось. В его словах не было особой горечи. И это было понятно. Автор оставался неизвестным, как и те, от имени кого он написал эту мраморную страницу.

А все-таки осталось сожаление. Кто он? Солдат? Офицер? Профессиональный поэт? Дошел ли он до Победы? Где он сейчас?

А знаешь ли ты, читатель, откуда пришли к тебе вот эти такие знакомые слова: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»? Знаешь ли ты, что, прежде чем стать воистину крылатыми, облететь всю страну и стать девизом нашего праздника Победы, эти слова были высечены на камне Пискаревского кладбища в Ленинграде? Теперь они принадлежат всем, но кто-то произнес их первый. Кто?

А знаешь ли ты, кто авторы слов, высеченных на могиле Неизвестного Солдата в Москве?

Дело здесь, конечно, не в авторстве, но речь идет об одной из почетных работ советской поэзии, поставившей себя на службу времени и народу. И об этом стоит вспомнить в юбилейный для страны год.

Взгляни же на эти гранитные и мраморные страницы, — авторы открывают их для тебя с чувством глубокой благодарности за оказанное доверие.

МАРК МАКСИМОВ

ВЫСОТА 224,1

Было это в сентябре 1943 года в период Смоленско-Рославльской операции Западного фронта на Безымянной высоте, вблизи деревни Рубежанки, Куйбышевского района Смоленской области. Во время наступления полки нашей дивизии, ведя тяжелые и упорные бои, подходили к Десне, где фашисты сопротивлялись особенно отчаянно, стараясь во что бы то ни стало не допустить выхода наших войск на западный берег реки.

Восемнадцать отважных воинов коммунистов-сибиряков во главе с младшим лейтенантом Е. И. Порошиным предложили смелый план ночной вылазки в тыл врага, с тем чтобы на следующий день с началом нашего наступления разведать боевые порядки вражеской обороны, прокорректировать огонь артиллерии и минометов, нарушить линии связи и дезорганизовать управление, а при выгодных условиях захватить высоту 224,1 и нанести удар с тыла.

Когда восемнадцать бойцов проникли в тыл гитлеровцев, они были обнаружены противником. Начался неравный поединок. Фашисты бросили против них до двух рот пехоты. Ожесточенный бой длился всю ночь. Порошинцы отразили несколько атак, уничтожили более ста фашистов, и только на рассвете, когда были израсходованы все боеприпасы, немцы смогли овладеть Безымянной и зверски расправились с истекающими кровью сибиряками. Только чудом остались в живых двое из восемнадцати — Герасим Ильич Лапин и Константин Николаевич Власов. Это о героях-порошинцах поется в песне о Безымянной высоте, написанной поэтом Михаилом Матусовским и композитором Баснером.

А теперь на месте этого неравного поединка воздвигнут строгий памятник: на одной из сторон монумента высечен список всех погибших на высоте, а на другой — строки известной песни. Пусть будет эта песня и этот монумент вечным памятником нашим славным и дорогим товарищам.

Бывший командир 139-й Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии генерал-майор запаса

И. КИРИЛЛОВ

**МИХАИЛ
ДЁМИН**

* * ■

Звездами набитая битком
Ночь над азиатским городком.

Кто в овсяных сумерках степных
не мечтал о штормах ледяных?
О больших путях и расстояньях
и великих противостояньях,
об иных мирах, о марсианах,
молодых морях
и странах

странных?..

И теперь в степи,
в сухой стерне,
плещет море,
плещет море мне.
Нынче чудится мне
дальних ГЭС сиянье,
чайки у окраин городских,
пенный вал,
перемахнувший зданья,

очертанья

кораблей морских.
...Звездами набита до отказа,
тишина над стройкою легла..
С рыжим Марсом,
круглым глазом

«МАЗа»,

на яру
перемигнулась мгла.
И — гляжу я в ночь.
И может, где-то
кто-то

смотрит

на мою планету,

тоже смотрит,
тоже — в ночь такую —
о мирах неведомых тоскует..
И конечно, там, за облаками,
где созвездья кружатся, горя,
видно,

как рождаются

моря,

созданные
нашими руками!

**АЛЕКСЕЙ
МАРКОВ**

ПЕТУХИ

Это что же такое творится:
На селе не слышать петухов?
Обжигает подушка: не спится,
Все мне чудится сказочный зов!..

Где-то вспыхнет сперва одинокий,
Словно пробный, смешной голосок,
Вслед в свои вековечные сроки —
Голосов петушиных поток.

— Спать пора! — это не для
влюбленных,

Это первые лишь петухи.
Для влюбленных — вторые спросонок
Скажут то же, чисты и тихи.

Запоют озабоченно третьи:
Пробуждаться вселенной пора.

День грядет безграничен и светел,
Открывается путь для добра!

Подолы подоткнувши, хозяйки
Белолицые к дойке спешат.
— Эй, хозяин, довольно! Вставай-ка!
Без подпорок сутулится сад!

И пастушеский рог спозаранку
Начинает побудку играть.
Только можно еще на лежанках
Без тревог детворе зоревать.

Убери свой железный будильник.
Я от стука его нездоров!
Двести верст и дождливых и пыльных
Шел я слушать родных петухов!

ИГОРЬ
КРАВЧЕНКО

ДЕЛЬФИН

На острове скалы, и влажный песок,
и острые камни, где важные чайки,
как чайники, тихо на плитах скупают
и с перьев счищают прилипший к ним сор.

На мокрую гальку отхлынувший вал,
как мелкую гайку огромной машины,
вдруг выплеснул длинное тело дельфина,
и черный дельфин между рифов застрял.

На дыхальце мелкий песок намело,
и, чувствуя крепкие камни под боком,
он хрипло дышал, умирал одиноко, —
как с морем прощаться ему тяжело.

Но шел по песку небольшой человек,
челнок свой смоленный он в бухте оставил.

Он шел босиком и казался усталым —
от солнца, от соли, от вздувшихся вен.

И вдруг он почувствовал пристальный
взгляд,
смотрели глаза, как открытая рана.
Так два человека, как равному равный,
так старшему младший вверяется брат.

И в море дельфина унес человек.
И вот, напряжив окрепшее тело,
рассек он стихию привычно и смело
и метрах в пятнадцати выпрыгнул вверх.

Ушел человек. А над пенной волной
дельфин поднимался крутою ракетой.
А чайки лениво смотрели на это
и нехотя падали в солнечный зной.

АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВ

КАНОНАДА

Говорю себе:
не надо
все, что было, вспоминать!
Беспощадно канонада
начинается опять.

Вновь себе даю я слово:
буду слушать тишину!
Только сны я вижу снова
про войну да про войну.

В час вечерний или ранний
я укрылся взаперти.
Только от воспоминаний
никуда мне не уйти.

Никуда от них не деться,
никому не передать.
Может, сыну дать в наследство,
если буду помирать?

Сын — ребенок как ребенок.
Из мальчишки выйдет толк.

Как Суворова,
с пеленок
записать бы сына в полк.

В тот, гвардейский,
тот, в котором
я в обмотках начал путь,
тот, в котором нюхал порох,
познавая жизни суть.

Где меня на плащ-палатке
выносила медсестра,
где монгольские лошадки
посильней, чем трактора.

Все, что было,
что пропето,
что во сне повторено,
хорошо бы, чтобы это
повторялось лишь в кино.

День рабочий кончив рано,
оторвись от срочных дел,
сядь подальше от экрана,
чтоб осколок не задел.

КАЗИМИР
ЛИСОВСКИЙ

ПОЛЬСКИМ ЖЕНЩИНАМ

Ранним-ранним утром в гостинице
Каблучки ваши будят меня.
Элегантные, как именинницы,
Вы спешите навстречу дня.

По старинным улицам Кракова,
Словно бабочки — по росе.
В дивной стройности — одинаковы
И различны — в своей красе.

Полукружья бровей нависли,
Взгляд веселый и озорной...
Вон у той — глаза, как у Вислы,
И, как Одер, серы — у той.

Не скрываю:
Клонясь к закату,
Я улыбки вспомню не раз
Этих карих, зеленоватых,
Этих голубоватых глаз.

Не мадонны с олтажа Ствоша,¹
Не богини Матейки,² нет,—

А земные,
с нележкой ношей
Ежедневных радостей, бед.

Что ж, заботы у вас не меньше
И не больший у вас досуг,
Чем у наших,
у русских женщин,
Чем у наших жен и подруг.

Войнам всем вопреки,
разрухам,
Видно, в кровь вашу, в плоть вошли
Родниковая ясность духа,
Гордость,
прелесть польской земли.

Мне казалось,
что древний Краков
Рукоплещет листвою вам...

Эти строки
охапкой маков
Я бросаю к вашим ногам.

ИГОРЬ
ВОЛГИН

* * *

...А когда постучится беда —
ты уходишь по древнему следу.
— Ты куда,— говорю,— ты куда?
— Я — домой. Я на родину еду.

Это так повелось на Руси,
да и быть по-иному не может,
и какая беда ни грози —
отчий дом приютит и поможет.

...Вдоль ночных затихающих рельс
я к своим возвращаюсь пенатам.
Далеко ль ты, отчизна?

— Да здесь —
в получасе ходьбы, за Арбатом.

¹ Знаменитый алтарь работы Вита Ствоша в Мариакном костеле Кракова.

² Я н М а т е й к о — великий польский художник.

Ты всего в получасе ходьбы,
в получасе ходьбы — в переулке.
Я сбегал, словно в лес по грибы,
в потайные твои закоулки.

Я твои обживал чердаки,
проходные дворы и задворки.
Я родные вздувал очаги —
керосинки твои и конфорки.

... Затихал этот шум, затихал.
И луна выплывала из тени.
И в котельной котел полыхал,
словно солнце в небесной системе.

И в снегах, голубевших мертво,
вызывая головокруженье,
мне все снилось и снилось метро —
марсианское сооруженье!

БАЛЛАДА О КРАСОТЕ

Это были счастливыцы. Те,
Которые даже
Встретились в красоте
Ленинградского Эрмитажа.
Он глядел, как толпятся вокруг
Все века и меридианы.
Но появилась она. И вдруг
Потускнели Венеры, поблекли Дианы.
А она, отмеченная судьбой,
Подняла глаза, холодея,
И узнала перед собой
Белокурого Прометея.

Слушай, время, повремени-ка.
Дрогнул голос, который необходим.
— Ты Венера?

— Нет, Вероника.

— Я искал тебя!

— Кто ты?

— Я Вадим.—

Десять дней между ними таяли
льдинки,

Привыкала к руке рука.
Они, как будто две половинки,
Друг друга искали издалека.
Им кричали воды Невы и залива,
Зеркала дворцов и все вокруг:
— Ребята, вы вместе так красивы,
Смотрите не снимайте рук! —
Десять дней просвистели. И все
умолкло,—
Не воротишь обратно, не пролетишь.
Потому что его дожидалась Волга,
Ее — Иртыш.
Десять дней — это просто первое
слово.

Остались невидимые провода.
Через месяц они увидятся снова
И на этот раз навсегда.
Он в поезде. Ляг, дружок, прикорни-ка.
От белых ночей голова в дыму.
«Вероника, Веронька, Вероника...» —
Колеса нашептывали ему.
А она летит к сибирским рябинам.
Небосвод вокруг нелюдим.
Но с каждого облака смотрит в
кабину

Вадим, Вадим, Вадим.
Ресницы, которые взгляд ее ловят,
Серых глаз удалой распах.
Теплой пшеницей нависшие брови
И детские ямочки на щеках.

Таким запомни его, Вероника.
Как назад не вернется в реке вода,
Как не втянешь в горло взлетевшего
крика,

Так его не увидишь ты никогда.
Почему никогда — разве были лживы
Глаза, и руки, и небеса?
Почему никогда, если оба живы
И вот они — адреса?

Правда, был он при смерти две недели.
Пришел в себя, не поняв, почему
Бинты ему на голову надели,
Горло повязкой сжали ему,
А до этого легкость такая и
смелость,—

И все удавалось. И вдруг этот крик...
Просто не было выхода,— загорелось,
А он был рядом, и он не старик,
А крик ребячий откуда-то сверху.
Сквозь огонь он все-таки добежал,
Схватил мальчишку, прижал к сердцу
И рухнул с третьего этажа.
Когда пришел в себя понемногу,
Шевельнул руками — их боль не жгла.
Пощупал лежащую в гипсе ногу,—
Сказали: срастется. Будет цела.
И вдруг, когда голову разоблачали
От бинтов, лежавших белым венцом,—
В очках врача он поймал вначале
То, что считалось теперь лицом.
Это может только присниться —
Кровавая маска, сплошной ожог.
Ни бровинки-пшенички, ни ресницы,
Ни ямочек на щеках, ни щек.

Он закрыл глаза и сжал зубы,
Равнодушьем дивя врачей.
А в ушах его пели весенние трубы
Ленинградских белых ночей.

Еще едва ковыляя, в гипсе,
Твердо вывел, дыханье зажав в груди:
«Прости, Вероника. Я ошибся.
Я тебя не люблю. Не жди».

Она не могла поверить такому,
Ее письма все прибавляли вес.
Почувяв беду, все бросила дома,
Примчалась к нему. А он исчез.
Люди, надо жалеть его? Нет, не надо.
Хоть гордость горька в своей наготы.

Вот на этом и кончилась баллада
О красоте.

СВЕТЛАНА
ЕВСЕЕВА

* * *

Я жду перемен. Но не всяких.
Я ради того и терплю.
Когда-нибудь в цинковом баке
Вечерний сугроб растоплю.

Чтобы, окончив пробежку,
Ноги с дороги обмыть.
Когда-то успею, помешкав,
Любимой воистину быть.

Любовь глубоко и строго
Запрятана во плоти.

Когда-то узнаю, что скоро
Опять половина пути.

А главные все интересы
Снова и снова — потом.
До самого спелого леса
Успею добраться пешком.

В краю домотканых полотен
В стаканы налить молоко.

Какой все устойчивый полдень!
До ночи еще далеко!

ЮРИЙ
КОРИНЕЦ

* * *

Больной девчонке
Хочется смородины,
Слепому — света,
Эмигранту — родины...
У каждого свои
Печаль и муки:
Один безликий,
А другой безрукий,
Один весь век в углу,
В плену стола,
Другой всю жизнь
Без своего угла,
Без сердца этот,
Тот вон — без ума...
О, сколько в мире горя —
Тьма и тьма!

Печалются одни,
Что высоки,
А маленькие встали на носки —
В толпе малюткам
Ничего не видно.
И тем и этим
До слезы обидно.

Стесняются подруг своих
Мальчишки,

И плачет женщина —
Толсты у ней лодыжки...

О сколько бед,
Трагичных и смешных!
Их столько,
Сколько близких
И родных,
Печали есть в предметах
И в домах,
И в самолетах в небе,
И в умах.
Как утолить,
Как убедить печали,
Чтобы они навеки замолчали?
В лес увести бы
Пленника стола
И угол дать тому,
Кто без угла,
Дать ум безумному,
И сердце дать
Жестокому,
И целый мир в подарок
Одинокому,
Чтобы здоровой
Девочка проснулась
И чтобы горе
Счастьем обернулось.

ЛЕОНИД
РЕШЕТНИКОВ

УРЖУМСКАЯ СТОРОНА

Вот — Волга.
Вот, качая облаками,
Выходит Кама из-за синь-лесов.
Вот Вятка поворачивает к Каме,
Течет сквозь рощу птичьих голосов.

А вот,
В лугах петляя то и дело,
Бежит Уржумка —
Отблески видны
Ее волны.
Вот здесь лежат пределы
Моей родной уржумской стороны.

Налево — пашни и луга. Направо —
Луга и пашни снова.

И вдали —
Шеломы скирд,
Как стражи на заставах
По граням охраняемой земли.

Ах, край родной, единственный
на свете —
Поля да рощи, ельники да рожь, —
Поэтами покуда не воспетый,
Ты сам поешь:
Ты сам себе хорош.

И пусть иных краев ты не богаче,
Пускай не краше их,
Зато — родней,
Как мать,
Что обо мне поет и плачет,
Хоть я давным-давно уже не с ней.

ЮРИЙ
АДРИАНОВ

* * *

...Над тундряными мшистыми буграми

Густая гарь туманами лилась;
Здесь, в Пустозерске, бушевало пламя,
Здесь, в Пустозерске, выжигали
страсть.

Страсть ненависти,
Жизни,
Страсть порыва...
Злость прорывалась
гноистым нарывом,

Злость улыбалась,
Рукавицы сняв,
Злость согревалась около огня...

И, точно птица,
Глаз тарацил нищий.

А из огня,
Огромна как верста,
Сквозь дым тянулась
длинная ручища,
Сложив непокоренно два перста...

Собаки, шерсть взъерошив,
Жались к чумам.

И видела столпившаяся мразь:
С горящего седого Аввакума
Горячею смолой стекала страсть.

Она текла...
И нет уже покоя!

...Набат встревожил
Утреннюю рань.
Нет,
надоели слабые герои,
Прозрачные, как сношенная ткань!
Хочу друзей,
чтоб кровь кипела в венах,
Хочу врагов,
чтоб из груди взвилась,

Бушующе,
Как пламя из мартена —
Страсть!
Страсть к женщине,
Страсть к жизни,
Страсть к эпохе,
Страсть ко своей упрямой правоте,
Чтоб над планетой билось,
как сполохи,

Написанное вами житие,
Чтоб, рамы вышивая,
как весною,
К тебе врывались свежие ветра...

Проспекты...
Ночь...
А мир кипит смолою
На острие бессонного пера.

ЮРИЙ
ОКУНЕВ

* * *

Л. К.

Сбыться счастьем тогда лишь земному всему,
Если двое придут вдруг к пути одному.

Для двоих сень лесов, шалашей и квартир.
От двоих, от их встречи зависит весь мир.

Почему ж ополчается мир против них?
Уготовил он тысячи бед для двоих.

И века продолжается эта война,
Чтоб скорее расстались бы он и она.

ДЖУБАН
МУЛДАГАЛИЕВ

АЛМААТИНКА

По горным склонам извиваясь шало,
Крутой разбег беря издалика,
Сады, цветы и травы орошая,
Прекрасна эта бурная река.

С уступа на уступ дорогой старой
Под стать тэкс¹ она стремится вдаль.
Ее вода от бешеных ударов
Дробится на осколки, как хрусталь.

Взлетают к небу брызги то и дело
И опадают росами, легки,
На гибкое, на скрученное тело
В каньоне негодующей реки.

Ее прохлада — как прохлада леса.
Воды вкусней и чище в мире нет.
Недаром многочисленные ГЭСы,
Борясь с рекою, излучают свет.

Когда снега покоятся устало,
Ветра на рысь готовы перейти.
А если дрогнут подо льдами скалы —
Сметает сель² преграды на пути!..

Поток свирепо выгибает спину,
Послушен только буйству одному.

¹ Тэкс — горный козел.

² Сель — поток камней и грязи.

Это свет и добро — если двое вдвоем.
И когда их нечаянно мы застаем,

Выволакивать тайну не надо на свет.
Пусть обсудят их птицы, смутит их рассвет.

Им друг другу в глаза все смотреть и
смотреть.
Когда двое вдвоем, не страшна даже смерть.

Я стою на своем, я стою на своем,
Я хочу, чтобы двое остались вдвоем.

Это честь — не соваться в святая святых.
Никого не касается тайна двоих.

Но чаще, право, мирные картины
Здесь открывались сердцу моему.

Река мне пела песенку простую,
Душой следил я час и два подряд,
Как пенятся стремительные струи
И словно бы шампанское шипят.

Но горы принимают в ней участие.
Она без них, подобно сотням рек,
Лишилась и порыва бы и страсти,
Как робкий и безвольный человек.

Порыв — ее талант. Не потому ли
Она, с уступа на уступ летя,
Порочна в необузданном разгуле
И все-таки невинна, как дитя.

Вот, от нее пути продолжив ярко,
Арыки многочисленной гурьбой
Переплелись, как будто ветви яблонь,
Как линии ладони трудовой,

Как мужества солдатского морщинки...
Так будь всегда задорна и легка,
Моя любовь, моя Алмаатинка,
Прекрасная рабочая река.

Перевел с казахского Владимир Савельев

ВЛАДИМИР
КУЛАГИН

РОДОСЛОВНАЯ

Был мой род
 не из редких,
Не с фамильным гербом —
Родословную
 предки
Не писали
 пером.
Чарку выпив
 да бойко
Подпоясав кушак,
Родословную
 тройкой
Прадед врезал
 в большак.

В чистом поле
 с натугой,
Чуть займется рассвет,
Родословную
 плугом
В землю впахивал
 дед.
Ночью мартовской
 в Пскове
В грудь ударил свинец —
Родословную
 кровью
Дописал
 мой отец.

АНАТОЛИЙ
ПОПЕРЕЧНЫЙ

МУЖЕСТВО

Мужают дерево и дух.
Рука и молния мужают.
Рука сажает этот дуб,
А молния его сжигает.

И, постигая зримо суть
Таких естественных явлений,
Ты над собой свершаешь суд,
Судьбой не признанный, как гений.

И, забывая, как мальцом
Ты целил в небо из рогатки,
Сегодня с молнией, бойцом,
Готовишься к смертельной схватке.

И за плечом встает не мать,
А женщина — твоя порука, —
Что так умеет отнимать
Нас от привычного нам круга.

Но это все ведет к тому,
Что, словно тяжкая забота,
Приходит главная РАБОТА,
Приходит мужество
В дыму
И в яром грохоте Урала,
В сибирском отсвете огней.
И сила скрытая урана
Заклучена в душе твоей.

Мужчина,
В мире ты, мужчина, —
Защитник слабых
И заслон
Деревьев нежных,
В сердцевину
Которых не войдет огонь.

И потому,
Солнцепоклонник,
Ты в грозной схватке, отрешен,
Или бессмертен, как садовник,
Или, как дерево, сожжен.

ЭПИГРАММЫ И ПАРОДИИ

И. ИГИНА



Александр Межиров

ПЕРЕФОРМИРОВКА

Почти вот так же ландыши цвели,
когда, минуя Невскую Дубровку,
меня комбаты хмурые вели
в глубокий тыл
на переформировку.

Там зампотехи¹ встретили меня,
шагавшего вдоль Невского проспекта,
спеша решить
еще к исходу дня
проблему моего боекомплекта.

Потом в теплушке,
сидя на полу,
я по стене размазывал варенье.
Кончалось детство.
Ротный спал в углу,
не зная про мое стихотворенье.

В. ЛИФШИЦ

¹ З а м п о т е х — заместитель командира по технической части.

Борис Слуцкий

СЛОВО О ВЕДЬМЕ

Дело в том, что есть такая книжица.
А. С. Пушкин. Ах, талантлив, бес!
Мчатся тучи, вьются тучи, движутся,
а движение — прогресс.

Перемены отмечает муза —
я не тот и сам уж.
Ведьма стала членом профсоюза,
вышла замуж.

Фотография ее — как надо! —
на Доске почета.
Муж ее сидит в отделе кадров —
и. о. черта.

Ведьму уважают.
— Здрасьте! —
говорит ей даже парикмахер.
Кое-кто острит: кассирша в кассе,
дескать, шахер-махер...

Но отчетность у нее в ажуре,
дебет-кредит.
Ежели кто скажет: ведьма — жулик,
значит, бредит.



АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

СТРЕЛЬБЫ

А стрельбы начинались рано.
Осматривая полигон,
согнувшийся над панорамой
сержант командовал: «Огонь!»

Вдали за полем кукурузным
снаряды падали в песок,
и небо выползло грузно
из дыма за куском кусок.

По-над листвой темно-зеленой
оно так медленно ползло...

Потом колонной пропыленной
мы шли домой через село.

Мы по четыре в ряд шагали,
несли мишени на руках.
Нам вслед платочками махали
девчонки в клетчатых платках.

А мы на них глаза косили,
и улыбался старшина...
А впереди была Россия,
и позади была она.

ИЛЬЯ
ФАЛИКОВ

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

А кто-то ведь возится, нянчится с нами,
хоть нам по летам не положено нянь.
Российские женщины — вечные

няни —
без просьбы и сами являются нам.
Вот я — проживаю в таежном селенье.
Хандрит моя печка. И мне, бормоча,
соседка приносит сухие поленья
и так, заодно уже, — миску борща.
Татьяна Ивановна печь мою хает
и охает, долю жалей мою.
А я объясняю, что тяга плохая,
неважная тяга, — я ей говорю.

За хатой моею лежит долина.
За хатой моею шумит зима.
О, как судьба моя неотделима
от этих безлюдных ночей села!
Кладу я под голову вместо подушки
порядком избитый кирзовый сапог...
А утром снова стучится старушка:
— Тебе не холодно было, сынок?
— Нисколько, ничуть, Татьяна
Ивановна.

И что вы волнуетесь? Все хорошо!..

Долину пронзает заря разлитая.
Я в лыжи вхожу, надеваю ружье,
в тайгу подаю. Такая погода!
Тайга целомудренна и тиха.

Счастливой охоты! А мне неохота
отнять у тебя ни хвоинки, тайга.
Земля все заснеженной и покатей.
Я мчу без разбору, сквозь бор,
напрямик!..

Обмякший, как снег, возвращаюсь я
к хате,
к которой, как к молодости, привык.
А в хате поленья трещат, полыхая.
А в хате, в бирючьей берлоге моей,
хлопочет старушка, такая родная,
хотя мы знакомы четырнадцать дней.
Душистой овчиной покрылись
полаты —
упасть бы и спать бы без задних без
ног!

А в хате безудержно пахнут олады
и щедрыми щами шумит чугунок.
И что мне сказать? Копошусь над
дровами,
и все благодарности вязнут во рту...

Я в жизни затем-то и бьюсь над
словами,
чтоб как-то
отблагодарить
доброту.

Идут снегопады. Пронесются сани.
Колодцы скрипят. Пар струится из
бань.
Седеют над нами российские няни,
хоть нам по летам не положено нянь.

ИЛЬЯ
ФОНЯКОВ

**ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ
В АКАДЕМИЧЕСКОМ ГОРОДКЕ
ПОД НОВОСИБИРСКОМ**

Масленица в городке
Обособленном, научном!
Расстегаи на лотке
С прочим, штучным и не штучным

Харчем: сушки, пиво, квас
И блины — отнюдь не комом...
Это комсомол с месткомом
Все придумали для вас.

Разрядитесь, отдохните,
Изошренные умы,
Полюбите, оцените
Праздник Проводов Зимы!

Праздник — с шумом, с чудесами,
Без докладов и цитат.
Тройки в лентах, с бубенцами
Мимо Ядерной летят.

Перепутаны эпохи,
Всех столетий бродит люд,
С балалайкой скоморохи
Стих про физиков поют.

Рядом — клетка, в клетке — тетя.
Если ближе подойдете,
Вам удастся рассмотреть:
Кроме тети есть медведь.

Он откуплен в зоопарке,
Он — в отчаянной запарке:
Шуба зимняя жарка!

А весна — совсем близка,
И, вконец разгоряченный,
Взрослых дядек растолкав,
Юный будущий ученый
Тянет папу за рукав:
«Папочка, пойдем скорее, я хочу
посмотреть, как лошадь будет есть
сено!»

НИКОЛАЙ
ФЛЕРОВ

* * *

Я отыскал твою могилу.
Она была и не была.
А рядом город с детства милый
Кричал, разрушенный дотла.

Кричал высокими печами,
Железом сорванных перил.
И только ангелы молчали
Над бронзой сбитых взрывом крыл.

А я стоял у дум во власти,
Не постигая одного —
Что ты и мертвый был причастен
Ко славе города всего.



5

ВОСПОМИНАНИЯ.

ПИСЬМА.

ПУБЛИКАЦИИ.

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

ИРИНА БРАЗУЛЬ

АЛЕКСАНДР ИСБАХ

СЕМЕН ГУШАНСКИЙ

ЯКОВ ШВЕДОВ

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

АЛЕКСАНДР ЛЕСС

КАЙСЫН КУЛИЕВ

ДМИТРИЙ КЕДРИН

ПАВЕЛ ЖЕЛЕЗНОВ

ВЛАДИМИР ЖУКОВ

ЭМИЛИЙ МИНДЛИН



Фрагмент гравюры художника П. Я. ПАВЛИНОВА

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

В 1968 году Валерию Брюсову исполняется девяносто пять лет,— чуть ли не целый век русской и мировой истории. Перед глазами возникает воздушная перспектива времени. А если при этом вспомнить, что Валерий Брюсов был одним из первых деятелей старой русской интеллигенции, которые после Октября открыто и смело встали на сторону победившего рабочего класса России, тогда воздушная перспектива времени еще больше проясняется в отношении Брюсова, его личность и его историческая судьба вырастают в своей поучительности, интерес к нему углубляется.

Мне странно и как-то страшновато вспоминать о том, что в 1920 году, когда я впервые увидел и узнал Валерия Яковлевича, он был на целых пять лет моложе сегодняшнего Константина Симонова. А мне, робко входившему в поэзию дебютанту, Брюсов представлялся не только высокочтимым мастером и метром, но и стариком! Между тем ему было всего сорок семь лет...

«Кафе поэтов» — странное, подозрительное, мало кому нужное заведение на Тверской (ныне улица Горького). Еды в нем никакой, разве только чай с сахарином, пироги с морковью, да еще черный, как деготь, кофе, смолотый из пережженных зерен ячменя или бобов. От него всю ночь першит в горле. Может быть, и забредет сюда случайно приезжий командированный, которому некуда деваться, да в полутемном углу сверкнет глазами в синих бессонных кругах чекист в черной кожанке.

Здесь по вечерам собираются поэты, их мало, все, как на грех, неизвестные, еще нигде не печатавшиеся. Они опасливо дружат друг с другом. Их высокий покровитель готов с первого же раза честно влюбиться в каждое едва проявившееся дарование,— делает он это безотказно, иступленно, с полной отдачей себя, своего времени, своих знаний. Это Валерий Брюсов.

Мои школьные годы прошли под знаком его поэзии, его стиховой и общей культуры, его ритмов и словаря,— отточенного и на славу отчеканенного блеска. И если впоследствии, к 1920 году, этот блеск сильно потускнел,— все равно мне хочется помянуть добрым словом этого замечательного человека.

Пускай возможно яснее, рельефнее и реальнее возникнет на этих страницах образ стройного, сухощавого, подтянутого поэта — с движениями быстрыми и резкими, с бородкой и усами, уже далеко не черными, как на знаменитом портрете Врубеля, но серебряными, с глазами, как будто подведенными по-цыгански черным углем. Артистична была его старомодная вежливость, его бодрствующая готовность помочь, растолковать, внимательно вникнуть в нового человека. Артистична грандиозная памятьливость на любые чужие стихи, от римских классиков до Пастернака. Артистичен талант пропагандиста, способность и желание увлекать других всем, что ему казалось достойным увлечения.

Брюсов ловко и цепко берется за спинку стула и вместо того, чтобы сесть,— молниеносно бросает его под себя и оседлывает, как конька. Он смеется, картавит, говорит отрывисто, задорно, как будто лает. Это лай восторженный, с визгливым подъемом вверх в конце каждой рулады. Так встречает хозяйку молодой ласковый сеттер. Брюсов уже далеко не молод, зато хозяйка у него вечно молодая — ПОЭЗИЯ! Он читает русские, латинские, французские стихи, читает Ломоносова, Баратынского, Вергилия, наконец самого себя. Когда читает себя, у него появляются какие-то иллюстративные жесты... если в стихах упомянут треножник, он обязательно покажет растопыренными пальцами, что треножник стоит на полу, что он низенький; если на треножнике курится благовоние, он обозначит указательным пальцем винтообразный дымок; прочертит в воздухе абрис пистолета, бокала, дракончика...

Он вонзается в чужие стихи острейшим анализом,— крайне деликатно и в то же время безжалостно. Все понимает на слух, сразу отмечает достоинства и недостатки,— предпочтительнее — формальные, технические, внешние. Он абсолютно щедр:

— Выступать? Пожалуйста, сегодня же! Печатать? В ближайшем номере...

Вся деятельность Валерия Брюсова, весь его недюжинный темперамент и бесспорный авторитет направлены в одну сторону — на служение русской поэзии. Конечно, это для него уже далеко не ТРЕТЬЯ СТРАЖА (*tertia vigilia*), а самое меньшее — Тридцать Третья, но преданность делу берет верх над возрастом, над усталостью, привычкой, над

многим иным, что окружало его и мешало его работе.

Отсюда — пристальное внимание к молодым и особенно — к самым молодым. Брюсов любил «открывать» молодых поэтов, как моряки открывают острова. Для Брюсова в этом деле азарт большой игры. Недаром он с таким задором (и едва ли слишком серьезно!) тут же распределял молодых по им же самим выдуманным направлениям и школам, вроде «неоклассицизма», «неоромантизма», «неосимволизма», даже «неофутуризм» фигурировал у него. Спасительная приставка «нео» ничего не означала. Эти странные обозначения вышли из головы Валерия Яковлевича, как Афина Паллада из головы Зевеса, в полном вооружении, но без большой надобности. Сознаюсь, что попал в те годы и в «неоклассицизм» и в «неоромантику» и еще куда-то, но так и не понял, почему и как. Все это очень скоро схлынуло бесследно.

А Брюсов, старый тигр, понаторелый в поэтических битвах начала века, натаскивал на такие же точно игры новорожденных тигрят. Потребностью Брюсова было — заново создать группы и течения, завязать между ними борьбу и принять в ней участие на правах верховного арбитра. Он обожал кипение страстей вокруг поэзии, — может быть, не меньше, чем ее самое!

Надо ли осуждать за это старого поэта? Никогда! Он давал молодежи своеобразную закалку хотя бы для устных выступлений. А устные выступления были тогда чуть ли не важнейшей частью литературного процесса. Вся наша поэзия оставалась исключительно устной, произносимой вслух с трибуны или эстрады, — с таким трудом налаживалось книгопечатное дело.

И вот — аудитория Политехнического музея в Москве, так хорошо знакомая сегодня москвичам. Она такая же, как сегодня, с амфитеатром, круто взбегающим вверх, только без балкона, надстроенного позже. Народу уйма, гораздо больше, чем вмещает аудитория, — полинялые гимнастерки, костыли, руки на белой повязке через плечо, кожаные куртки, старые пальто, которые никто не сдаст на вешалку, — такого признака цивилизации еще не существовало в начале двадцатых годов. Да и мы, выступающие, не снимаем верхней одежды, а шапки, кепки и фуражки скидываем, выйдя на трибуну. Зато председатель — Валерий Брюсов — в самом что ни на есть чопорном длинном черном сюртуке и в крахмале, подпирающем великолепно посаженную голову. Отрывистым, высоким, хорошо натренированным для публичных вы-

ступлений голосом он приглашает одного за другим поэтов на трибуну. Эти приглашения звучат, как морская команда с капитанского, а то и адмиральского мостика! Скорее же всего Брюсов работает, как бывалый морской волк, кровожадный пират:

— Вячеслав Ковалевский — рвать канаты!

— Сергей Буданцев — на abordаж!

— Вадим Шершеневич — огонь с левого борта!

От председателя идет заразительная бодрость и самообладание веселого дрессировщика. Он так и рыщет пронзительными черными глазами, — где же это, в каком именно ряду прячется объект для его дрессировки?

Брюсов был благородным учителем мастерства, уверенности в своих силах, товарищества, взаимной поддержки. Он был бескорыстным гувернером и дядькой:

И с ними дядька их морской!

Никого, сколько-нибудь равного Брюсову в этом отношении, я никогда в жизни не встречал. Впоследствии мы сами, я и мои сверстники, вложили изрядную долю страсти, если не умения, в дело воспитания молодых поэтов. Это были Багрицкий, Тихонов, Луговской, кое-кто еще. Но нам было значительно легче. Нас поддерживала организованная общественность, ее формы, привычные для советского общества, будь то семинар в Литературном институте, кружок молодежи при издательстве или журнале, объединение молодежи при прославленном заводе и так далее. А Валерий Брюсов делал новое и непривычное в новых и непривычных условиях, которые сам же на ходу и создавал, а то и попросту на уличном перекрестке, от которого мало отличалось пресловутое «Кафе поэтов».

В 1923 году, поздравляя Валерия Брюсова в день его пятидесятилетия, Борис Пастернак спрашивал юбиляра и самого себя: «что мне сказать?» — и тут же утвердил свои тезисы:

...Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настезь в город дверь открыли...
Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом детской дисциплины...
Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили!

Это были хорошие и хорошо взвешенные слова. Именно такие и были нужны на торжественном вечере. Недаром Пастернак

вспомнил о том, как освежил само понятие гражданской поэзии Валерий Брюсов. Недаром он благодарил за дисциплину, воспринятую от Брюсова и через него. **ЛИНЕЙКОЙ НАС НЕ УМИРАТЬ УЧИЛИ!** Эта форма выражает главное в стойком, порою и незаметном вли-

янии Брюсова на множество разветвлений русской поэзии и самой науки о ней, на литературоведение. Вспомним о том, что в старой школе линейка служила не только для черчения, но и для наказания нерадивых лодырей¹.

ИРИНА БРАЗУЛЬ

ДОМА И НА БИВАКЕ²

Каждый, кто входит в Кремлевский дворец съездов через Троицкие ворота, сразу видит небольшую, идущую направо улочку. Но не каждый знает, что первое время после переезда в Москву Советского правительства единственными открытыми воротами были именно Троицкие, что эта короткая, узкая улочка была едва ли не самой оживленной.

В 1918 году, если не считать части, отрезанной под новый Дворец съездов, она выглядела почти так же, как сейчас. Только теперь тут редко виден прохожий, а тогда в Кавалерском корпусе была первая квартира Ленина. Здесь же поселились Бонч-Бруевич, Сталин, Ольминский и многие другие. Тут разместилась первая столовая Совнаркома, в которой так же, как по всей России, бережно подбирали каждую крошку хлеба.

Напротив в другом здании жили Ногин, Смидович, а всю эту улочку замыкает галерея бывшего царского зимнего сада. Под ее сводами чаще всего проходил в свою квартиру Свердлов. Свернет налево, к двери дворцового фасада, — и дома. Первый этаж. Под самыми сводами приютилась другая дверь. Если пройти через нее и подняться на третий этаж, можно попасть в большой, светлый коридор, названный когда-то кем-то «Белым». Тут жили первый нарком юстиции Курский, Ворошилов, Демьян Бедный и другие питерские новоселы.

Несмотря на то что Кремль, особенно в этой его части, с тех пор мало изменился, он тогда выглядел совершенно иначе: хмурый,

¹ Отрывок из вступительной статьи к первому тому Собрания сочинений Валерия Брюсова, выходящего в издательстве «Художественная литература».

² Сокращенная глава из книги «Демьян Бедный», готовящейся к печати в серии «ЖЗЛ» (издательство «Молодая гвардия»).

полный грязи, зияющий мрачными провалами выгоревших окон, щербатыми, закопченными стенами...

Близилось первое послеоктябрьское Первое мая. Свердлов сказал, что Кремль надо украсить. А кругом из-под оттаявших сугробов вылезли и битый кирпич, и лохмотья, от- репья, обломки, стекла.

В канун праздника исчезла вся кремлевская хмурость. Кутафья башня целиком в ку- маче. Стяги живым коридором трепещут на мосту, под которым когда-то ютились воры. На Троицкой башне даже панно: взлетел, развернув мощные крылья, красный ангел.

Все готово к назначенной на одиннадцать часов демонстрации. В начале десятого Владимир Ильич вместе с членами ВЦИК уже на стороне пункта перед зданием Судебных установлений. Настроение, видно, хорошее. Шутит, смеется. Впереди — пятичасовая демонстрация московского пролетариата, митинг, а после — встреча в самом Кремле латышских стрелков и сотрудников, на которой выступят и Ленин и Свердлов. Это будет всем праздникам праздник!..

Но: англичане в Архангельске, японцы во Владивостоке. А в апреле чехословацкий корпус занял позиции на Волге, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. И первомайская «Правда» не только поздравляла своих читателей с праздником, а и предупреждала: «Товарищи, мы — в огненном кольце!» Даже Демьян Бедный оставил обычные шутки. Двадцать пять строк его призыва гремели набатом: «Судьбою нам дано лишь два исхода: иль победить, иль честно пасть в бою».

Демонстранты махали флажками и све- жим номером «Правды». Солдаты московских полков, молодежь, рабочие и дети вразнобой, перебивая друг друга, пели: «Смело мы в бой пойдем...», «Это есть наш последний...»

Праздник прошел отлично. Начались буд-

ни. А что такое будни для Демьяна Бедного? Ежедневная работа с народом: с крестьянином, который может либо спрятать хлеб, либо отдать его; может защищать новую власть, а может и спрятаться или уйти к врагу. Демьян видит фронт в глубоких тылах. Оттуда он ждет резервов. Он должен оторвать мужика от попа, кулака, привычного начальства — белогвардейского офицера.

Он должен поддерживать голодающего рабочего, доброй шуткой поднять дух красноармейца. И страницы газет ежедневно заполняются хлесткими разоблачениями кулаков, попов, меньшевиков, интервентов. Это делается с такой убежденностью и силой, что стихи Демьяна совершенно естественно сравниваются с метко бьющими по цели снарядами.

Положение все тяжелее. За весну и лето: эсеровский мятеж в Москве, белогвардейские в Ярославле, Рыбинске, Муроме. Наступление белочехов в богатейших губерниях. Вырваны из рук большевиков десятки городов средней России. Началась оккупация Закавказья. Германские войска, захватив Прибалтику, Белоруссию и Украину, продвинулись в Донскую область и Крым. Отошло к врагам все побережье Черного моря. На Белом взят Архангельск. «Огненное кольцо» сжимается. А Демьян верен себе. Недаром друзья говорят, что в Кремле кроме Царь-колокола и Царь-пушки появилась и Царь-шутка. Достается и тем же друзьям: «Вот, братцы, я как-то уж есть, мужик и сверху и с изнанки, с отцом родным беседа вестя я не могу без перебранки». Даже «Мой политический обзор» он начинает с шутки, на этот раз, правда, дружеской:

В тяжелый час, друзья мои,
Весьма полезно на минутку,
Забыв стекловские статьи,
Прочтесть демьяновскую шутку.

...Власть посмеявшись над мудренными педеровицами редактора «Известий» Стеклова, вполне развеселив читателя, Демьян, насколько не заботясь о резкости перехода, призывает:

Освобождайте же Урал:
Путь чрез него — на Украину.
Пусть рухнет первая стена,
За ней падет вторая, третья...
Как даль зловеще ни темна,
Мы — на исходе лихолетья!
Он близок — праздник мировой,—
Осталось ждать нам дни, не годы.
Храните ж с верою живой
В своей груди огонь свободы!..

Казалось, не было политических обстоятельств, фронтовых неудач, которые обескуражили бы его. Таков же он и в быту, хотя поначалу у него в Кремле и вовсе не было никакого быта. Наскоро пристроил несколько пачек книг, повесил карту, поставил на стол ленинский портрет.

У него в доме всегда полно народу. Друзья, знакомые, просто зашедшие на минутку, узнать новости или отдохнуть, послушать рассказы Демьяна о встречах, которые он выкладывает так мастерски, что даже актеры ахают. Иногда из-за дверей его кабинета раздается такой оглушительный хохот, что Владимир Ильич задерживается на пороге: не хочет помешать: пусть отсмеются!

...С наступлением на Казань натиск Красной Армии нарастал по всему Поволжью. Большинство вновь сформированных дивизий направлено на ставший в те дни главным Восточный фронт. Надо было поспеть всюду. Совершенно случайно в бумагах Демьяна Бедного сохранился интересный документ. Это «экстренный отзыв» от коменданта станции Арзамас начальнику этой станции за № 197. Дата — 9 сентября 1918 года. Текст: «Прошу принять для перевозки тов. в числе одного чел. со станции Арзамас до станции Свияжск...»

«Принятый для перевозки» один «челов.» с суровым простым лицом солдата и метким взглядом артиллериста появляется в те дни в Хвалынске, под Самарой, Николаевском-Уральским. Его бы и приняли за солдата, но он в кожаной фуражке со звездой да кожаной куртке. Это новый комиссар — решают по первому впечатлению в частях.

10 сентября взята Казань. В первом же номере походного листка «На биваке», вышедшего того же 10-го числа, Демьян приветствует бойцов: «Товарищи! С победой! Отдохнем за беседой. Часок отдохнем и дальше махнем».

Один походный листок за другим — и в каждом он беседует с бойцами. Здесь он в своей стихии. Демьяну любо посидеть у бивачного костра, покурить, потолковать: есть о чем порасспросить и самому рассказать. А иногда оглядится, задумается и видит:

Необозримая равнина.
Далекый оклик журавлей.
Стальная серая щетина
Промокших скошенных полей.
Деревня. Серые избышки.
Кладбище. Церковка, пред ней
Повозки, кони, ружья, пушки,
Снаряды, люди у огней.

.

«Слышал?» —
«Слышал!» —
«Добьем, известно!» —
«Вперед нас, гадина, не тронь!»
Глаза простые смотрят честно.
Трещит приветливо огонь.

А огонь на биваке не всегда приветлив. Всякое бывает. Чапаевцы взяли Пугачев. Вроде есть небольшая передышка. Еще вечером варили уху, угощали Демьяна. Все было тихо. Но как ярился Чапаев, хватившись Демьяна, когда вспыхнула перестрелка: откуда ни возьмись белоказачий огонь из рощи по передовым окопам. Почему Демьян оказался там? Кто велел? — напускается на своих Василий Иванович. И ординарцу:

— Коня!

Чапаев соскочил в окоп, когда огонь уже был подавлен. А его гость объяснил свое пребывание тут по-деловому:

— Поручение Реввоенсовета — надо было вручить часы бойцам. — Вечерком за разговором он выяснил, кто отличился при взятии Пугачева... А хорошие бойцы известно где... — Так как же? — испытующе смотрел Демьян на комбрига. — Вызывать мне их из окопов в избы, что ли?

Говорят, легендарный герой тогда отступил перед поэтом. А поэт, отсалютовав вскоре взятой Самаре, уже в другой части.

Годом позже он еще короче отделается от взбучки Буденного.

— Какой дьявол носит тебя ночью по такой погоде! Кругом враг! — встретит его Буденный, когда промокший до костей Демьян доберется на тачанке до одиннадцатой кавалерийской дивизии на станцию Здолбуново.

— Я и так Бедный, а ты еще ругаешься, — ответит Демьян. — Как с утра пробраться в соседнюю армию? Что оставить бойцам на страничке газеты, чтобы им было что почитать, да и покурить?

Никто никогда ни в ту пору, ни позже не подсчитал, сколько месяцев в году Демьян Бедный бывал дома, а сколько на фронтах. Даже не все фронтовые стихи его известны... Никто не оставил воспоминаний о том, как они работали. А ведь Демьяну предстоит еще написать знаменитый «Манифест барона фон Врангеля». В один присест. В вагоне Фрунзе. И всегда сдержанный Фрунзе — первый слушатель «Манифеста» — будет громко хохотать, чтобы после, отдавая приказ к наступлению, сказать Демьяновы слова: «Я нашинаю».

Впереди еще две волны тяжелых наступлений врага. Демьяну кочевать еще долго. Еще будут написаны частушки для напуган-

ных никогда не виданными чудящими-танками бойцов, которые превратят страх в смех над «танькой». Но все это еще впереди. А сейчас главный фронт — Восточный. И от Демьяна требуется ежедневная, ежечасная работа, участие в деле. Надо создать марш, боевую песню для своих. Надо как следует поговорить еще и с теми, кто воюет на другой стороне. И после красноармейских маршей он обращается к «Обманутым братьям в белогвардейские окопы»: «Что ж? Идите! Мы к встрече готовы! Эй, скажите нам, кто вы? Эй, вы, идущие против рабочей Москвы! Откройте глаза, посмотрите вокруг: где враг ваш? где друг?»

Демьян не всегда резко обращается к тем, кто воюет на вражеской стороне. Уговорчиво, почти ласково говорит он «Братьям казакам»:

Это я — тут с вами рядом, —
Вас окинув братским взглядом,
С вами братски речь веду,
Как нам снова жить в ладу.
Знаю весь я ваш порядок:
С вами вместе пас лошадок,
Вместе бегал по задам,
По помещичьим садам,
Вместе с вами в хороводе
Пел я песни о народе,
О судьбе его лихой.
Я ль советчик вам плохой?

Душевно беседуя с донцами и кубанцами, он делает искреннее признание о самом себе: «...Тоже долго был холопом, темным парнем, остолопом, лоб расшиб о сотни пней, до того, как стал умней...»

И снова «гудит-ревет аэроплан», летят демьяновские листовки. Как было известно командованию Красной Армии да и противной стороне, они производили действие, стоящее боевых усилий нескольких воинских частей.

Сам же Демьян, вернувшись в Москву, в свою очередь испытывает на себе огромную силу воздействия бивачной жизни. Когда он садится за письменный стол, он видит себя под Казанью или Самарой. Видит простые глаза, что смотрят честно. Слышит историю старика, про которого Чапаев говорит, улыбаясь в усы: «Вот замечательный был дедуля! Уж это наш дед», — и к первой годовщине Октября выходит плакат про деда. Тут рассказана история встретившегося Чапаеву в селе Большая Таволожка старика. Он сетовал: «Худ, голоден, оборван. Всю жизнь работал. А и лаптей не нажил!» — «Иди, — ответил ему Василий Иванович, — к большевикам, в комитет бедноты. И накормят и пособят».

Демьян пишет, как было дело:

Прохожему утром — обновка,
Одет с головы и до ног:
Рубаха, штаны и поддевка,
Тулуп, пара добрых сапог.
«Бери! не стесняйся! Чего там!
Бог вспомнил про нас, бедняков.
Была тут на днях живоглотам
Ревизия их сундуков».

Демьян крепко запомнил, что сказал в ответ старик:

— Семьдесят лет ходил по земле, а уж сколько обошел, один только бог знает. И наконец-то все-таки дошел до этого места...

Стихи точно так и называются: «До этого места». Доподлинны и слова благодарности:

Надевши тулуп без заплатки,
Вздохнул прослезившийся дед:
«До этого места, ребята,
Я шел ровно семьдесят лет».

...Знаменитые «Проводы» Демьяна Бедного написаны по прямому заказу Владимира Ильича. Ни один духовой оркестр не мог перекрыть задорное «А куда ты, паренек...». Песня не сходила с уст и в армии и в тылу. Она звучала долгие-долгие годы после гражданской войны на мирных демонстрациях, семейных торжествах. Пели старики и пионеры — люди всей «Расеи».

Радостно, наверное, было поэту убедиться, что ему удалось выполнить ленинский заказ. И, рассказывая о своем разговоре с Владимиром Ильичем, он итожил: «Вот какую идею базу имела моя фронтовая агитация».

АЛЕКСАНДР ИСБАХ

«ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕЛИКАНА»

(К истории одного стихотворения Дмитрия Фурманова)

В 1915 году на Юго-Западном фронте брат милосердия Дмитрий Фурманов все более сближается с солдатской массой. Он чаще бывает в окопах, в непосредственной близости от поля боя. Ожидание чего-то большого, значительного, решающего исход войны все более охватывает его. Ведь именно здесь, а не на том турецком фронте, где он провел несколько месяцев, основной противник — австрийцы и немцы.

«Это новое чувство, новое ощущение близости боя захватило меня всецело. Сердце колотится, словно ждет чего-то. Сюда стягиваются наши силы, предполагается подвести корпус не сегодня-завтра и начать наступление, пока австрийские силы не пополнены германскими».

....Тяжелые, кровопролитные бои на реке Стыри и под Сарнами. Сплошной поток раненых. Бесперывная круглосуточная работа. Бесконечные перевязки, когда не успеваешь отмыть с рук чужую кровь. Наши потери все растут. И... парадные лживые корреспонденции в газетах. «Скорбная смешная и позорная картина сногшибания», — замечает Фурманов в дневнике. С какой горечью пи-

шет он матери: «Вас питают газеты, поющие, словно поломанная шарманка, все одну и ту же фальшивую песню о нашем благополучии. Эта песня как усыпляющая, коварная песня сирены, — завела нас в Карпаты, откуда миллионы страдальцев выбрались только потому, что они — русские и привыкли ко всякому горю. Будь на нашем месте другой народ — погиб бы целиком. Изумляюсь я терпению русского солдата». Как узнаешь в этом письме будущего автора «Чапаева»...

С какой любовью к русскому человеку, к русскому солдату, с какой верой в него делает он портретные зарисовки в своем дневнике. Это целая галерея простых мужественных людей, несколько не похожих на лубочных козьма крючковых. Это те солдаты, в среде которых вырос Чапаев. Портреты и прозаические и стихотворные. Сурово и скорбно стихотворение о рядовом Игнатию Козлове, сумевшем достойно принять смерть в бою:

Калужской губернии крестьянин,
Игнатий Семеныч Козлов
Под самое сердце был ранен
Шрапнельным осколком врагов...

...Свидетели жаркого боя,
Темнели деревья вдали
И в страшной долине покоя,
Казалось, смерть стерегли...

...Наутро его подобрали
И к нам умирать принесли...
Товарищи молча стояли
И молча обратно ушли...

С каждым днем истинная картина войны становится все яснее для Фурманова. Солдаты больше не хотят воевать. Цели этой братоубийственной бойни непонятны и чужды им. Армия начинает разлагаться. «Говорят,— пишет Фурманов,— уже зарегистрированных беглецов в нашей армии считают до миллиона». Зреют гроздь гнева. «Солдаты возмущаются глубоким, молчаливым возмущением. Недалеко то время, когда прорвется молчание — и начнется большое дело, дело «О безответственности российских Скалозубов»... (Именно в эти дни писал Маяковский, стихов которого еще не знал Фурманов: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год». Но встретиться, а потом и подружиться с Маяковским Фурманову довелось только через шесть лет...)

«Офицерье,— пишет Фурманов,— отсиживается по штабам, их там больше, чем в окопах. Каждый бережет свою драгоценную шкуру, а какой-нибудь прапорщик из студентов да «серая скотинка» несет всю тяжесть бессмысленной бойни».

Кончат войну.... Таков лейтмотив, вытекающий из многих бесед Фурманова с солдатами. Таковы и мысли самого Дмитрия Андреевича. И опять вспыхивает у него желание писать. Выразить главным образом в стихах все, что увидел и переживал. Далекий еще от политики, не имеющий никакой связи с большевиками, не читающий их изданий, Фурманов уже инстинктивно ощущает приближение народного взрыва, народной революции, того, что пророчески выразил Маяковский.

В феврале 1916 года, направленный для сложной операции в московскую больницу, он пишет одно из лучших своих стихотворений, к работе над которым не раз возвращался и в более поздние месяцы. Конечно, художественный уровень и этого, некрасовских интонаций стихотворения весьма невысок. Это хорошо понимал впоследствии и сам автор «Чапаева». Но для понимания идейной эволюции Фурманова аллегорическое стихотворение «Пробуждение великана» имеет большое значение. Впервые поэт говорит во весь голос о богатейшей силе народа, который разорвет сковывающие его цепи, о занимающейся заре революции. Стихотворение это противостоит и бесчисленному количеству воинствующих «шапкозакладательских» стихов тех военных лет, и меланхолическим,

декадентским стихам, проповедующим уныние и безверие, и той замкнутой, герметической, камерной поэзии, которой наносил уже сокрушающие удары Владимир Маяковский. По всему своему строю стихотворение это близко уже к поэтике Демьяна Бедного и его соратников.

Приведем стихотворение «Пробуждение великана» с некоторыми новыми, более действенными вариантами, которые закончил Фурманов уже в декабре 1916 года.

Тише... Огромное чудо свершается.
В темном лесу Великан пробуждается,
В темном дремучем лесу...
Он еще дремлет под шапкой мохнатою;
Он еще сердцем и мыслью крылатою
Солнца не знает красу.
Видите — в небе заря занимается —
Светлое солнце из мглы подымается —
Хочет его осветить.
В заросли хмурые, в дебри безродные
Врезать лучи золотые, свободные,
Светом от сна пробудить.
Слышите — по лесу словно шептание:
Это его, Великана, дыхание
Шутит, играет листвою...
Слышите звон и биенье неровные:
Это колотится сердце огромное,
Чует восход золотой.
Тише... Проникнитесь думой глубокою:
С ярким светильником, с мощью широкою
Новая сила идет.
Встаньте торжественно, в полном молчании,
Дайте дорогу при светлом сиянии
И пропустите вперед...

Уже вернувшись с фронта в родное Иваново, незадолго до Февральской революции Фурманов стал преподавать литературу на рабочих курсах. Его сразу приняли в рабочую среду и крепко полюбили. В большинстве своем слушатели курсов были молодые рабочие, не связанные с революционным подпольем, с нелегальными кружками. Все, о чем говорилось на лекциях, было для них откровением, будило свежие мысли, воспитывало критическое отношение к действительности. Приходили сюда и большевики-подпольщики: Василий Степанов, Мария Икрянникова (по партийной кличке «Труба»). Они охотно посещали лекции молодого, горячего Фурманова, расширявшие их кругозор, увлекательные и по содержанию, и по форме, и по революционной устремленности. Одна из старейших ивановских коммунисток Мария Труба (впоследствии неперемнная участница всех наших фурмановских вечеров) рассказывала: «Впервые я встретила с Дмитрием Андреевичем Фурмановым в 1916 году, в городе Иваново-Вознесенске, где я работала ткачихой на текстильной фабрике. У меня уже был десятилетний стаж партийной рабо-

ты, но образования у меня не было никакого. Именно в эти годы в Иваново-Вознесенске студенты организовали вечерние рабочие курсы. Среди организаторов этих курсов был молодой студент Дмитрий Фурманов. Он и стал моим первым учителем. Это он научил меня держать в руках карандаш, считать столбиком. Он пользовался большим уважением в рабочей среде».

Именно в эти предреволюционные дни Фурманов возвращается к своему стихотворению «Пробуждение великана», делает его более действенным, более призывным и зовущим на борьбу. Он читает переработанное стихотворение на студенческой вечеринке, знакомит с ним и более близких ему слуша-

телей курсов, в частности и Василия Степанова и Марию Трубу.

Старая ткачиха рассказала нам, как звенел голос Дмитрия, когда он вдохновенно декламировал:

Тише... Рядами сомкнитесь готовыми...
С ярким светильником, с думами новыми
Новая сила идет.
Встаньте торжественно в полном молчании,
Дайте дорогу при светлом сиянии
И пропустите вперед...

«В тот вечер,—говорила ткачиха,—я сказала Василию Степанову: «Слушай, Василь. Он еще не член партии, этот студент. Но душой он уже с нами. Он еще много добра сделает для народа...» И я не ошиблась».

СЕМЕН ГУШАНСКИЙ

ИДУ ПО СЛЕДУ

Иду по следу, трассу изучаю.

М. Светлов

Никогда не думал, что мне придется писать воспоминания о Светлове. Наоборот, где-то в глубине души тлела мысль, может быть детская, что, когда меня не станет, он наконец напишет стихи о нашей двадцатипятилетней дружбе. И вот уже почти два года, как его нет!

Первое мое потрясение от поэзии Светлова произошло через театр. Конечно, я читал его и раньше. Но когда в 1935 году я попал на спектакль «Глубокая провинция», первой пьесы Светлова, поставленной Алексеем Диким, меня словно перевернуло. Передо мной открылся совсем новый мир поэтического театра, ни на что виденное раньше не похожий. Поэтического не в том суетном и даже несколько спекулятивном плане, как порою этот эпитет употребляется сейчас, а театр подлинной поэзии, где автор-поэт щедрой рукой оделил каждый персонаж, стало быть, каждого артиста, долей своего таланта, своего видения мира. Замечательный режиссер Дикий точно уловил характер светловской пьесы, ее прозрачно-образную стихию. Вместе с большим художником Шифриным, композитором Оранским он помог исполнителям создать компанию удивительных характеров

колхозных людей того времени. Вам хотелось попасть в этот колхоз, к этим чудным, странным людям, где каждый по-своему поэт. Это было настоящее волшебство искусства. Это был Светлов.

Знакомство же с ним, перешедшее в дружбу, длившуюся до его кончины, произошло значительно позже.

В тридцатых годах существовал в Москве детский театр со странным названием — Третий Московский театр для детей. Мне посчастливилось быть одним из организаторов этого театра, его актером и руководителем.

Зимой 1936 года мы затеяли провести этакий вечер — без речей, без заседаний — просто веселый вечер, чтобы встретиться с поэтами, писателями, которые представлялись нам потенциально нашими драматургами. Надо сказать, что главной нашей целью был Светлов, к которому мы заранее командировали заведующего литературной частью театра, обаятельного Зиновия Абрамовича Сажина.

Вечер состоялся. Начали мы его, так и не дождавшись главных персонажей. И вдруг во время моей вступительной полусутоливой речи в дверях появились трое: Михаил Аркадьевич Светлов, Александр Ильич Безыменский и Борис Михайлович Левин. Я так обрадовался, что нечаянно сказал что-то смешное. Позже я узнал: это понравилось Михаилу Аркадьевичу. В заключение я при-

гласил всех выпить-закусить и сразу же пошел к Светлову, чтобы проводить его к столу. Знакомясь, я произнес довольно глупую фразу:

— Я вас очень люблю, Михаил Аркадьевич...

На что он, не думая, ответил:

— А за что меня не любить? Что я, детей ем? — сразу сняв мою напряженность.

...Как началась наша дружба? Мне трудно на это ответить. Меня поразили весь его облик, его манера говорить, его юмор — всегда неожиданный, его талант, его личность. Казалось, я встретил человека, которого знал и не знал, близкого и полного неожиданностей. Это чувство не покидало меня всю жизнь, хотя потом я научился угадывать ход его мыслей. А ему, верно, нужен был друг, влюбленный в него, верящий в его творчество, да еще человек театра. Надо сказать, что чувство театра, любовь к театру были в Светлове неугасимы.

С самого начала нашего знакомства мы стали часто встречаться в театре и вне его. Однажды, когда мы сидели в ресторане, Светлов вдруг сочинил четверостишие. К сожалению, я запомнил только две последние строчки:

Удивляюсь, чем меня привлек
Старого Гушанского сынок?..

Оба мы были в то время сравнительно молоды...

Наш театр, наши люди, очевидно, понравились Светлову. Надо сказать, что в составе режиссуры театра в то время помимо огромного режиссера Лобанова были такие на редкость талантливые художники, как О. И. Пыжова и Б. И. Бибикив. Да и в составе труппы было немало интересных индивидуальностей.

Светлов стал в театре частым гостем. Его очень полюбили. Своими мыслями, своими суждениями он вносил в театр как бы новый вкус, новый аромат. Его стали маленько эксплуатировать: просили писать эпиграммы для стенгазеты. Была эпиграмма и на меня, влиявшего на распределение ролей:

Роль отхапать шанс кому?
Одному Гушанскому!

После огорчений, которые принесла ему «Глубокая провинция» (пьеса была жестоко и несправедливо раскритикована), Светлов нашел в нашем небольшом театре свой творческий дом. Мы затеяли новую пьесу. Это была «Сказка».

Помню, в процессе работы над пьесой произошел такой случай. Ближе к выпуску

спектакля, как это часто бывает, обнаружилось, что не хватает времени. Созвали актеров и поставили вопрос о необходимости провести одну-две репетиции в ночное время. Нашлись люди, которые стали возражать: утром репетиция, вечером спектакль, а тут еще ночью репетировать!

И тут неожиданно выступил Светлов. Он сказал примерно следующее:

— Я ничего не понимаю! Когда я иногда сижу над стихотворением целую ночь и не замечаю, как наступило утро, это же счастье. А вы возражаете, чтобы репетировать до трех часов ночи? Странно...

Это наивное высказывание возымело свое действие.

Одновременно с нами готовил к постановке «Сказку» один ленинградский театр. Светлов поехал на премьеру. Мы очень волновались. Я просил Михаила Аркадьевича сразу же после спектакля дать телеграмму: как прошло, доходит ли до зрителя пьеса и прочее. Через день телеграмма пришла. В ней было одно слово: «УЖА-А-АС!» (через три «а»).

В газете «Советская культура» появилась разгромная статья, где подвергался критике не только спектакль, но и пьеса. Наш театр получил официальную бумагу от Главреперткома с предложением прекратить работу над пьесой Светлова. Мы решили работу продолжать. Спектакль имел огромный успех. «Сказка» пошла во многих театрах страны. Это было в 1939 году.

Тут же возникла мысль о новой пьесе. Михаил Аркадьевич вернулся памятью к годам своей юности и написал пьесу «Двадцать лет спустя». Этот спектакль был осуществлен в 1940 году и имел не меньший успех, чем «Сказка».

Светлов в своей драматургии был настоящим реалист. Но реалист не на подножном корму, а реалист мечтатель, фантазер, романтик. Только что понимать под словом романтика? Помню, когда-то, очень давно, он оброчил такую фразу:

— Романтика без цинизма невозможна.

Я не сразу понял, что он хотел сказать. Он ответил, что без трезвого, острого, порою даже циничного взгляда на явления жизни романтика может обернуться слащавостью и мнимой поэтичностью. Произойдет подмена — возникнет пошлость, а этого он терпеть не мог.

В другой раз, значительно позже, он так сформулировал эту же мысль:

— Романтика — это когда человек стоит на земле, но поднимается на цыпочки, чтобы

дальше и выше видеть. Беда, если он оторвется от земли, тогда он пропал. Никакой настоящей романтики не будет!

Мне кажется, что мысль эта подтверждается всем творчеством Светлова.

Вспомните строчки:

...Мир полон ворожбы.
Возьмем лукошки, милая, и вместе
Пойдем по чудеса, как по грибы...

Не за синей птицей, а «как по грибы». Но не за покупками в магазин, не по воду, а «по чудеса».

Светлов в любых жизненных обстоятельствах оставался собой. Ни тени наносного, притворного. Таким он был и в своем творчестве. Мы все учились у него этому великому качеству. Верно сказал, прощаясь с ним, Марк Соболев: никогда не было двух Светловых. Он был всегда одинаков — и в кабинете высокого начальства, и в случайной беседе с уборщицей театра. Только с уборщицей он был ласковее.

Светлов обожал делать подарки. Брал с собой — будто на прогулку — малознакомую и малооплачиваемую работницу театра и заходил с ней в магазин. Покупал ей платье или туфли. Он вовсе не был добреньким, как это некоторым казалось. Не раз видел я его гневным.

Мы ездили с Михаилом Аркадьевичем по Алтаю. В одном из целинных совхозов утром зашли в столовую позавтракать. Народу почти нет, все уже на работе, и только у раздающего окошка бушует здоровенный парень. То ли на кухне не было того, что он требовал, то ли еще что-то его разгневало, но, войдя в столовую, мы услышали, как он нагло, мерзко хамит официантке. И вдруг тщедушный Светлов срывается с места, подбегает к верзиле и кричит:

— Что вы хамите?! Советская власть сильнее вас!

Парень был так поражен этим заявлением, что затих и ретировался.

Много говорят о юморе Светлова. О нем ходят легенды. Светлову подчас приписывают чужие остроты. И я не раз слышал, как он говорил:

— Это не я. Это не мое.

Юмор Светлова был действительно поразительный. Иногда добродушный, иногда иронический, а порою довольно злой. Он любил хвастать:

— Ты не думай, меня боятся...

И некоторые, правда, его опасались.

Один режиссер, слывший новатором, не оправдал эту свою славу в сценической прак-

тике. Светлов назвал его «уцененным Мейерхольдом».

Видный критик в присутствии группы молодых поэтов пытался сражаться со Светловым его же оружием, оружием острословия. Но в процессе пикировки допустил бестактность. Светлов предупреждающе сказал:

— Мальчик мой!.. — мол, это запрещенный прием.

Критик поднял руки и взмолился:

— Михаил Аркадьевич, смените гнев на милость!

Светлов ответил:

— Я каждый день меняю гнев на милость и на это живу.

Один довольно упитанный поэт был чрезмерно занят устройством мелких своих делишек. Светлов сказал про него:

— Это какой-то заведующий своим телом.

Однажды мы проходили мимо дома, где жил Светлов. И Михаил Аркадьевич сказал:

— На этом доме будет мемориальная доска, а на ней напишут: «Здесь жил и не работал М. Светлов».

Как видите, он не щадил самого себя. Но утверждение, что он не работал, было неправдой. Творческий процесс шел непрерывно, только удовлетворение наступало редко.

Меня интересовало, как возникает стихотворение. Я спросил его об этом.

— Все дело в первой строчке, — живо ответил Светлов. — Дай мне первую строчку, а там уж я напишу! «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Да будь у меня такая строка, ого-го!

...Я не могу писать о Светлове объективно. Для меня он огромная часть моей жизни, часть меня. Может быть, лучшее, что во мне есть.

Мне хочется рассказать о живом Светлове. О его походке, как он ступал прямо на носок, не дожидаясь, пока каблук коснется земли, весь устремленный вперед, в будущее. О прищуре его глаз, доброжелательном, хитроватом, всегда с юмором, вызывающем партнера на ответ. О его обаятельном грассировании. Словно есть в словах буква «р», а ее и нету! Казалось, стоит ему сделать усилие и он будет нормально произносить — «р-р». А он, оказывается, этим мучился и однажды при мне долго упражнялся на слове «Аврора». Без конца повторял он: «Аврора», «Аврора».

У него было на редкость интересное лицо. Когда он читал стихи или пел песни, он становился прекрасен.

Вот я вижу его, шагающего взад-вперед по комнате в поезде МХАТа. Работая, ду-



Лауреат Ленинской премии 1967 года Михаил Аркадьевич Светлов



В президиуме совещания художественной интеллигенции 10 апреля 1935 года, посвященного подготовке к 20-летию Октября. Слева направо: А. Щербаков, М. Кольцов, М. Горький, Д. Бедный

мая, фантазируя, он никогда не сидел за столом. «Вышагивал километры», — как он сам говорил. Я никогда не думал: может быть, поэтому он такой худой?

Вот он идет по Москве, по улице Горького, чуть наклонившись вперед, как бы ничего не видя, всегда думая о чем-то своем. На нем длинноватое коричневое пальто, большая кепка, все высокого качества. Он одновременно неуклюж и изящен. Всегда без кашне и без перчаток.

— Это я сам себя так закалил. Я никогда не простужаюсь.

Навстречу идет знакомый.

— А, Миша! Как жизнь?

— Постепенно.

— Как здоровье?

— Вскрытие покажет.

Светлов торопится расстаться со случайным собеседником. Спрашиваю: кто это?

— Как его, ну, забыл фамилию. Короче говоря, как сказал бы Боря Левин, это не лучшее из отбросов человечества. — И добавляет: — Я не хотел бы остаться с ним в осажденной крепости.

Это был один из его главных критериев в оценке людей — можно ли остаться с человеком в осажденной крепости.

Вот он звонит ночью или рано утром:

— Старик, послушай, кажется, я сочинил что-то маловысокохудожественное.

Читает стихи.

— Ну как?

Хвалишь, высказываешь свои соображения.

— Так это же только черновик! Надо еще поработать.

Тяга к людям, к общению с людьми самыми различными, стремление радовать, удивлять шуткой, рассказом, эпиграммой, черпать от них — это было атмосферой его жизни. Очень давно, слушая разговор о хороших и плохих людях, он как бы нечаянно обронил фразу:

— Все-таки люблю я этих двуногих...

Из поэтов старшего поколения он боготво-

рил Маяковского. Светлов любил говорить о нем, но всегда тут же добавлял:

— Я ему никогда не подражал.

Гордился, что Маяковский читал с эстрады его «Гренаду». Вспоминал, как однажды Маяковский позвонил в общежитие на Покровку, 3, чтобы поздравить со стихотворением «Пирушка». Светлов долго не шел к телефону, думал — его разыгрывают.

Один из любимых рассказов Светлова:

— Напечатал в газете стих. Утром иду по улице, вижу — шагает Маяковский, постукивая палкой. Машет мне. Подбегаю на полусогнутых.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович!»

«Здравствуйте. Читал ваши стихи. Дерьмо. Вы не умеете писать в газету; не пишете. Я умею, я пишу». И ушел, постукивая палкой.

А вот другой, уже личный пример.

Мы родились с Михаилом Аркадьевичем в один день — 17 июня. Только он был старше меня на год. Если мы оба в этот день были в Москве, то обычно праздновали вместе. Так было и 17 июня 1941 года. Собрались в ресторане «Арагви», Михаилу Аркадьевичу исполнилось 38 лет, мне — 37.

Друзья стали провоцировать Светлова написать стихи к случаю. Стихи не получились, но начало запомнилось:

Смерть звонит по телефону:

— Тридцать восемь, тридцать семь!

За два года до кончины, когда ни он, да и никто еще не знал о его смертельной болезни, Светлов написал:

...Близок, близок мой последний час,
За стеной стучит он каблуками,
Я исчезну, обнимая вас
Холодеющими руками.

В вечность поплывет мое лицо,
Ни на что, ни на кого не глядя,
И ребенок выйдет на крыльцо
Улыбнется: — До свиданья дядя!



8 НЕПОДКУПНОМ СВЕТЕ ДНЯ

{О поэте Николае Полетаеве}

1

Николая Полетаева впервые я увидел 1 июня 1924 года. Это был трудный год в жизни страны, первый ее год без Ленина. На московской Петровке сверкали витрины нэпманов, по центру столицы мчались на рысках холеные жены новоявленных богачей. А в Рахмановском переулке — тысячные очереди людей, ждущих работы.

В том году МК партии и ЦК ВЛКСМ направили впервые большую группу литераторов в дом отдыха ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых). Многие из нас тогда были очень бедны и непростительно молоды. В день приезда мы все стали вдруг необычайно веселыми: впереди месяц жизни без «голодной грозы и ультиматума». В этот день я и познакомился с Николаем Полетаевым.

«Так вот он какой! И на поэта не похож!»

А ведь это он еще при жизни Владимира Ильича написал стихотворение «Портретов Ленина не видно»! Мне захотелось подойти к Полетаеву, пожать ему руку. И все же я не решился: у Полетаева в это мгновение был какой-то отстраненный взгляд. Ему, видно по всему, были просто чужды веселые выкрики Ивана Доронина, Коли Кузнецова, Бориса Ковынева, шутки Сергея Малахова.

Нам, писателям «Молодой гвардии» и «Перевала», не было тогда еще и по двадцати лет, а некоторым — и девятнадцати. А в юности и нужда не в беду, и голод не в голод! Мы хлебнули столько счастья и радости во время гражданской войны и военного коммунизма. Ничего, выжили, закалились и не пропали! А Полетаев уже тогда был чуть ли не вдвое старше нас. И, возможно, поэтому он держался несколько в стороне от нашей группы. А может быть, он был несколько ослеплен обилием света, солнца, оглушен шумом июньского ветра.

Мимо нас пробежали двое подростков в малиновых майках. На бегу они поздоровались со мной.

— Знакомые? — спросил Полетаев.

— Наши заводские. Из дома отдыха металлостов.

В его серо-синих глазах светилась пытли-

вость, присущая мастерскому человеку. Я вспомнил его стихи из книги «Сломанные заборы». Он показался человеком, вышедшим из подвальной полумглы в свет яркого полдня. Возможно, что все это было и не так, но для меня в тот день его внешний вид был неотделим от образов его поэзии.

Тридцать дней в доме отдыха «Сосновый бор» стали у меня днями встреч с Николаем Полетаевым. Заметив мою мальчишескую любовь к реке, к лодке, к дальним заплывам, меня в доме отдыха назначили «адмиралом», ключи от лодок, весла и лиры уключин оказались в моих руках. Отдыхающие научные работники не были поклонниками гребли, но ко мне часто приходили товарищи по заводу, и для них у «адмирала» всегда находилась лодка. Да и Николаю Полетаеву, видно, понравились дальние лодочные прогулки. А еще ему было по нраву, что заводские друзья не забывали меня и тут.

Ой, каким же солнечным и зеленым был тот июнь! Поэты Иван Доронин и Виктор Светозаров решили прорыть канал и соединить полувысохший пруд с Клязьмой. Мой старый приятель Коля Кузнецов до обеда обычно прятался в травостое заливного луга, обрабатывал поэму о гармонии. Часто после ужина мы зажигали высокие костры на другом берегу. Иногда мы проводили литературные чтения в рабочих домах отдыха, соседствовавших с нашим. Полетаев всегда председательствовал на вечерах. Он все больше привязывался к нам, молодым, и становился более приветливым и оживленным; с каждым днем исчезала его холодность и отчужденность. Лишь улыбка осталась прежней — прекрасной и застенчивой.

Одевался Полетаев очень скромно, но опрятно. К его внешнему облику так подходили рубашки-косоворотки. Ему претила даже самая малейшая небрежность. Он по-своему был изящен, склад его характера и его отношение к людям подчеркивали его нравственную чистоту и независимость. По вечерам за Клязьмой во всю мочь пели соловьи. И в лодке, на очередной прогулке, Полетаев сказал, что он в Болшеве впервые услышал соловьиное пение.

Как-то, под навесом мачтовых сосен, розовых от заката, я увидел Полетаева, окруженного поэтами. Из отдельных слов их разговора я понял, что они собираются на стан-

цию в буфет. Полетаев широким жестом пригласил меня разделить их «честную компанию». Я поспешил отказаться.

— Скажи,— допытывался он позднее,— почему ты, дорогой мой человек, так вдруг сразу отказался идти на станцию?

Я чистосердечно признался ему, что ненавижу водку и боюсь пьяных.

— Мой отец в белой горячке чуть не зарезал несчастливую мать. Было мне тогда лет шесть-семь, не больше,— вспоминал я тяжелые годы.— Как мать звала тогда на помощи! Но никто не прибежал. И в последнюю минуту я зубами впился в отцовское плечо. Он взвыл от боли, выронил нож. Отец избил меня в тот день так, что я неделю не мог на голову шапчонку надеть. А трезвый он был хороший. Вот тогда, Николай Гаврилович, я и дал зарок: бежать от водки.

Полетаев внимательно слушал меня.

— Ты рассказывал о своем детстве, а я вспомнил свое. Много, много общего. Вот особых событий у меня в жизни не происходило! Нужда, тоска! Но жило еще стремление к лучшему. Возможно, что тяга к поэзии. Вырастал в заразной больнице для бедняков. Выздоровливающие научили читать. В юности жил как впотьмах. А потом брел как на ощупь. Много читал. Это было самое хорошее. Много пил. Это, пожалуй, самое скверное. Работал весовщиком, табельщиком, маркировщиком на железной дороге. До революции да и после считался низшим служащим, без надежды на повышение. Старался никогда не делать людям плохое. А сделать хорошее не мог, не было возможности.

В тот день я с берега принял в лодку Полетаева. Вывел ее на плес.

— Какой июнь! Первый такой за всю жизнь!— усаживаясь у руля, сказал Полетаев и развернул полученный им журнал «Красная новь».

Над рекой стлался горький дым, горели торфяники. Было слышно, как трещит крыльшками стрекоза на лодочном борту и шуршат журнальные страницы в тонких руках Полетаева. Казалось, что не только лодка стоит на одном месте, но и время остановилось.

— Вот послушай стихи Голодного, дорогой мой человек. Выписывается парень, выписывается.

Развернула ночь большое знамя,
Черное с гудящими краями.
Фонари глядели, словно совы,
Чудилось — они взлететь готовы.
Здания, заборы, дали
Наклонились, сжались, ждали.

Богато инструментован стих! Я рад, что познакомился с Голодным. Чудесный парень. И поэт хороший. Поэзия начинается с уважения к человеку. И это Голодный отлично знает. У каждого из нас есть читатель. А Голодный еще себя покажет. А вот стихи «Письмо екатеринославским комсомольцам» зря он напечатал! Он подыгрывает в них Есенину. А как фальшивы строчки, что в стране Советов в кабаках живут рабочие поэты! Разве в кабаке написал Шкулев «Мы — кузнецы, и дух наш молод»? А у Шкулева жизнь была страшнее, чем у меня.

Пора в обратный путь. Млеют в зыбком мареве оттели. Я попросил Полетаева прочитать стихи об одоевских розах.

— Не помню их. Ни к чему там ни кавалер де Грие, ни Манон Леско. А городок Одоев сам по себе красив. Люблю его с детства. Впрочем, в тех стихах есть хорошая строфа.

Только мрак и зевота,
Только храп лошадей.
Да висит позолота
Почерневших церквей.

Я вел лодку против течения. А Полетаев, отложив журнал, подробно рассказывал, как они, поэты, учились в Пролеткульте, о своем учителе Андрее Белом, о встречах с Есениным, о дружбе с Александровским.

— Белый хвалил мои работы. Отличал их. Но если бы я, дорогой мой человек, не был связан с Брянкой, давно пропал бы. На стихи нам, поэтам, жить нельзя! Не могу представить,— сокрушался Полетаев,— как только живет мой тезка,— заговорил он снова о Кузнецове.— А Коля — талантлив! Какие у него стихи о радиобашне! А какие сердечные стихи о творчестве. Во всем чувствуется поэт. Но вот нет у него еще житейской хватки. А таким трудно пробивать дорогу.

Лодка вошла в широкую тень прибрежных ветел. Сильнее запахло речной тиной. Полетаев молчал. А я под ритм весел думал, что сегодня нет на земле человека счастливее, чем я. Скоро снова войду в цех, стану к тискам, с осени начнется учеба в фабзавуче, на будущий год пойду обязательно на тот рабфак, где Ковынев и Светозаров...

От причала дома отдыха металлистов легко шла нам наперерез четырехвесельная лодка. Мои друзья осушили весла и прокричали почему-то «ура».

— Есть и у меня вот такая родня на Брянке,— сказал Полетаев.

Под невидимые оркестры луговых кузнециков июнь подходил к концу. Близились

прощание с беспечной жизнью. А больше всего печалила разлука с Полетаевым, который стал мне безмерно дорог.

...В дождливый день, под вечер, я простился на сыром перроне Ярославского вокзала с Полетаевым. Думалось, что я больше никогда не встречу с ним. Расстались мы под шум летнего дождя, но встретились снова в пору раннего листопада в доме 3 на Покровке у гроба Николая Кузнецова.

День с утра обещал быть солнечным, но после полудня раздумал, подул резкий ветерок, небо занавесили тучи. Помрачнела неширокая Покровка, в город вошли без времени сентябрьские сумерки. Подавленный я шел с Полетаевым в траурной процессии. Он был до боли потрясен происшедшим. Полетаев потемнел, осунулся и посуровел.

На похороны рабочего поэта пришли его друзья-комсомольцы Замоскворечья. Собрались поэты из объединений «Молодая гвардия» и «Перевал». У Машкова переулочка к траурному кортежу примкнула группа рабфаковцев.

— Как же все это случилось? — в который раз спрашивал Полетаев. — Как же все вы недоглядели, дороги мои люди?

2

Больше года я не встречал Николая Полетаева. Как-то после занятий на рабфаке я пришел в редакцию журнала «Октябрь». Отдел поэзии совсем недавно принял Николай Полетаев.

...Став редактором по поэзии в журнале, Николай Полетаев остался собою: он был доступен и сердечен. Не изменился даже и его внешний вид, он по-прежнему ходил в косоворотке под пиджак. Поэты многочисленных в то время направлений, групп и группировок и прежде глубоко уважали Полетаева за его сердечность, за верность поэзии и сберегли к нему то же чувство, когда он из табельной Киевской дороги неожиданно перешел в «Дом Герцена», в журнал «Октябрь».

В своих суждениях о стихах Полетаев был строг и последователен, он знал и любил поэзию, у него был абсолютный слух на стихи. Своим мнением он дорожил и никогда его не менял. В редакции держался независимо. Если ему нравились стихи, то он говорил поэтам сразу, когда они будут напечатаны. Если отклонял, то был прямолинеен, но не груб.

...Узнав, что Полетаев просил обязательно дождаться его, я вышел из редакции и присел на широкий подоконник «Окна скорби», который почти никогда не пустовал.

«Дом Герцена», где сейчас помещается Литературный институт имени Горького, в то время давал пристанище литературным организациям, редакциям нескольких журналов и даже двум небольшим издательствам. На подоконнике «Окна скорби» на третьем этаже сидели поэты, приехавшие в Москву за признанием. Здесь же обычно назначались острейшими эпиграммами, каламбурами и остротами в адрес некоторых редакторов и литвождей тех времен. Не щадили тут и знавших модных поэтов. Как говорится: всем сестрам по серьгам!

Молоденький комендант «Дома Герцена» собственноручно закрашивал откосы белилами, но стоило лишь просохнуть, и остроумные строки появлялись снова.

После рабочего дня в журнале «Октябрь» Полетаев, если позволяла погода, любил возвращаться к себе в Дорогомилово пешком. Я не раз поджидал его у «Окна скорби». Мы вместе выходили на Тверской бульвар и шли до памятника Тимирязеву. А потом сворачивали в тихие арбатские переулочки, пробирались на шумное Садовое кольцо и расставались уже на той стороне Бородинского моста. Эти прогулки были так дороги мне. Помнится, что в это время воля Полетаева не была еще подавлена болезнью, он выглядел бодрее и моложе своих лет. Ответственный секретарь редакции Н. Полосихин и секретарь Женя Гракова сделали ему много доброго. Заметив, что костюм Полетаева обветшал, они привели поэта в магазин готового платья и помогли выбрать хороший и недорогой костюм. В тот день Полетаев ходил смущенный и торжественный, но довольный обновой. А если кто поздравлял с покупкой, он добродушно ворчал, что он ни при чем, во всем, мол, повинны Коля да Женя! Он потеплел сердцем, рядом с ним жили хорошие советские люди.

В журналах тех лет все чаще и чаще появлялись его новые стихотворения, бравшие свой исток непосредственно в жизни. Особенно волновало умы студентов-рабфаковцев полетаевское стихотворение «Октябрьское раздумье».

Повеситься, как Коля Кузнецов,
Я не могу, да и кому угроза?
Я знаю, только здесь, на этом берегу,
Горит огонь, благоухают розы.
А там, на небесах, там чушь,
Там пустота, и холод, и безмерность,
Да я-то уж туда не полечу,
Храня земле супружескую верность.

И когда он прочитал эти стихи по дороге в Дорогомилово, то снова вспомнились безоблачные большевские дни. Полетаев работал над этим стихотворением очень долго, а завершив, не спешил опубликовать.

Когда Полетаев как-то прочитал мне стихотворение «Ответ», я вспомнил его большевский отзыв о Голодном, которому и было адресовано стихотворение «Ответ». Но Полетаев никогда об этом не упоминал, не желая причинить обиду поэту. Читал он стихотворение вполголоса. И редкие прохожие в арбатских переулках не замечали нас: идут двое своей дорогой и разговаривают. В простых полетаевских строках чувствовалась глубокая горечь:

Да, бывает... Рабское наследье
Стиснет грудь и задрожит рука,
И несет проклятая привычка
В грязные туманы кабака.

А сколько гордости и достоинства рабочего поэта в стихотворении «Ответ».

Но не все бессильны и покорны,
Задыхались в зловонной тьме...
Были среди нас орлята,
Их стихи написаны в тюрьме.
Нет, не все мы в одури безвольной
Гибли в катакомбах кабаков,
Знаем мы: Филипп Шкулев не пьяным
Написал бессмертных «Кузнецов».

Каким одухотворенным становилось его лицо, когда он читал эти строки!

Однажды на Бородинском мосту он пригласил меня к себе, познакомил с приемным сыном. В этой небольшой комнате (там и поныне проживает вдова поэта Анна Васильевна) все было очень скромно, почти бедно, но чисто и опрятно.

В те годы за Полетаевым уже утвердилась репутация подлинного поэта. В «Литературной газете» появлялись его отзывы и интервью о состоянии современной поэзии. В Московском товариществе писателей должен был выйти сборник избранных произведений.

...В тот день Полетаев показал мне рукопись новой книги «Резкий свет».

— Не все еще тут готово, — сказал он. — Я всегда придавал и придаю большое значение заглавию. А это я взял у Блока, из стихотворения «Перед судом». Помните?

Полетаев, почти шепотом, прочитал:

Что же ты потупилась в смущеньи?
Погляди, как прежде, на меня.
Вот какой ты стала в униженьи,
В резком неподкупном свете дня.

— Я жил, дорогой мой человек, как бы во мраке. Меня и доныне критики считают пессимистом. В стихах, мол, у него подвал да подвал. А я уже давно видел «резкий свет» наших дней, да критики этого не заметили.

Размешивая ложечкой в стакане неяркий чай, Полетаев сказал:

— В «Октябре» я поэзией уже не ведаю. Возвращаюсь на Брянку. Получилось точь-в-точь, как в стихах:

Я с год пробыв поэтом,
Мне это надоело,
И мне, как солнцу летом,
Необходимо дело.

Заведующим отделом поэзии Полетаев проработал почти два года. Не раз порывался он уйти из журнала: ему нужно было живое дело, общение с людьми Киевской железной дороги, которую Полетаев любовно называл по старинке «Брянкой».

3

...На Первом Всесоюзном съезде писателей ни в зале, ни в кулуарах я ни разу не встретил Полетаева. Поэт Владимир Кириллов сказал, что Полетаев болен, давно никуда не ходит. Оказывается, по болезни Полетаев оставил милую сердцу «Брянку».

А вскоре я повстречал Николая Полетаева у знаменитого «Окна скорби».

Он дружески поздоровался со мной. Поэт заметно похудел и сдал. Болезнь ссутулила его узкие плечи. А глаза стали бесцветными, в них приютилась тоска. Лишь застенчивая улыбка стала выразительнее и милее.

Он подробно и несколько торопливо рассказал историю своей последней командировки.

— Книга-то ведь не вышла, дорогой мой человек! Какой из меня очеркист. Никаких тонкостей не знаю. Теперь дело передали в суд. Решили взыскать аванс. Юрист утверждает, что я отнесся к договору недобросовестно. Но я ездил, жил в совхозе. Вел наблюдения, делал заметки. Некоторые писатели сдали в срок какие-то наброски, а я ведь должен книгу положить на стол.

Николаю Полетаеву было тогда всего срок пять лет. И никак я не мог подумать, что наша встреча окажется последней.

Болезнь и материальные лишения вскоре надломали поэта. Но остались в строю советской поэзии лучшие его строки. И остался в нашей памяти он сам, дорогой нам человек.

В один из дней рожденья прекрасного грузинского старого кахетинского поэта Сандро Шаншиашвили вдохновенный певец Грузии Георгий Леонидзе сказал на торжестве свое поэтическое слово, приветствуя Сандро.

Их старая дружба была глубока и искренна. Она продолжалась до самой смерти Георгия Леонидзе. Сандро Шаншиашвили — мой старый друг. Нас связывает много доброго, чего не могут истребить прошедшие годы. В силу этой дружбы сейчас, когда составляется новый сборник избранного Георгия Леонидзе, в этом сборнике, между других стихов, есть и стихотворение, посвященное Сандро Шаншиашвили. Я перевел его, и мне было приятно, что наши три имени соединились в общем поэтическом выражении своих дружеских чувств.

Николай ТИХОНОВ

САНДРО ШАНШИАШВИЛИ

Ты — старый дуб Алазани,
Ты — старый, но крепкий дуб,
Садовник песен, сказаний,
Виноградарь стиха — трудолюб!

Бор Гомборский — все предки твои,
Ты стоишь, не боящийся бури,
Ты, что выращен лирой Ильи
И чаргальским Важа чонгури!

То, что предки геройские пели,—
Песни горькие горя и слез.
Ты пришел со своею свирелью,
С песней-шелестом нив и лоз.

И в стихи — все цветы над полями
Принесла стиховая весна,
Целовал ты отчизну стихами,
На любовь отвечала она.

Славил Картли ты и Кахети,
Алазани, Риони — народ,
Ту, которой нет лучше на свете,—
Нашу Родину — счастья восход.

В соколином гнезде ты рожден,
Ты прославил грузинское слово,
Ясный голос и струн твоих звон
Мы в сердцах наших чувствуем
снова.

Ты же знаешь — любви моей свет,
В сердце жив он не по заказу,
Брат, пусть век прозвенит мой
привет,
Что от сердца сегодня был сказан.

Пусть оленей юности нет —
Седина уж подкралась лукаво,
Но остался поэзии цвет,
В сердце трубы, поющие славу.

Дай еще нам напевов своих,
Нежных, мужественных и чистых,
Пусть с плеча не слетает, как стих,
Соловей золотой, голосистый.

Пой, как пел со всей силою чувств,
Всем народным земли откровеньем,
Обнимаю... И Родина пусть
Счастья даст твоему вдохновенью!



ПАВЕЛ ЖЕЛЕЗНОВ

О БАГРИЦКОМ

{Из воспоминаний}

— Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед..

Я отчетливо слышу голос Багрицкого, читающий эти строки. Мне с моим товарищем Петром Дроздюком, как и я, бывшим беспризорным, воспитанником Макаренко, досчастливилось быть первыми, кому прочитал Эдуард Георгиевич свою только что завершенную поэму «Смерть пионерки».

Багрицкий редактировал мою первую книгу «От «пера» к перу» (слово «перо» в первом случае на воровском аргю означало «нож»). Я сдал книгу в издательство «Федерация» в 1930 году. (В то же самое время с помощью Горького поступил на литературный факультет Московского университета, переселился из Болшевской трудкоммуны в студенческое общежитие.) Товарищи-литераторы предупреждали меня, что книги молодых лежат в издательствах годами. Так бы, возможно, было и с моей книгой, если бы в середине тридцать первого года в «Федерации» не стал главным редактором поэзии Эдуард Багрицкий. Неожиданно я получил открытку, взбудоражившую всех моих друзей по общежитию,— Багрицкий, любимый наш поэт, приглашал меня срочно прийти к нему домой, поговорить об издании моей книги!

Кунцевский период жизни Багрицкого к тому времени уже закончился. Багрицкий с семьей жил в центре города в новом большом писательском доме, в квартире, где еще пахло свежей краской и балкон не был обнесен барьером. Здесь я впервые увидел его. Он показался мне похожим на одесского грузчика— крупный, коренастый. Черты лица тоже крупные. На широкий лоб спадал седой чуб, но серые глаза смотрели с молодым, мальчишеским любопытством. В первый же день нашего знакомства Багрицкий отредактировал мою книгу и подписал в печать, и с этого дня я стал завсегдатаем в его доме.

Эдуард Георгиевич пригласил меня прийти к нему запросто и, если на дверях будет записка «Багрицкого нет дома», не обращать на нее внимания. Больное сердце сделало его домоседом. Записка на двери была цитом от назойливых посетителей... За три года нашего знакомства я видел его чаще всего в

синем теплом халате. Болезнь облачила Багрицкого в свою «спецодежду», но до последних дней он оставался живым, любознательным человеком, неутомимым работником. Он отредактировал не только мою книгу, но еще множество книг и ликвидировал весь так называемый «завал», накопившийся в отделе поэзии издательства.

Часто я встречал у Багрицкого интересных людей — то артиста театра имени Вахтангова Толчанова, то писателя Юрия Олешу, то шахтерского поэта Павла Беспощадного. Побывали здесь чуть ли не все мои литературные ровесники, молодые поэты тридцатых годов: Смеляков, Ойслендер, Долматовский, Коваленков.

...От подписания книги в печать до выхода ее в свет обычно проходит несколько месяцев. Багрицкий на это время буквально взял шефство надо мной. Однажды скинул халат, оделся в свой полуголовный костюм и повез меня на извозчике (тогда еще извозчики конкурировали с такси) в редакцию журнала «Новый мир». И вот впервые в толстом журнале появились мои стихи. Для молодого поэта это было большим событием.

Когда я прочитал Багрицкому стихи о беспризорнике под названием «Песня о Ваське-Карасе», Эдуард Георгиевич взял листок со стихами и написал на обороте: «В Музгиз. Считаю, что «Песня о Ваське-Карасе» может быть положена на музыку. У нее есть все достоинства настоящей песни».

Музыку на «Ваську-Карася» написал композитор Васильев-Буглай.

Багрицкий с живым интересом, но и с большим тактом расспрашивал меня о моем недавнем прошлом, о ночлежках, о трудкоммуне. Помню, как блестели у него глаза, когда я рассказал ему об артисте Йыване Кырля, который играл роль главаря беспризорных — Мустафы — в фильме «Путевка в жизнь» и приходил беседовать с коммунарами Болшевской трудкоммуны, бывшими главарями отчаянных шаек... Но особенно заинтересовал Багрицкого рассказ об организованной мною по заданию Горького литературной группе бывших беспризорных, подготовившей к печати альманах «Вчера и сегодня». Эдуард Георгиевич попросил меня познакомить его с участниками альманаха, и вскоре в квартиру Багрицкого получили доступ мои друзья, бывшие «урки», в то время студенты москов-

ских рабфаков и вузов — Селезнев, Дроздюк, Шестаков, Дремов, позже Саша Ворошилов. Ребята с волнением читали ему свои стихи, и Багрицкий критиковал их без всякой скидки. Так же доброжелательно и строго, как стихи любого приходившего к нему. Багрицкий взялся редактировать отдел поэзии во втором нашем альманахе и захотел непременно побывать в Болшевской трудкоммуне. Ребята собирались устроить ему торжественную встречу с оркестром. Багрицкий потребовал категорически: «Никаких встреч, никаких оркестров!» Созвонился с тогдашним директором Гослитиздата Соловьевым, и вот в гослитовской машине Багрицкий, Соловьев и мы с Дроздюком подкатили к клубу трудкоммун... Вечерело, накрапывал дождик. Пока я искал заведующего клубом, Эдуард Георгиевич, нахохлившись в своей кожанке, курил на крыльце сигарку с табаком для астматиков.

Большая комната в клубе едва вместила всех желающих повидать и послушать Багрицкого. Коммунары, участники альманаха, Бобраков и Бобринский читали желанному гостю свои стихи. Багрицкий слушал внимательно, как всегда; как всегда, был и откровенен. Похвалил стихи Павла Бобракова «Праздник», сказал, что здесь хорошо чувствуется дух Пятилетки, назвал их добротными газетными стихами, признался, что сам написал немало таких и знает, какое это трудное дело... Александр Бобринский прочел поэму «О себе». Эдуард Георгиевич отметил талантливость автора, но посоветовал над поэмой еще поработать и обещал помочь. У Бобринского в начале поэмы были строки:

Разве даже на пару минуток
Раньше снилось качуге-шпане,
Что могу я быть близок и чуток
Новой жизни, труду и весне.

Багрицкий так исправил эти строки:

В жизни, замешенной круто,
Быть близким труду и весне
Даже на пару минуток
Не снилось качуге-шпане.

И «Праздник» Бобракова, и поэму Бобринского Эдуард Георгиевич дал во второй альманах «Вчера и сегодня».

Надо сказать несколько слов о Багрицком-редакторе. Поддерживая все, по его мнению, талантливое, он был непримирим к плохому.

В первый день нашего знакомства он выбросил из книги два нравившихся мне и моим друзьям стихотворения, пояснив кратко, что они сделаны слишком под Есенина. Так же поступал он со мной и с другими, когда стихи были сделаны под Маяковского, под Блока... Особенно не любил Эдуард Георгиевич, когда писали стихи под Багрицкого... Помню, как он пробирал одного из моих друзей за такую попытку: «По-своему учитесь писать, по-своему, или ни черта из вас не получится!» Когда ему не нравилось какое-нибудь стихотворение, он говорил без обиняков: «Это барахло. Бросьте это» — и коротко объяснял, почему «барахло»... Зато если что-нибудь нравилось, он приходил в восторг, вскакивал с тахты в развевающимся халате, просил прочесть еще раз, полюбопытней строки запоминал наизусть. Так было, когда участник нашего альманаха, магнитогорский кузнец Александр Ворошилов прочел ему стихи «Высокое напряжение». Багрицкий запомнил наизусть и потом не раз декламировал Сашины строки:

История знает голода беды.
Томила слюна, тяжелея, как ртуть,
Но черные губы гремели: Победа! —
И крик наступленья взрывался во рту...

Помню, с каким воодушевлением он читал напечатанную в «Правде» поэму Николая Дементьева «Мать». Он умел радоваться чужой удаче, как своей. «Хорошие стихи написал Коля! — восклицал он. — Замечательные!»

Весть о смерти Багрицкого застала меня в командировке. Вместе с Е. Долматовским я был на Бобринском химкомбинате, том самом, где Дементьев написал «Мать». Помню, как мы горевали в тот мутный февральский день 1934 года. Вместе с десятками и сотнями людей, знавших Багрицкого лично, горевали десятки и сотни тысяч читателей. Все те «механики, чекисты, рыбоводы», к которым он обращался в своих стихах... Я вспоминал в тот день, как он читал в Болшеве коммунарам и педагогам-чекистам стихи «ТВС», где Феликс Дзержинский говорит:

Да будет почетной участь твоя;
Умри, побеждая, как умер я!

Он умер, побеждая, как боец на посту. И его, как бойца, провожал в последний путь эскадрон молодых кавалеристов.



ПАМЯТИ ДРУГА

1

Мне грешно роптать на судьбу и винить ее в том, что она лишила меня радости общения с крупнейшими поэтами-современниками. Не стану называть имен — пусть даже тень хвастовства не ляжет на мои заметки. Поэт должен быть душевно свободным, как ветер, который проходит по зеленой чинаровой роще. Но не хвастливым и не чванливым. Я не за робость, а за скромность. Робость в творчестве — это бескрылье, ведущее к эпигонству. Скромность же — путь к самокритичности, а потому и к плодотворности.

Таким я знал поэта, о котором думаю сейчас. Он был истинным художником и в том, что им сделано, и в замыслах. О нем я думаю часто потому, что ему в высшей степени были присущи порядочность, душевная чистота и честность, так же необходимые для поэта, как зелень для дерева каждой весной. О нем я думаю часто потому, что его дружба принесла мне много радости. Я любил его. Он был поэтом во всем.

Стремление быть правдивым и искренним, оставаться самим собой, белое называть белым, а черное черным — естественное желание и состояние таланта, его прирожденное свойство. Таким я запомнил Дмитрия Кедрина. Он настоящий поэт, истинный мастер. Я не пишу эти заметки по тому принципу, что об умерших полагается говорить только хорошее. О Кедрине ни один порядочный человек не мог бы говорить плохое. Надо стараться быть верным истине. Платан должен оставаться платаном и ольха — ольхой. От того, что ничего не будем преувеличивать или же скажем о недостатках крупного человека, насколько он не станет меньше. Наоборот, когда людей с живой кровью и плотью, ходивших, как говорится, по грешной земле, пытаемся превратить в иконы или ангелов, вот тогда-то мы и делаем дурное дело. Такое иконизирование было противно им, живым. Почему забываем об этом? Не надо людей превращать в богов.

При обращении к памяти любого деятеля преувеличивать так же не хорошо, как и умалять. А истинный художник не нуждается в ложной славе даже посмертно. О ней мечтает только посредственность. Я не хочу, чтобы

мой живой, красивый собственной красотой Митя Кедрин был превращен в зализанную икону. У него тоже были уязвимые места и в жизни — и в работе. Но его совестьливость и бескорыстие, скромность и требовательность к себе были действительно прекрасны. Таким людям обычно живется нелегко. Кедрин жил трудно. Но, несмотря на это, как подлинный талант, в маленькой деревенской комнатке высек из своего сердца сильные трагические поэмы — «Зодчие», «Рембрандт», «Конь», «Приданое», «Певец». Их мощная живопись и суровая мудрость прекрасны. Я в молодости не до конца понимал значение этих замечательных вещей, их серьезность и актуальность. В них мы видим всю прозорливость Кедрина, народную основу его философии жизни. Если Кедрин по-настоящему ценил поэта, то говорил о нем: «Мастер без дураков!» А знал ли он, что и сам был таким?

2

Вкус у Кедрина был замечательный. Бунина, например, открыл мне он. Любил его, часто читал вслух. Мне нравилась его манера чтения. Он не подвывал, как это делали иные московские стихотворцы, не пел, а читал. Его мягкий баритон был обаятелен. Ему очень нравились и восточные стихи Бунина. Выводя эти строки, я слышу голос друга, не спеша читающего:

Я — простая девка на баштане,
Он — рыбак, веселый человек.

И еще:

Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин...

У Кедрина походка была легкая, руки тонкие. Он был хрупок, изящен, но внутренне мужествен. Разве это не видно из его произведений? Честность зря не дается. Она требует мужества и стойкости. Характер всякого художника остается в его созданиях. С Кедриним тоже получилось так. Он был человеком, привязанным к бытию, преданным жизни со всем великим в ней и милыми мелочами. Жил бедно, но любил хорошо сделанные вещи. Тонко чувствовал мастерство, обожал мастеров. У него были хрустальные бокалы (два или четыре — не помню). Он радовался им. Они чудесно звенели. Мы каждый раз

долго ими чокались — независимо от того, что пили. О них и сказано в стихотворении, обращенном ко мне:

И, как колокол в церкви,
Звонок тонкий бокал.

Он всерьез говорил, что его бокалы имели какое-то отношение к царскому столу. Может быть, так и было.

Дмитрия Кедрина нельзя представить себе замкнутым, аскетичным и книжным. Не было ничего подобного при всей привязанности к книгам и его начитанности. Он был сосредоточенный человек. Но я знал его общительным, любящим бражничанье, застольную беседу, поездки, веселый смех, настоящее остроумие, радость. В нем было много от хорошего гуарства. Недаром он писал:

Гусары влюблялись в цыганок,
И седенький поп их венчал.

И сам он, конечно, был не прочь влюбляться. Понимал женщин. Хорошо к ним относился. Поэт не может не любить радость. Он работает во имя ее.

Дмитрий Кедрин, любивший певчих птиц, одно время много их держал у себя дома в клетках. Заботился, кормил. Потом отказался от своей затеи. Видимо, ему не по душе стало держать птиц в неволе. Я бы поступил так же. Кстати, мне не мило ремесло охотников и птицеловов, хотя мои предки были замечательными охотниками, а многие родичи и по сей день продолжают эти традиции в горах. Кедрин любил снег на деревьях, на крышах, в своем маленьком дворике с низенькой деревянной оградой. В подмосковные ночи мы часто бродили с ним. Я вижу его в белой короткой шубе, слышу его скрипучие легкие шаги на снегу...

3

В подмосковном сельце Черкизово, что по Северной дороге, я бывал у друга часто. А однажды довольно долго жил у него. Он называл меня тогда единственным абрееком Подмосковья. Его сынишка, лет четырех, конечно, не понимал смысла странного для него слова, но тоже стал звать меня «абееком». Маленький Олег обычно играл на улице возле дома. Увидев меня, идущего к ним со стороны станции, бежал к отцу, каждый раз радостно крича:

— Папа! Абеек идет! Абеек идет!

С этим чудным, очень живым мальчишкой

переживали мы много забавных минут. Отец, конечно, сильно любил его, единственного сына, был нежен с ним. Дочка Светлана, удивительно похожая на папу, такая же изящная и хрупкая, была порядком старше братика. Поэтому больше внимания уделялось мальчику. В годы войны со всякой сладостью было трудно. Но если удавалось достать хоть немного конфет или печенья, то Митя прятал на ночь под подушку сынишки. А тот утром поднимал подушку, находил спрятанное и ликовал.

— Вот опять дед Мороз принес тебе подарок. Какой он хороший! — говорил папа.

— Холоший! — повторял мальчик с удовольствием.

Ясно, дед Мороз был для маленького Олега самым любимым из всех гостей. Я тешил себя надеждой занять второе место.

Мы с Митей часто читали Блока вслух. Мальчик крутился возле нас, играл. И однажды, когда мы сидели за столом, малыш бодро прошагал мимо нас, повторяя: «Милый друг, мы с тобой старики». У него это выходило замечательно еще и потому, что он не выговаривал «р». Наблюдая за ним, я часто думал: «Вот будет умницей и талантливый человеком!» Наверное, так и вышло бы, если бы не неожиданная беда: вскоре после трагической гибели отца мальчик утонул!

Я с ними бывал счастлив даже в самые несчастливые для меня дни. Разве я мог предположить, что мне придется писать воспоминания о Кедрине? Милый Митя Кедрин! Он одарил меня и обогатил редкостной бескорыстной дружбой. Это была дружба настоящего человека и художника, открытого и самоотверженного, дружба поэта с мудрым и светлым сердцем.

По моей просьбе его пригласили в город Фрунзе переводить поэтов Киргизстана. Он согласился, прислал телеграмму. Но вскоре, к моему великому горю, пришла весть о его смерти. Я ходил под фрунзенскими тополями в прозрачные дни сентября, одинокий и беспомощный, и только повторял: «Милый Митя Кедрин! Бедный Митя Кедрин!» Мне больше ничего не оставалось. Но я понимал и знал, что поэзии его суждена долгая жизнь, что придет его час. Это было единственным утешением. Жизнь остается жизнью. Мы идем, теряя самых лучших, самых любимых. Такова неизбежность. Хотя бы поэтому трагическая поэзия всегда будет иметь место на земле. Мы теряем самых близких. Но продолжаем быть, делаем свое дело. Так велит жизнь.

В отношении к семье Кедрин был тонок, чуток и справедлив. Тонкость и справедливость были его природными чертами. Но и воспитан он был хорошо. Это чувствовалось во всем. Жена его, Людмила Ивановна, постоянно заботилась о нем, беспокоилась, жила хлопотливо. Трудности военных лет известны. Кедрин не щадила сил, чтобы муж и дети сносно ели. Я был свидетелем ее стараний и трудов. Казалось, что она из ничего делала все. Я видел, какой она была упорной, находчивой и рачительной хозяйкой.

Как-то, придя к ним, я спросил ее:

— Как живешь, Людмила Ивановна?

— Кручусь между Кедриным и печкой!

И это «кружение» выручало поэта, давало возможность писать. Кроме того, будучи образованным и способным человеком, любящим и понимающим литературу, Людмила Ивановна хорошо знала цену таланту мужа и тому, что он успел создать. Не так уж часто везло в этом нашему брату стихотворцу. Все мы, кому дорога его поэзия, многим обязаны Людмиле Ивановне. Терпеливое, внимательное отношение жены, ее заботы, понимание ею значения творческой работы, ее доброта — большое, я бы сказал, ничем не заменимое благо для писателя. Его дом — это его мастерская. Балкарские горцы говорят: «Если на площади буря, пойду домой, а если и дома буря, куда я тогда пойду?!» Людмила Ивановна заслужила нашу признательность еще и тем, что приложила очень много усилий, чтобы творчество Дмитрия Кедрина заняло заслуженное им место, дошло до массы читателей. Пример Кедринной лишней раз доказывает ту истину, что женщина терпеливее и самоотверженнее мужчины.

Дмитрий Кедрин оказал мне большую честь, посвятив одно из лучших стихотворений. Хочется рассказать, как оно родилось. Любителям поэзии, думаю, будет интересно знать, как было написано это стихотворение.

В самом начале 1945 года я приехал с Кавказа в Москву, вернее, был вызван Николаем Тихоновым. Из столицы я предполагал вскоре совсем выехать в Среднюю Азию. Там уже год находилась моя мать и все близкие. Эта история длинная и малоприятная. Подробно останавливаться на ней не буду. Только скажу, что из госпиталя я выписался еще в октябре, но рана не зажила. Ходил, опираясь на палочку. Первое время жил в Мамон-

товке. Часто приезжал на электричке в Черкизово.

Нас как-то пригласил на именины дочери черкизовский приятель Кедрин. Был февральский метельный вечер. За кружащимся снегом не видны стали сосновый бор перед самым селом, старая церковка, стоявшая наискосок от домика Кедриных. В гости мы шли с удовольствием. Признаться, и выпить были не прочь, и человек, пригласивший нас, был нам приятен. А его дочь, Галина, довольно часто заходила к Людмиле Ивановне. Она, по-моему, готовилась стать артисткой. Хорошо читала стихи. В ее молодом, горячем исполнении мы однажды слушали целиком даже «Мцыри». Она была даровита, хороша, мила.

Итак, мы пошли на Галины именины. Двери открыл отец. Из нагретого дома бурно вырвался густой пар и смешался с метелью.

— Добро пожаловать! — весело встретил нас хозяин. Шутливо добавил: — Я уже пьян, господа генералы от литературы! Что вы опаздываете?

В доме было тепло, а стол даже богат для того времени. Присутствовало человек пятнадцать. Мы с Митей сели напротив друг друга. Поздравили молодую, красивую именинницу, выпили. И, надо сказать, не без удовольствия. В такую зимнюю северную ночь да за такую девушку! О чем можно говорить! Пока все закусывали, я сказал Кедрину:

— Знаешь, я мог бы быть офицером Шамиля!

Он ответил:

— Ты был им!

Через несколько дней я снова приехал к Кедриным. Прихрамывая, прошел к столу, сел. Митя взял с письменного стола исписанный лист желтоватой нелинованной бумаги и протянул мне. Это были стихи, обращенные ко мне.

С того зимнего дня прошло довольно много времени. Было всякое. А автограф я сохранил. Еще бы! Вот он лежит передо мной и сейчас, когда пишутся эти строки. На листе сверху стоят три звездочки, а с отступом влево тонким почерком выведено: «Кайсыну Кулиеву». Внизу подпись «Дм. Кедрин». В книгах же поэта стихотворение печатается под названием «Другу-поэту». Кедрин на такое название не согласился бы. Впервые эти стихи были опубликованы в «Избранном» поэта, выпущенном издательством «Советский писатель» в 1947 году. Тогда я находился в Средней Азии, и ставить над стихами мое имя

сочли невозможным, дали бесцветное название, а вместо полного имени того, кому они посвящены, поставили «К. К.». И на том спасибо! В том издании была изъята строфа, позже восстановленная:

И, как Байрон хромая,
Проходил к очагу...
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу...

Видимо, мудрый редактор решил, что для Кайсына Кулиева слишком велика честь хромать, как Байрон! А вот Дмитрий Кедрин по простоте душевной не понимал этого. У автора сказано: «Я не знаю, как пишут по-балкарски «поэт». Это передали таким образом: «Я не знаю, как пишут по-кавказски «поэт», хотя и вышло нелепо: как известно, Кавказ многоязычен.

Как я обрадовался в тот зимний день этим стихам! Если бы мой друг подарил мне, молодому горцу, коня, я не был бы так рад. Добрый шаг русского поэта явился продолжением замечательных традиций великой поэзии России. Я понимал это и тогда. В стихах, подаренных мне, кроме высокой художественности я увидел еще осязаемо-тонкое чувство истории.

Мне хочется привести стихотворение, написанное мне, точно в таком виде, каким я принял его из рук самого Дмитрия Кедрина.

* * *

Кайсыну Кулиеву

Ночь поземкою частой
Заметает поля.
Я пишу тебе: «Здравствуй!»,
Офицер Шамиля.

Вьюга зимнюю сказку
Напевает в трубу.
Я прижал по-кавказски
Руку к сердцу и лбу.

Искры святочной ваты
Блещут в тьме голубой...
Верно, в дни газавата
Мы встречались с тобой.

Глела ярость былая,
Нас враждой разделя:
Я — солдат Николая,
Ты — мюрид Шамяя.

Но над нами есть выше,
Есть нетленнее свет:
Я не знаю, как пишут
По-балкарски «поэт»,

Но не в песне ли сила,
Что открыла для нас
Кабардинцу — Россию,
Славянину — Кавказ?

Эта сила не знак ли,
Чтоб, скитаньем ведом,
Заходил ты, как в саклю,
В крепкий северный дом

И, как Байрон хромая,
Проходил к очагу...
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу,—

В очаге, не померкнув,
Пламя льнет к уголькам,
И, как колокол в церкви,
Звонок тонкий бокал...

К утру иней налипнет
На сосновых стенах.
Мы за лирику выпьем
И за дружбу, кунак!

Случайный, незначительный, казалось бы, разговор побудил Дмитрия Кедрина написать такие благородные стихи. Наверное, так случается с поэтами часто.

Лев Озеров недавно писал, что былая неизвестность замечательного поэта осталась позади. Как хорошо, когда мы видим несправедливость побежденной! Сам Лев Озеров сделал больше всех для того, чтобы творчество Кедрина заняло подобающее ему место. Вот как надо относиться к памяти талантливых товарищей! Дмитрий Кедрин из тех поэтов, которые не пишут стихи «из-за всякой ерунды». Его опыт поучителен во многих отношениях. Его человеческая и художническая честность была безупречной. Таким он остался в памяти своих товарищей и почитателей.

Эти беглые заметки мне хочется закончить стихотворением, написанным мною в Средней Азии. Оно переведено Марком Шехтером.

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ КЕДРИНА

В заснеженном поселке Подмосковья
мы сживали часто, коротая
досуг в домишке из сосновых бревен,
и вслушивались в завыванье вьюги.
Его густые волосы сбегали,
пересекая лоб открытый слева.
Как были тонки и подвижны пальцы!
Он голову откидывал при чтенье,
он отличался легкою походкой,
он радовался, как дитя, пороше.
Я помню — он любил смотреть подолгу
на снег, свалившийся на плечи леса.
Когда читал он вечером метельным,
России сердце в тех строках стучало,
я видел битвы на равнинах снежных
и ощущал себя их очевидцем...

Смерть меднохвостой огненной лисицей
выглядывала из лесу и снова
скрывалась.

Мы же не подозревали
(хотя сосновый бор был близко, близко!),
что на снегу нетронутым, конечно,
она следы незримо оставляла.
В те дни глядели мы не на лисицу,
а в песен чистые глаза гляделись.
Какое дело было нам до смерти!

Ушел вослед лисице меднохвостой
мой друг с безоблачным и добрым сердцем.
Что делать! Уходящий за лисицей

уже не возвращается обратно:
его пути заносит снег глубокий,
а расстоянья поглощают голос.

Вступают смерть и память в поединок,
но друга память уступить не хочет!
Поэзия спешит на бой со смертью,
поэзия бросает смерти вызов,
стихи кричат: — Не отдадим поэта!

Когда из жизни он ушел, планета
мне показалась холодней, суровой.
Обычно это происходит с нами,
когда теряем близких безвозвратно.
Всю силу дружбы — крепости алмаза —
оставьте мне, Поэзия и Память!..

(1945—1948)

Дмитрий Кедрин обогатил советскую поэзию многими истинно талантливыми поэтическими произведениями. Он многое сделал для братства культур народов, для их взаимного обогащения как переводчик. И в этом ему не только я должен выразить свою признательность. Он был мудрым, доброжелательным, взыскательным и требовательным советчиком, неутомимым учителем молодых поэтов. Я хорошо помню, сколько их ходило к нему. В оценке произведений любого автора Кедрин был так же честен и откровенен, как и во всем, что он делал. В его лице советская литература безвременно потеряла одного из лучших своих работников. Он встал бы перед нами очень крупным писателем, если бы судьба дала осуществиться его серьезнейшим замыслам.



КРЕМЛЬ

В тот грозный день, который я люблю,
Меня почтив случайным посещением,
Ты говорил, я помню, с возмущением:
— Большевики стреляют по Кремлю.—
Гора до пят взволнованного сала —
Ты ужасался... Разве знает тля,
Что ведь не кистью на стене Кремля
Свои дела история писала.
В тот год на землю опустилась тьма.
И пел свинец, кирпичный прах вздымая.
Ты подметал его, не понимая,
Что этот прах — история сама...
Мы отдаем покойных власти тленья
И лишний сор — течению воды,
Но ценим вещь, раз есть на ней следы
Ушедшего из мира поколенья,
Раз вещь являет след людских страстей,—
Мы чтим ее и, с книгою равняя,
От времени ревниво охраняя,
По вещи учим опыту детей.
А гибнет вещь — нам в ней горька утрата
Ума врагов и смелости друзей.
Так есть доска, попавшая в музей
Лишь потому, что помнит кровь Марата.
И часто капли трудового пота
Стирает мать. Приводит в Тюильри,
Свое дитя и говорит:— Смотри —
Сюда попала пуля санкюлота...—
Пустой чудак, умерь свою спесивость,
Мы лучше знаем цену красоты.
Мы вносим в жизнь прекрасное, а ты
Привык любить сусальную красоту...
Ведь ты решил, что дрогнула земля
У грузных ног обстрелянного зданья.
Так вслушайся: уже идут преданья
О грозных башнях Красного Кремля.

* * *

Любезный читатель! Вы мрак, вы загадка.
Еще не снята между нами рогатка.
Лежит моя книжка под вашей рукой.
Давайте ж знакомиться! Кто вы такой?
Быть может, Цека посылает такого
В снега, в экспедицию «Сибирякова»,
А может быть, чаю откушав ко сну,

Вы душой браните больную жену.
Но нет, вы из первых. Вторые — скупее,
Вы ж царственно бросили 20 копеек,
Раскрыли портфель и впихнули туда
Пять лет моей жизни, два года труда.
И если вас трогают рифмы и если
Вы дома удобно устроитесь в кресле
С покупкой своей, что дешевле грибов,—
Я нынче же вам расскажу про любовь
Раскосого ходи с работницей русской,
Китайца роман с белобрысой Маруськой,
Как Байрон разгневанный сходит с холста,
Как к Винтеру рыбы ввалились гурьбою,
Как туго пришлось моему Балабою,
Как шлет в контрразведку прошение

мужик

И как мой желудок порою блажит.
Порой в одиночку, по двое, по трое,
Толпою пройдут перед вами герои,
И каждый из них принесет вам ту злость,
Ту грусть, что ему испытать довелось,
Ту радость, ту горечь, ту нежность, тот

смех.

Что всех их роднит, что связует их всех.
Толпа их... Когда, побеседовав с нею,
Читатель, вам станет немного яснее,
Кого вам любить и кого вам беречь,
Кого ненавидеть и чем пренебречь,—
За выпись в блокноте, за строчку в цитате,
За добрую память — спасибо, читатель!..
Любезный читатель! А что, если вы
Поклонник одной лишь «Вечерней
Москвы»,

А что, если вы обыватель и если
Вас трогают только романы Уэдсли.
Увы! Эта книжка без хитрых затей!
Тут барышни не обольщают детей,
Решительный граф, благородный, но
бедный,

Не ставит на карту свой перстень
последний

И вокруг завещания тайного тут
Скапен с Гарпагоном интриг не плетут!..
Двугривенный ваш не бросайте без цели,
Купите-ка лучше коробочку «Дели».
Читать эту книжку не стоит труда:
Поверьте, что в ней пустячки, ерунда.

«ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ»

С именем Николая Васильевича Смолича — народного артиста Советского Союза, одного из старейших оперных режиссеров нашей страны — связана вся история Ленинградского Малого оперного театра. Его справедливо называют «колыбелью советской оперы», — здесь Смоличем были впервые поставлены оперы Д. Д. Шостаковича «Нос» и «Катерина Измайлова».

Если о создании и сценической жизни этих опер существует большая исследовательская литература, то вряд ли широким кругам читателей известно, что Смолич инсценировал поэму Маяковского «Хорошо!» и поставил ее в Ленинградском Малом оперном театре, — поставил сорок лет назад, в день десятой годовщины Октябрьской революции.

Заинтересовавшись этой работой театра, теперь уже начисто забытой, я решил побывать у Смолича, поговорить с ним, узнать подробности.

Когда я шел к Смоличу, мне, естественно, и в голову не могло прийти, что я окажусь в гостях у правнука поэта В. И. Туманского, друга Пушкина; с ним Пушкин служил в Одессе и его помянул в «Отрывках из путешествия Онегина»:

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал...

И еще одна интересная деталь открылась мне в родословной Смолича: он — внучатый племянник знаменитого композитора и певца С. С. Гулак-Артемовского.

Н. В. Смоличу скоро исполнится восемьдесят лет. Он прожил в театре большую жизнь. В прошлом артист Императорского Александринского театра он был первым «красным» управляющим этого театра, а затем — управляющим и художественным руководителем Ленинградского Малого оперного театра.

Вот что рассказал мне Николай Васильевич об инсценировке поэмы Маяковского:

— Десятую годовщину Октябрьской революции мы решили ознаменовать инсценировкой поэмы Маяковского «Хорошо!». Мы задумали создать на ее основе красочный и яркий музыкальный спектакль. Произведение Маяковского увлекло меня не только художественной силой, но и революционным пафосом. Я разбил поэму на ряд эпизодов и

разработал подробную сценическую экспозицию спектакля. Чтобы согласовать с автором текст инсценировки и совместно доработать кое-какие места, я стал разыскивать поэта.

Но в Ленинграде Маяковского не оказалось. Не было его и в Москве, куда я приехал. Мне сообщили, что Маяковский в Крыму, но не смогли указать, где именно. В Симферополе я узнал, что Маяковский находится в Ялте и живет в бывшей гостинице «Россия».

Там и произошла моя встреча с поэтом.

До этого я не был с ним знаком. Я знал Маяковского только по его публичным выступлениям и восхищался тем, как он читал свои стихи. Я глубоко убежден, что никогда ни один чтец не сможет так читать стихи Маяковского, как читал он сам. Между тем, по рассказам друзей, я представлял себе Маяковского человеком самоуверенным и грубым, общение с которым мне, воспитанному в иных традициях, не могло импонировать. Каково же было мое изумление, когда буквально с первых минут знакомства Владимир Владимирович покорила меня заботой, вниманием и тонкой деликатностью, граничащей даже с застенчивостью.

С нескрываемой радостью Маяковский встретил мое сообщение о предстоящем спектакле и безоговорочно согласился сделать все от него зависящее, чтобы постановка была успешной.

Над инсценировкой мы работали по нескольку часов в день около двух недель. Я рассказывал Маяковскому по кускам и вкратце экспозицию сценического действия и его порядок, а Маяковский выбирал из своего произведения те куски, которые бы соответствовали программе этого действия. Попутно он отмечал, что еще должно быть включено «от автора», роль которого поручалась чтецу.

Вечерами, когда Маяковский был свободен от выступлений, мы подолгу гуляли вдоль берега моря и непринужденно беседовали на самые разнообразные темы.

Одна такая беседа мне особенно запомнилась.

В тот вечер Владимир Владимирович содерзжательно и убедительно доказывал мне необходимость скорейшей переоценки ценностей, то есть пересмотра привычных взгля-

дов на моральные и социальные отношения, которые вследствие революции коренным образом изменились.

Должен признаться, что его слова производили на меня сильное впечатление. Но что меня особенно поразило, так это то, что по целому ряду вопросов взгляды наши совпали.

Вдруг совершенно для меня неожиданно он спросил:

— А почему вы не посещаете моих выступлений здесь, в Ялте?

— Не хочу в вас разочаровываться, Владимир Владимирович,— откровенно ответил я.— О вас и без того говорят много такого, чего, как я успел убедиться, нет на самом деле... Но, друг мой, огласитесь: иногда ваша полемика бывает излишне грубоватой, чтобы не сказать больше...

Маяковский нахмурился. Он долго молчал, потом остановился, обнял меня и сказал:

— Революцию в перчатках не делают, дорогой мой Николай Васильевич! А мы, каждый на своем месте, делаем ее!..

И добавил, подумав:

— А вы знаете, сколько скотов и гадов публично задают мне вопросы с расчетом опорочить не меня, а то, во что мы свято веруем? И в ответ я порочу их! Я заставляю их теряться от моих выстрелов, которые, признаюсь, действительно порой плохо пахнут. Но что же прикажете делать, Николай Васильевич? Раскрыть им душу свою нараспашку? Так ведь они в эту душу гнойным сапом наплюют!..

В этих словах мне послышалась искренняя душевная боль.

...Я уезжал из Ялты в шесть часов утра. Несмотря на ранний час, Владимир Владимирович пришел на автобусную стоянку проводить меня. Когда я сел, он незаметно поставил мне под ноги корзину коллекционного вина...

* * *

Инсценировку поэмы Маяковского мы назвали «Двадцать пятое». Премьера состоялась 7 ноября 1927 года. Над этим спектаклем мы работали более полутора месяцев, работали с подъемом и страстью, охваченные стремлением создать подлинно революционный массовый музыкальный спектакль.

Разумеется, описать спектакль невозможно. Скажу лишь, что к участию в нем мы привлекли не только свой оперный состав, хор и оркестр, которым блестяще дирижировал Самуил Абрамович Самосуд, но и драматических актеров — корифеев бывшего Императорского Александринского театра, таких, как Е. П. Корчагина-Александровская и Б. А. Горин-Горяинов.

Помню Керенского — Горина-Горяинова, который, лежа на кровати императрицы, метался в кошмарном сне и во сне как бы видел историю дома Романовых, а в это время балет пластически изображал всех русских царей и цариц,— сцену эту поставил замечательный мастер хореографии Александр Иванович Чекрыгин. Помню вокальную сцену Милюкова, пародирующую сцену Татьяны с няней из «Евгения Онегина»,— Милюкова, изображавшего пушкинскую няню, превосходно пел известный бас Павел Максимович Журавленко.

В спектакле было много хорошей музыки, написанной композитором Штрассенбургом, было много песен, хоровых ансамблей и фрагментов чисто симфонического плана,— словом, получилось музыкальное массовое действие, близкое по духу революционной поэзии Маяковского.

Несколько раз Маяковский приезжал на репетиции. Был он, конечно, и на премьере. В один из его приездов в театр Владимир Владимирович сфотографировался с руководством театра, эта фотография мне дорога, и я храню ее вот уже четыре десятилетия.





Владимир Маяковский в Ленинградском Малом оперном театре в дни работы над инсценировкой поэмы «Хорошо!» (1927 год)



Герой Социалистического Труда Мирзо Турсун-заде

КОМСОМОЛЕЦ, ПОЭТ, СОЛДАТ

На мраморных скрижалях Центрального Дома литераторов навечно выгравированы имена писателей-фронтовиков, погибших героической смертью в суровые годы Великой Отечественной войны. Писатели свято чтут память своих товарищей. Ежегодно 23 февраля — в День Советской Армии — в Доме литераторов, что на улице Воровского, собираются друзья, родственники погибших, читатели. С сердечной любовью вспоминают они тех, кто отдал свой талант и саму жизнь во имя победы над гитлеровцами, во славу своей великой Советской родины..

Эту солдатскую годовщину вечная память и слава отметили бессмертием еще четверых поэтов-воинов. На мемориальную доску занесены имена Николая Майорова, Павла Когана, Николая Отрады, Михаила Кульчицкого. Они не были членами Союза писателей, они не успели вступить в него — ушли на фронт прямо из студенческих аудиторий.

Годы летят, и мало кто сейчас помнит в Иванове Колю Майорова — выпускника 33-й ивановской средней школы. И не только потому, что со дня выпускного школьного вечера минуло четверть века и жизнь разбросала в годы войны сверстников по всей необъятной стране. При жизни Николай Майоров напечатал 2—3 стихотворения¹. Он не спешил печататься, хотя и был глубоко уверен в своем поэтическом призвании. Требовательный к себе, он не искал легкого успеха. А уже в ту пору стихи его были на редкость крепкими, выгодно отличались от «поэтической продукции» сверстников.

Майоров хорошо понимал, как необходим в литературной работе общекультурный багаж. И он год за годом накапливал его. Любовь к истории привела его в Московский государственный университет. А вскоре у студента-историка Майорова появилась и вторая «зачетка», на титульном листе которой значилось: «Литературный институт имени Горького».

¹Н. Майоров опубликовал свои стихи в многотиражной газете Московского университета. После войны друзья поэта В. Н. Болховитинов и В. С. Жуков собрали сохранившиеся рукописи Н. Майорова. Так родилась книга его стихов «Мы», вышедшая в свет в 1962 году в издательстве «Молодая гвардия».

В те далекие дни летних и зимних каникул на традиционные вечера встреч десятиклассников с бывшими воспитанниками 33-й школы он возвращался в Иваново в буквальном смысле «набитый» стихами. С любовью, горячо рассказывал о поэтическом семинаре Павла Антокольского, наизусть читал стихи своих московских друзей. Без похвальбы, смущаясь, как бы не показаться выше других, иногда доставал он вырезки своих стихов из многотиражки «Московский университет»:

— Болховитинов напечатал... Физик он. А послушай, какие стихи пишет! — И начинал читать Болховитинова. Ныне писатель, в те годы студент-физик, В. Н. Болховитинов являлся заведующим отделом литературы и искусства многотиражной университетской газеты.

Желание остаться незамеченным, заслонить свои удачи успехами товарища было одной из отличительных черт характера Коли Майорова. О его человеколюбии, о всегдашнем стремлении помочь ближнему можно было бы привести немало свидетельств. Памятен сороковой год. С финской войны, из госпиталей возвращались наши друзья. Как всегда, собрались у Майоровых — в деревянном домике, что на Авиационной улице. Пришли люди, уже хлебнувшие лиха, познавшие войну не из литературы. Коля жадно расспрашивал, требовал мельчайших подробностей. В мире пахло «большим порохом». Хотелось знать все. Чаще, чем к другим, Майоров обращался к бойцу, правая рука которого висела на перевязи. А когда он ушел, долго взад и вперед бродил по комнате.

— Ведь у него локоть разбит. Разрывной пулей. Не будет рука работать... А без правой — ведь это беда-то какая!

И потом делал все, что только мог, чтобы как-то скрасить, устроить судьбу этого парня.

Но грянула Великая Отечественная война. Почерневший и посуровевший, с обострившимися скулами, появился он в Иванове летом сорок первого. На этот раз недолго ему довелось побыть дома: из Москвы телеграфно известили, что на его имя пришла повестка из райвоенкомата...

Не без юмора обсуждали, в ботинках ехать или в полуботинках. Но юмор был наигранный. Остановились на военной форме. Вещь за вещь извлекались из сундука армейские сапоги, гимнастерка, галифе...

Меня это крайне удивило. И я, помню, сказал ему об этом.

— Ничего удивительного. Сейчас и портянки надену, и портупею... Да ты не думай, что вперед глядел,— говорил он, неторопливо выкладывая из сундука небогатое содержимое.— Это все Алексей. Ты ж знаешь...

Старший брат Николая — Алексей — был летчиком-истребителем и уже находился «в деле».

Наконец все было найдено и надето. Я помог ему застегнуть портупею. С гражданской жизнью было покончено. Почти в каждую семью приходили повестки из райвоенкоматов. Не обошли они и нашу семью. С марша я получил от Николая одну-единственную открытку. Наспех, карандашом, он сообщал, что и как.

Но сохранились письма у друзей погибшего. Каждое из них — человеческий документ. Вот выдержки из них:

«В райвоенкомате прошел медкомиссию. Ждем, когда возьмут в армию. А когда — неизвестно: может, сегодня вечером, а может — через месяц. В университете я получил назначение в Можайск, но это — простая формальность. Я не безногий, чтоб ехать на работу.

Ты в открытке желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хотя ты знаешь, что в этом деле я не отличусь, но что могу сделать — сделаю.

20. 10, 41. Ник.».

«Очень беспокоюсь за братьев, а равно и за родителей. Едва ли сейчас в Иванове спокойно.

Встретил некоторых ребят из университета, они эвакуируются (бегут) в Ашхабад... Увидев нас в шинелях (меня и Арчила), оглядывали нас, как старик Бульба сыновей некогда.

Ну, живу пока ничего. Тяжеловато, но кому нынче легко?

Мне 22 года, впереди фронт... А верстовые столбы — без конца. Идешь-идешь, думаешь-думаешь, и опять ты где-нибудь выплываешь, и опять все сызнова. Курю. Думаю.

Тяжело идти, но я, дай бог, более или менее вынослив. Плохо (очень) с питанием. Есть с чего быть злым. Сплю на шинели, шинелью покрываюсь, в голове — тоже шинель. Не думай, что их — три шинели. Все это случается с одной шинелью.

Ник.

И зачем я пишу все это? А?

8.11,41».

«За последнее время я никому так много не писал писем, как тебе. Не знаю, радоваться или плакать тебе по этому случаю. Домой я не писал полтора месяца,— не знаю, что уж обо мне там думают. О братьях ничего не слышу. А как бы хотелось все обо всех знать! Сегодня — 18 декабря — ровно два месяца, как я в армии. По этому случаю и пишу домой, тебе, братьям.

Ничего не поделаешь — война. Многого бы хотелось, да не все есть. Сейчас приходится меньше требовать, а больше работать.

Кое-как удалось прочесть «Юморески» Гашека, «Два капитана» Каверина. Если не читал последнюю книгу, прочти — хорошая.

Радуюсь нашим успехам на фронтах. Боюсь за братьев. Напиши мне письмо, возможно, оно застанет меня еще здесь.

Ник.

Привет от Арчила.

18. 11, 41».

«Жду эшелона для отправки на фронт. Нахожусь в маршевой роте. Говорят, нас отправляют в гвардейские части, на Московский фронт. Обмундирование хорошее: полушубки, ватники, в дороге валенки дадут. Дали махорки — самое главное. Воевать придется в самые зимние месяцы. Ну да ладно — потерплю. Арчила не взяли в гвардию — слепой. Тяжело было расставаться с ним. Поздравляю тебя с Новым годом.

Николай.

28. 12, 1941 г.»

Только в 1945 году, вернувшись с войны, я узнал, что нет больше Николая Майорова — замполита пулеметной роты.

В «похоронной» сообщалось: «Майоров Николай Петрович, уроженец г. Иванова, 1-я Авиационная, д. 18, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит 8. 2. 42 и похоронен в д. Баренцово Смоленской области».

За давностью времени стоит он передо мной — живой, широкоплечий и сероглазый, с портупеей через плечо, человек недюжинного таланта, наш земляк, солдат и поэт Великой Отечественной войны.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Во время войны я служил старшим инспектором по работе среди войск и населения противника 109-й стрелковой дивизии. В своем письме мне хочется поделиться воспоминаниями о замечательном поэте — воине Семене Гудзенко, с которым я познакомился при следующих обстоятельствах.

Только что отгремели бои за Буду. Пал последний оплот фашистский — Королевский дворец. Над Будапештом вставало первое мирное утро за всю зиму 1945 года. Я отдал приказание свертывать аппаратуру мощноговорящей установки, по которой накануне провели последнюю передачу для немцев о бесполезности сопротивления, а сам подошел к окну. Было видно, как по узкой заваленной кирпичом мостовой шли колонны пленных немцев. Они шли спотыкаясь, понуро, безразличные ко всему.

Прошла колонна. На улице неожиданно раздались звуки баяна, молодой, звонкой русской песни. Из полуразрушенного дома вышла большая группа наших бойцов, потом другая. Вскоре вся улица заполнилась советскими воинами. И тут у меня неожиданно возникло решение через установку проиграть для победителей патефонную пластинку. Вскоре над древним городом понеслась «Песня о Родине» («Широка страна моя родная»).

Не успела докрутиться пластинка, как ко мне в комнату ворвался человек без головного убора, в кожаной куртке с застежкой-молнией. Я принял его за венгра. Однако незнакомец заговорил по-русски:

— Разрешите, товарищ капитан, к микрофону?

— Позвольте! Но кто вы такой? Без погон, без фуражки?

— Вот мои документы! — И он подал удостоверение личности.

«Семен Гудзенко, — прочел я, — сотрудник фронтовой газеты «Суворовский натиск». Стихами и балладами Семена Гудзенко зачитывались воины Будапештской группы войск. Я выключил аппаратуру, подал руку Гудзенко и проговорил:

— Не могу. При всем моем уважении к вам, дорогой поэт!

— Да я же хочу прочитать стихи! — воскликнул Гудзенко.

— Не могу... Как же так, без предварительного просмотра, без санкции начальства, будет тогда нагоняй! — отказывал я, хотя мне очень хотелось послушать стихи.

— Мы же коммунисты. Политработники! А цензура... Вот она, цензура, — и Гудзенко энергичным движением руки показал из окна на улицу, где стояли наши бойцы.

Я сдался. И вот Гудзенко у микрофона.

Никогда я не забуду,
Сколько буду на войне,
Громящую Буду,
Потонувшую в огне...

Я восторженно смотрел в лицо поэта. Оно было необыкновенно. Каждая его черточка дышала вдохновением. На бледных матовых щеках загорался румянец.

И обломки переправы,
И февральский ледоход...
И Дуная берег правый,
Развороченный, как дзот! —

читал поэт, и его сильный голос наполнял мою душу торжественной музыкой, в его стихах слышался победный ритм боев, железная поступь советских штурмующих рот, торжество и величие нашего солдата, боль многострадального Будапешта. Я взглянул в окно и увидел, как бойцы с громадным вниманием слушают поэта.

Когда Гудзенко кончил читать и резким движением головы отбросил каштановую прядь волос, я подбежал к нему и поцеловал его. Гудзенко смутился, что-то хотел сказать, но пожал только руки и ушел.

Через несколько дней я прочел стихотворение Гудзенко во фронтовой газете. Оно быстро нашло путь к солдатским сердцам. И мне на дорогах Венгрии, Чехословакии, Австрии не раз удавалось слышать, как воины вдохновенно читали стихи поэта, участника освобождения Венгрии Семена Гудзенко о Будапеште.

В. ЖОЛНИН, капитан запаса



ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ¹

1

В «Кафе поэтов» Маяковский показывался реже других. Он не был в «Домино» завсегда-таем. На моей памяти — в 1921 году — свои стихи он читал здесь раза два и раза два участвовал в каких-то дискуссиях о поэзии или театре. Но выступал ли он с эстрады кафе «Домино» или — что происходило гораздо чаще — попросту ужинал за столиком в обществе дамы, — Маяковский в пестрой, суетной и крикливой толпе завсегда-тае держался особняком. Он был инородным телом в толпе поэтов, и вовсе не потому, что ростом на голову выше всех.

Просто он был сам по себе — но обособленность свою не подчеркивал, и получалось это у него как-то само собой.

Юношей бездомным в Москве я бывал в «Домино» чуть ли не ежевечерне. Я не был поклонником Маяковского и не принадлежал к числу тех молодых, которые, дождавшись, пока Маяковский выйдет из кафе, торопливо шли следом за ним, а если он оказывался один, то подходили к нему на улице со своими стихами.

Противников у Маяковского в ту пору было немало. Его манера держаться у многих вызывала тогда раздражение и даже негодование — и в то же время безудержный восторг молодежи, особенно «вхутемасовской» — учащейся ВХУТЕМАСа. До официального признания Маяковского было еще далеко. Газеты тогда не продавались, а расклеивались по стенам, и я помню на стенах московских домов номер газеты с громовой статьей на первой полосе «Долой маяковщину!». Автор статьи возмущался тем, что поэт-футурист Маяковский осмеливался подать в суд на Государственное издательство и что суд присудил Маяковскому выплату спорного гонорара. Карикатуры на Маяковского были совсем не редкость не только в то время, но и много позднее. Еще в 1928 году газета «Читатель и писатель», предтеча современной «Литературной газеты», поместила карикатуру Кукрыниксов на Маяковского.

Маяковский с огромной челюстью в лав-

¹ Из книги «Необыкновенные собеседники», готовящейся к печати в издательстве «Советский писатель».

ровом венке был изображен в позе Петра на коне, вздыбившемся над пропастью. Но конь, вернее, конек — деревянный, с привязанной мордой льва в наморднике и с общипанным хвостиком...

В 1921 году ни одно выступление Маяковского не проходило спокойно. Если какая-то часть слушателей шла на очередной вечер Маяковского послушать его стихи, то не меньшая, а быть может, и большая часть шла в надежде развлечься еще одним литературным скандалом.

С одного из самых больших таких литературных скандалов и началось мое знакомство с Владимиром Маяковским. И началось, как, пожалуй, обычно не возникают знакомства.

До знаменитой «чистки» поэтов, устроенной Маяковским зимой 1921 года в Большой аудитории Политехнического музея, я не раз встречал его в «Домино». Как оказалось впоследствии, он меня заприметил в «Кафе поэтов», но знаком я с ним не был. При встрече с ним не раскланивался.

Но вот появились в Москве афиши «Маяковский чистит поэтов». Такого-то месяца и числа вечером в таком-то часу в Большой аудитории Политехнического музея состоится начало «чистки». «Чиститься» будут поэты, поэтессы и поэтессенки с фамилиями на буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. Поэты и поэтессы и поэтессенки предупреждались: «неявка» не освобождает их от прохождения «чистки». Тех, кто не явится, будут «чистить» заочно.

В вечер «чистки» задолго до начала в Большой аудитории музея народу набилось, пожалуй, больше, чем когда бы то ни было. Стояли у стен, в проходах, сидели на ступеньках амфитеатра, на полу перед эстрадой и даже на эстраде, подобрав под себя ноги. На вечерах Маяковского публика всегда была шумно-активна. На этот раз публике было предложено принять непосредственное участие в «чистке» поэтов: решать вопрос о праве того или иного поэта писать стихи предстояло простым поднятием рук. Таким образом, публика, набившая зал до отказа, сплошь состояла из судей. Каждый купивший билет и занявший свое место в зале становился одним из судей поэзии — кто бы он ни был. Как всегда на вечерах Маяковского, значительная часть публики — и, разумеется, молодежь — была безбилетной. Именно эта безбилетная и теснилась в проходах, рассаживалась на полу

перед эстрадой и на эстраде, шумела, выкрикивала, с нетерпением ждала появления Маяковского. Безбилетная молодежь обменивалась подчас едкими репликами с той частью публики, что не скрывала своего негодования «очередным балаганом Маяковского» и отрицала за Маяковским право «чистить» поэтов. Мол, самого его, этого вашего Маяковского, давным-давно пора вычистить из поэзии! «Чистка» еще не началась, трибуна еще пуста, но в публике страсти уже кипят. Споры, а то и откровенная перебранка одновременно возникают в разных концах зала. Среди молодых возбужденных лиц, среди красноармейских шлемов, курток мехом наружу, кожанок и шинелек — бровные воротники неизвестных в Москве бородачей. Тут и там — возмущенные лица почтенных литераторов и артистов, пришедших посмотреть, «до чего может дойти глумление над поэзией». Так же примерно выглядела Большая аудитория Политехнического музея и тогда, когда здесь происходили выступления Мейерхольда или диспуты Луначарского с главой «живой церкви» митрополитом Введенским — есть ли бог и кто создал первого человека? Впрочем, вид аудитории на диспутах Луначарского с Введенским отличался тем, что, по крайней мере, два-три ряда в партере были заняты слушателями в рясах священников.

На этот раз взамен священников, правда, не в ряд, а в разбивку и подальше от эстрады, где должно было происходить «глумление над русской поэзией», сидели почтенные московские профессора, литературоведы и просто хоть и неизвестные, но явно профессорского вида люди.

Публика в большинстве — как всегда, на диспутах тех времен — мужского пола. Среди старых и среди молодых и среди шинелек и среди шуб на меху в неотапленной, но жарко нагретой дыханием сотен людей аудитории женщины в меньшинстве.

Пожалуй, еще недолго, и кипучие споры публики перерастут в драки и мордобой. Но вот шум в зале начинает заметно стихать: на эстраде первыми появляются поэты, добровольно явившиеся на «чистку». Правда, их имен никто не знает. Но лица знакомы всегда: кафе «Домино». Все они — молодые. Некоторые — длинноволосы, некоторые с умопомрачительными бантами вместо галстуков, многие в неподпоясанных широчайших блузах. Одним словом, судя по виду, все они, несомненно, поэты. Эти добровольные «подсудимые» усаживаются рядком на длинной скамье в глубине эстрады под стенкой.

И вдруг зал взрывается: грохот аплодис-

ментов перемежается с улюлюканьем, возгласами «долой», «да здравствует Пушкин!», с протестами против «чистки» и с еще более громкими призывами заткнуть глотки тем, кто протестует против «чистки» поэтов. На эстраде Осип Брик во френче и брюках цвета хаки — сегодня он председательствует — и Маяковский в своем темном костюме при галстукке. Брик объявляет первый вечер «чистки поэтов» открытым. Слово предоставляется Маяковскому. Снова аплодисменты, и снова чьи-то попытки протестовать. Но аплодисменты много громче протестов. Маяковский начинает, стоя рядом с сидящим на стуле Бриком, вскоре, увлекшись, подходит к краю эстрады. Он уже говорит, когда позади него на эстраде появляется сутулая фигура Алексея Крученых. Убедившись, что единственное свободное место — за столом председателя, Крученых садится возле Осипа Брика.

2

Не помню вступления Маяковского к «чистке». Оно было кратким, вызывающим по тону, во многом еще футуристическим, в духе раннего Маяковского, но настолько остроумным, что отдельные возгласы протестов из рядов публики тонули в шуме одобрительных криков молодежи и аплодисментов.

Ахматова была первой или, во всяком случае, одной из первых, с кого началась «чистка». Маяковский прочел ее старое стихотворение «Сероглазый король».

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Он обратил внимание слушателей на ритмическое сродство этого стихотворения с популярной до революции песенкой об Ухарь-купце:

Ехал на Ярмарку Ухарь-купец,
Ухарь-купец, молодой удалец!

Он привел еще одно стихотворение поэтессы, более позднее, написанное после революции:

Думали, нет у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,—
Стал каждый день
Поминальным днем...

Маяковский, помнится, острил насчет того, что вот, мол, пришлось юбку на базаре продать и уже пишет, что стал «каждый день поминальным днем».

Когда Осип Брик поставил на голосование предложение Маяковского: запретить Анне Ахматовой на три года писать стихи, «пока не исправится», большинство простым поднятием рук поддержало Маяковского. Многие из молодежи, сидевшие на полу под самой эстрадой, поднимали по две руки.

Стало ли когда-нибудь известно Ахматовой об этой озорной «чистке» поэтов, устроенной Маяковским в 1921 году? Сообщили ли ей, как сурово разделался с ней Маяковский? Но если и донесли, то, видимо, Ахматова отнеслась к этой «чистке» с достаточным юмором и восприняла ее как очередное озорство буйного Маяковского. Во всяком случае, в 1940 году, уже много лет после смерти Владимира Маяковского, Ахматова написала превосходное, полное уважения к Маяковскому стихотворение: «Маяковский в 1913 году».

Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до сих пор,
То, что разрушал ты,— разрушалось,
В каждом слове бился приговор.

Покончив с Ахматовой, Маяковский перешел к юным и совершенно никому не ведомым поэтам, добровольно явившимся на «чистку». Они сидели рядом на скамье, вставляли один за другим, читали стихи, как правило, плохие, и, очень довольные, улыбались даже тогда, когда Маяковский несколькими острыми словами буквально уничтожал их и запрещал им писать. Некоторых присуждали к трехлетнему воздержанию от стихописательства, давали время на исправление. Публика потешалась, шумела, голосовала. Вообще трудно представить себе что-нибудь веселее этой «чистки» поэтов, поэтесс и поэтессенок. Впрочем, поэтессенок я что-то не помню. Выступали почти исключительно юнцы мужского пола. Только один из них, в светлых кудрях по плечи, с тонким женским голоском, так смутил публику, что из зала спросили:

— Вы мальчик или девочка?

— Мальчик,— на полном серьезе ответил златокудрый поэт.

Ему единогласно запретили писать. Навсегда.

Читал стихи тогда еще очень юный Вячеслав Ковалевский, ныне известный прозаик. Как раз незадолго до «чистки» вышла книга его стихов с предисловием Бальмонта. Когда он ступил к краю эстрады, кто-то в публике крикнул: «Прочтите стихи из книги, к которой Бальмонт написал предисловие!»

Имя Бальмонта тогда было еще очень громко. Ковалевский покраснел от удовольствия и почему-то спросил: «А вы откуда знаете?» Юный поэт был радостно удивлен,

услышав, что его книжку стихов уже читал кто-то из публики.

Маяковский к Ковалевскому отнесся милостиво. Ему было разрешено писать.

Наконец выступил со своими «стихами» Крученых, соратник Маяковского по футуризму. Его известное «Дыр-бул-щир» вызвало веселый смех и свист всего зала. Кажется, даже горой стоявшая за Маяковским молодежь с трудом примирялась с крученыховским «Дыр-бул-щир». Но Маяковский взял Крученых под защиту. Пожалуй, ему было нелегко защищать откровенную «заумь» Крученых и доказывать хохочущей аудитории, что Крученых — поэт и следует разрешить ему продолжать сочинение «дыр-бул-щирной» поэзии. И если Маяковский тем не менее уговорил публику согласиться на признание Крученых поэтом, то это свидетельствует не о даровании Крученых, а о совершенно блистательном ораторском даре Маяковского. На этот раз он поистине совершил невозможное. Не помню, как именно он защищал Крученых. Помню только, что в остроумной защитительной речи в пользу Крученых он несколько раз упоминал Хлебникова, ссылаясь на то, что и Хлебников непонятен для многих. Авторитетом Хлебникова он как бы «подпирал» заумную поэзию Крученых.

Убежденное остроумием Владимира Маяковского, большинство проголосовало за Крученых. Но самому Крученых это показалось мало. Я сидел на эстраде позади Брика и слышал, как Крученых требовал от Брика снова предоставить ему слово. Брик тихо спросил Маяковского:

— Дать ему слово?

Маяковский недовольно шепнул Крученых:

— Я уже сказал о тебе, и хватит. Ничего больше не надо. Молчи.

Крученых угомонился.

И вдруг из-за кулис на эстраду вышли три резко дисгармонирующие с окружающей обстановкой фигуры поэтов-ничегоков. Все — в высоких крахмальных воротничках, с белыми накрахмаленными манишками, в элегантных черных костюмах, лаковых башмаках, у всех волосы сверкают бриллиантом. На груди выступавшего впереди ничегока поверх манишки — красный платок, заткнутый за крахмальный воротничок. В зале поднялся вой. Однако по мере того, как ничегок с красным платком на груди читал манифест ничегоков, вой и шум в зале стихал. Как ни потешны были эти три ничегока, кое-что в их манифесте понравилось публике. Одобрительно приняли заявление, что «Становище ничего-

ков» отрицает за Маяковским право «чистить» поэтов. Но когда ничевоки предложили, чтобы Маяковский отправился к Пампушке на Твербул (то есть к памятнику Пушкину на Тверской бульвар) чистить сапоги всем желающим, вой и шум снова усилились. Враждующие между собой части публики объединились против ничевоков. Одна часть была возмущена выступлением ничевоков против Маяковского, другая тем, что ничевоки посмели назвать памятник Пушкину «Пампушкой».

Маяковский с не улыбочивым строгим лицом поднял руку.

Зал стих.

— Товарищи и граждане,— спросил Маяковский у зала,— вы обратили внимание, что грудь ничевока прикрыта красным платком?

— Обратили!!!

— Хотите знать, зачем ничевоку понадобилось прикрывать манишку платком?

— Хотим!!! Говорите!!!

— Это он для того, чтобы из его носа не капало на манишку!

Все было кончено. Ничевоки были посрамлены. Под улюлюканье зала они покинули эстраду.

3

«Чистка» поэтов продолжалась. Какой-то молодой человек прочитал стихотворение, одно из тех, какие во множестве печатались тогда во всевозможных журналах, на серой бумаге. Профессионально написанное, холодное, ничем не интересное стихотворение.

Маяковский под одобрительные возгласы публики вдребезги разделал стихотворение. И все-таки поэт показался ему не безнадежным. Он предложил запретить молодому человеку печатать свои стихи в течение трех лет, а там... видно будет. Публика снова единоголосна: лес поднятых рук. Предложение принято. Но, как ни странно, молодой поэт был очень доволен. Радостно улыбаясь, он подошел к краю эстрады и признался во всеуслышание, что надул всех присутствующих и самого Маяковского: стихотворение, которое он только что читал, написано вовсе не им. Автор осужденного стихотворения... Валерий Брюсов!!!

Шум. Хохот. Крики. Свистки. Аплодисменты. Брику долго не удавалось унять аудиторию. Спокойнее всех был Маяковский.

— Товарищи и граждане,— прогремел его голос.— Раз установлено, что прочитанные стихи принадлежат Брюсову, значит, и ваш

суровый приговор относится к Валерию Яковлевичу Брюсову.

— То есть ка-ак?

— Очень просто. Ваш приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Валерию Брюсову запрещено писать в течение трех лет... пока не исправится.

Запретить писать Брюсову? Это показалось слишком даже многим из почитателей Маяковского. Что там ни говорите, этого никто не мог ожидать!

Все попытки Осипа Брика утихомирить зал провалились. Один за другим демонстративно поднимались с мест почтенные профессорские фигуры и протискивались к выходу. Кто-то огромный с патриаршей бородой на груди, в распахнутой шубе, возмущенно размахивая руками, демонстративно шагал между рядами. Он еще не успел покинуть зал, как Маяковский, спокойно наблюдавший бурю в зале, иронически заметил по адресу бородача:

— Бриться пошел.

Хохот покотился по залу. Бородач был сражен. Маяковский вновь — победитель.

И вот тут взбрело мне на ум вступить за поруганную честь Валерия Брюсова и выступить против Владимира Маяковского.

В Москве я был новичок. Года еще не прошло, как я приехал сюда из Феодосии, где долгое время находился под непосредственным влиянием парнасских поэтических традиций Максимилиана Волошина. Даже с ломаной строкой я не успел еще примириться. Ритмика стихов Маяковского казалась мне враждебной поэзии. А манера Маяковского обращаться с публикой и даже с признанными поэтами возмущала меня. На «чистку» поэтов я пришел с предубеждением. Все, что наблюдал в течение этого вечера, укрепило меня в том, что Маяковский сам не всерьез относится к «чистке» и что весь этот вечер не более чем озорство. Я с неодобрением смотрел на безвестных поэтов-юнцов, добровольно пришедших «чиститься», и намеренно сел на эстраде в сторонке от них. А на эстраде я оказался как один из множества членов СОПО — Союза поэтов,— хотя сам к тому времени уже бросил «стихописание».

Итак, негодующий, никому не ведомый, очень молодой человек попросил слова у председателя Осипа Брика. На мою беду, слово мне было дано. Не иначе как меня приняли за еще одного стихотворца, принесшего свои вирши на грозный суд Маяковского.

Но я не читал стихи. Я произнес короткую и отнюдь не искусно построенную речь, протестуя против вечера «чистки» поэтов. Я го-

ворил, что «чистка» эта — издевательство и над поэзией и над публикой. Я закончил восклицанием, что Маяковский «чистит» здесь не поэтов, а публику. Выступление безвестного юноши против знаменитого Владимира Маяковского уже само по себе — факт скандальный, а любителей скандалов в публике было едва ли не большинство. Меня наградили аплодисментами. Но торжество мое было очень недолгим. Маяковский, даже не поглядев на меня, шагнул к краю эстрады и, как потом говорили, «принялся делать из меня отбивную». Самым обидным оказалось, что уже давно приметив меня в кафе «Домино», Маяковский сегодня принял меня за одного из поэтов, добровольно пришедших «чиститься», а потом будто бы со страху отказавшегося от «чистки». Тем более мне было обидно, что к тому времени я стихи уже не писал и все, что Маяковский зло, остроумно и уничтожающе говорил о табунках юных стихачей из кафе «Домино», я сам считал полностью справедливым. Тщетно я пытался перебить Маяковского и дать понять залу, что я вовсе не стихописатель. Перебить Маяковского, перекричать Маяковского?! Шутка сказать, кому бы это было под силу! Увы, на каждую мою попытку подать реплику Маяковский отвечал так, что зал покатывался со смеху и по рядам проносились шквалы аплодисментов. Я попал под жернова беспощадного остроумия Маяковского, и, вероятно, только то, что я еще был полон юношески уязвимого самолюбия, мешало мне самому аплодировать Маяковскому.

В несколько минут покончив со мной, Маяковский триумфатором перешел к следующим своим жертвам. Обо мне, разумеется, тотчас забыли. Продолжалась «чистка» поэтов, поэтесс и поэтессенок с фамилиями, начинающимися с буквы А до буквы К. С «вечера чистки» я ушел в полном убеждении, что теперь Маяковский — мой враг. И надо же так было случиться, что на следующий день я встретился с ним.

Я шел с Садово-Самотечной, где жил, через Лихов переулочек к Петровским воротам — своей обычной дорогой в центр. И вдруг на узком тротуаре Лихова переулка показалась широко шагающая навстречу огромная фигура поэта. В теплой короткой куртке с воротником кенгуру, он при каждом шаге выбрасывал палку вперед и затем твердо отталкивался ею от тротуара.

Увидев его еще в глубине переулка, я остановился, на мгновение окаменевший. Еще одна, две минуты, и мы встретимся с ним лицом к лицу.

Не может быть и речи о том, чтобы я раскланялся с ним. Но не должен ли я ему сказать, бросить что-либо злое в отместку за обиду, нанесенную мне вчера? Но что бы я смог!

Я засунул обе руки поглубже в карманы своей меховой куртки и отчаянно зашагал прямо навстречу Владимиру Владимировичу. Я пройду сейчас мимо, всем своим видом подчеркнув, что не желаю даже замечать своего прославленного обидчика. Легко сказать, еще легче подумать — не заметить Маяковского в Лиховом переулке!

И вот тут-то и произошло то, что я меньше всего был способен предвидеть. Маяковский увидел меня и узнал — издали приветливо заулыбался и, прежде чем я поравнялся с ним, снял кепку и дружественно помахал ею в воздухе. Я в полном недоумении остановился посреди тротуара, а Маяковский, подойдя, хлопнул меня по плечу и, ничего не сказав, зашагал дальше по Лихову переулку...

Следующая встреча произошла в Главполитпросвете (я там работал), в большом доме на Сретенском бульваре. И опять, не успев я еще решить, следует ли мне поздороваться с Маяковским, как он приветливо поздоровался первым. Два или три года спустя я рассказал Михаилу Левидову о странных обстоятельствах знакомства с поэтом. Левидов в ту пору бывал у Маяковского, часто играл с ним в карты и как-то передал ему мой рассказ. Маяковский помнил, что произошло на «чистке» поэтов, мое против него дерзкое выступление и то, как он потом разделал меня «под орех». Но хотя на глазах публики Маяковский и разделал меня — лично ему понравилось, что никому не ведомый парень отважился выступить против него. Так вот почему на следующий день после «вечера чистки», встретив меня в Лиховом переулке, Маяковский решил ободрить меня.

— Это совершенно в его характере, — уверял Левидов. — Он не мог не разделить вас на вечере в присутствии публики, как всегда разделял всех своих оппонентов. Но то, что вы, безвестный юноша, посмели выступить против него, лично ему импонировало.

4

При встречах со мной Маяковский никогда не вспоминал эпизода на «чистке» поэтов, а я, разумеется, тем более не напоминал ему. Одно время, работая в Главполитпросвете, я виделся с ним по нескольку раз в неделю. В одной из комнат, среди лабиринтов громадного дома на Сретенском бульваре, Маяковский писал плакаты. Мы, молодые работники

Главполитпросвета (редакционно-издательского отдела), по любому поводу и без повода часто забегали к нему — поглядеть, как работает Маяковский. Такие забеги ему не мешали. В холодной пустынной комнате, в кепке, с кистью в руке, широко расставив ноги, он обычно стоял перед лежавшим на полу плакатом, только законченным или, напротив, едва только начатым. И если работа лишь начиналась, Маяковский даже не замечал гостей. Но если плакат был закончен, он вопросительно смотрел на лица посетителей, проверяя их впечатление. Сосредоточенный на работе, он мало походил на Маяковского, которого знали посетители его вечеров поэзии или диспутов. Люди, знавшие его близко, не раз говорили о несхожести Маяковского на эстраде с Маяковским в обыденной жизни.

В один из летних вечеров 1923 года Михаил Левидов читал у себя дома в Армянском переулке пьесу. Действие ее происходило в Февральскую революцию, и тема тогда была еще модной: интеллигенция и большевики. Нас было — пять слушателей: Михаил Кольцов, Ефим Зозуля, журналист Рябинин, поэтесса Евгения Николаева и я. У Левидова засиделись за полночь, трамваи уже не шли, и мы впятером отправились пешком с Мясницкой (ныне улица Кирова) к Страстной (ныне Пушкинской). Кольцов предложил зайти в «Кружок» — так называли ночной ресторан литературно-артистического кружка. Он помещался тогда в Богословском переулке напротив нынешнего филиала МХАТ.

Мы поднялись по деревянной лестнице старого московского дома и вошли в первый зал. Единственным человеком, сидевшим в этот час в зале «Кружка», был Маяковский. Один за столом, в самом отдаленном углу, с неподвижным лицом, с молчаливо замершими глазами, устремленными в одну точку. Его длинные ноги в башмаках на очень толстой подошве были заброшены одна на другую. Локтями он опирался о стол, и сжатые в кулаки кисти обеих рук подпирали его подбородок. Четверо мужчин и одна женщина наполнили пустующий зал оживленными головами. Маяковский медленно отнял руки от подбородка, повернул голову в нашу сторону, узнал и молча кивнул. И снова подпер подбородок двумя руками и замер. Вид его был так необычен, печаль его глаз так поразила нас, что все мы заговорили шепотом и остановились в растерянности: надо ли было нам заходить сюда во втором часу ночи? И стоит ли нам усаживаться?

Кольцов сделал нам знак и вышел из зала. Пока мы не очутились на улице, никто из

пятерых не проронил ни слова. Первым заговорил Кольцов:

— Как это по-настоящему у него! И как это — по-настоящему, что он, не таясь, не скрывая, так же публично и ревнует, и любит, и переживает свои личные драмы, как читает стихи или спорит с противниками. Вся жизнь на виду. Как у Данте!

Помолчав, Кольцов добавил:

— Публика, знающая его только по выступлениям, понятия о нем не имеет. В жизни это совершенно другой человек. Маяковский, в сущности, очень застенчивый! Скандалист на эстраде, ей-богу, он в жизни самый скромный человек — из всех наших писателей!

Михаил Кольцов был прав. Черты поведения и характера Маяковского во время его выступлений резко бросались в глаза и запоминались публикой. Но эти черты не определяли всей личности Маяковского. Я помню вечер, когда Маяковский был просто трогателен своим вниманием, заботой о младшем брате-поэте.

Женственно тонкий юноша принес в «Огонек» стихи и назвался — Иосиф Уткин. Стихи напечатали, и они привлекли внимание.

Пришел в редакцию «Огонька» Маяковский и встретил Уткина:

— Так это ваши стихи? Хорошо, Иосиф Уткин. Делаете стихи как надо. Я теперь буду следить за вами.

Вскоре после этого в Строгановском училище на Рождественке состоялся вечер поэзии Маяковского. Я пошел послушать. Маяковский, как всегда, имел очень большой успех у юной кипучей аудитории. Молодые художники долго не отпускали его и упрашивали читать еще и еще. Но вот без конца вызываемый аплодисментами Маяковский вышел на эстраду уже не один. Положив обе руки на плечи никому не известного юноши, Маяковский вывел этого юношу на эстраду. Юношей был Иосиф Уткин — он пришел на вечер послушать Владимира Маяковского. Маяковский заметил его среди публики и вытребовал к себе за кулисы. Он решил представить начинающего поэта публике.

— Товарищи! — прогремел Маяковский. — На этот раз вы будете слушать не меня, а молодого поэта Иосифа Уткина. Вы должны познакомиться с ним. Читайте, товарищ Уткин.

Но публика не желала слушать неизвестного ей Иосифа Уткина и, стуча о пол ногами, требовала Маяковского.

— Ма-я-ковский! Ма-я-ковский! Ма-я-ковский!

Движением руки Маяковский успокоил публику и твердо сказал:

— Меня хватит. Вы будете слушать Уткина.

Публика нехотя согласилась. Маяковский, словно опасаясь оставить смущенного Уткина с глазу на глаз с капризной публикой, стал на страже в нескольких шагах от него.

Уткин начал читать и чем дальше читал, тем вернее завоевывал внимание беспокойной аудитории. Когда Уткин прочел:

От нас до бога,
Как от бога до нас...—

Маяковский звонко зааплодировал. Зал подхватил аплодисменты Маяковского, адресованные юному Уткину. Признание состоялось. Успокоенный за Уткина, Маяковский покинул эстраду.

5

В двадцатые годы Маяковского особенно часто можно было встретить в Доме печати. Здесь, разумеется, не могло быть и речи о вечерах, подобных «чистке» поэтов. Да и вообще здесь он не столько читал стихи, сколько всерьез сражался со своими противниками. Особенно часты и не на шутку бывали схватки с Вячеславом Полонским, одним из очень немногих способных устоять в дискуссиях с Маяковским. Здесь Маяковский нередко отстаивал тогда еще спорные в глазах многих редакторов профессиональные интересы поэтов. Я помню, как на каком-то совещании редакторов московских и провинциальных Маяковского обвиняли в том, что он «дерет с редакций рубль за строчку». Кто-то из одесских редакторов выступил с жалобой. Дескать, газета, готовя праздничный номер, обратилась к Владимиру Маяковскому с просьбой дать еще нигде не напечатанное стихотворение. Маяковский ответил требованием «рубля за строчку». Редактор жаловался: такой расход на стихи провинциальной газете, мол, не по средствам. И тогда-то выступил Маяковский и с гневом обрушился на редакторов, экономящих именно на поэтах. Маяковский негодовал: поэтов у нас не признают за профессиональных работников, делание стихов не хотят признать профессией! А поэту деньги надобны и на штаны, и на комнату, и на телефон, и на ботинки на толстой подошве, чтоб ходить по редакциям. Редакторы охотно признают права всех других литературных профессий, но отказываются признать профессиональные интересы поэтов.

— Вы будете платить нам столько, сколько

ко нам нужно, чтоб жить и делать стихи, служа революции стихами,— закончил он свою речь в защиту гонорара поэтов.

Несколько лет подряд в двадцатые годы я работал в «Вечерней Москве» — писал очерки, фельетоны, заметки. Первым редактором газеты был Михаил Кольцов, и при Кольцове гонорары были достаточны по тем временам. Но после Кольцова, особенно когда газета перешла к «Рабочей Москве», гонорары нам снизили. Маяковский часто бывал в редакции. Как-то, увидев, что я сдаю фельетон, он спросил:

— Скольکو вам платят хозяева?

Я сказал.

— Мало. Надо заставить их уважать труд пишущих. А за судебный отчет сколько платят?

Сколько платят за судебный отчет, я не знал и подозвал судебного репортера, вернее репортершу, уже пожилую журналистку Мезенцеву. Она сказала Маяковскому, сколько получает за судебный отчет: «Шесть, семь рублей. За большой или сенсационный — десять».

Маяковский поморщился:

— Зачем же вы позволяете им так обращаться с вами? Если бы платили сто рублей за отчет, я бы сам стал ходить по судам. Вот возьму сейчас и предложу себя в судебные репортеры.

Маяковский уже с порога ошеломил редактора:

— Хотите, чтоб я печатал у Вас в газете судебные отчеты? Будете платить сто рублей за отчет? Буду писать.

— Соблазнительно,— покачал головой и улыбнулся наш молодой редактор.— Если б от меня это зависело, я бы не задумываясь согласился. Да начальство наше не разрешит, Владимир Владимирович. Мы теперь зависим от «Рабочей Москвы». — И вздохнул...

И было отчего вздохнуть. Судебные отчеты в газете, подписанные Владимиром Маяковским, могли стать фактом истории литературы.

У меня сохранился «юбилейный» номер журнала «Огонек», вышедший в 1924 году. «Огоньку» исполнился только год от рождения — с выхода первого номера. Но в ту пору все было молодо. Когда справляли десятилетний юбилей литературной деятельности Михаила Кольцова, юбиляр начал свою ответную речь словами: «Я юбиляр молодой, начинающий». Еще более молодым, чем его редактор, начинающим юбиляром стал и наш «Огонек». Памятную дату отметили очень торжественно. Мы все сфотографировались на фоне пла-

катов, развешанных по стенам редакции в Благовещенском переулке. В первом ряду сидели члены редакционной коллегии: Михаил Кольцов, Ефим Зозуля, Леонид Рябинин. Ныне, когда смотришь на этот снимок, многих недосчитываешься в живых. А выжившие — из молодых людей превратились уже в стариков. Известный художник-карикатурист Борис Ефимов, брат Кольцова, выглядит на этой фотографии совсем еще мальчиком. Фотография была напечатана в юбилейном номере. В двух-трех газетах появились заметки о том, что исполнился год со дня выхода первого номера «Огонька». В Доме печати на Никитском бульваре состоялся торжественный вечер и банкет «огоньковцев» и их друзей. Среди этих друзей тогдашнего «Огонька» был и Владимир Маяковский.

После банкета (в духе того времени — совершенно безалкогольного) и после неизбежного фотографирования за банкетным столом группами разбрелись по ярко освещенным гостиным Дома печати. Маяковский оказался в центре одной из групп. Рядом с ним на диванчике, обитом дореволюционно-роскошным шелком, сидел Михаил Кольцов, а напротив — в сдвинутых креслах — поэтесса Евгения Николаева, знаменитый репортер К. Г. Григорьев, прозванный «Капитаном Чугунной Ногой», Михаил Левидов, я и журналист Янов-Геронский. Позднее его описал Михаил Булгаков как человека, «всегда смотрящего вбок». Об этом Янове-Геронском уже тогда ходило множество анекдотов. Да и сам он в годы, когда многие из нас все еще «щеголяли» в обмотках и не могли заработать на приличный костюм, словно стремился привлечь к себе внимание своим ультрафрантовским «нэпмановским» нарядом: крикливыми галстуками, опереточно-шикарными костюмами, тросточкой с золотым набалдашником, бог весть где добытыми заграничными шляпами «борзалино».

Писания его были примечательны только тем, что писал он печатными буквами, да и то главным образом подписи к фотографиям.

Вот этого человека Маяковский и «взял в работу». Выбранный Яновым псевдоним — Геронский — звучал комически-пышно и претенциозно. Маяковский знал настоящую фамилию «вбок смотрящего человека».

— Зачем вы выбрали такой псевдоним, Янов? Чтоб не позорить фамилию вашего отца? Это вы правильно сделали. Вполне подходит к вашему виду. С таким галстуком, в таком костюме, с такой тросточкой вам только и называться — Геронский!

Жалостливая Николаева улыбнулась:

— Зачем вы обижаете бедного Геронского, Владимир Владимирович?

— Во-первых, не я его, а он сам себя обидел. А во-вторых, ему нравится. Ведь вам нравится, Янов, то, что я о вас говорю?

Скосив глаза на сторону, Янов-Геронский даже порозовел:

— Слушать Маяковского мне всегда нравится. — Он произносил: «Н'авится».

Он и впрямь был очень доволен. Пусть смеются над ним, лишь бы быть ему в центре внимания!

Мы все расхохотались. Все, кроме самого Маяковского. Он вдруг стал очень серьезен. Пожалуй, ответ Янова-Геронского не только не позабавил его, но огорчил.

Маяковский спросил Николаеву на полном серьезе:

— Вы позволите мне уничтожить его сейчас же? Не беспокойтесь — словами!

— Не надо, Владимир Владимирович.

— Жалеете? Янов, скажите спасибо даме! По ходатайству дамы щажу вас.

6

Как-то я пришел в Дом печати с журналисткой Кальмой, позднее ставшей детской писательницей. Это было вскоре после Международного шахматного турнира в Москве с участием гигантов шахматной мысли — Капабланки и Ласкера. Все тогда только и говорили о шахматах. Я только что напечатал свой первый и последний «шахматный» фельетон. Я написал: «Мы за Ласкера против Капабланки, и мы за Капабланку против Ласкера! Мы за шахматы!» Самое забавное, что автор фельетона в шахматы никогда не играл.

Шахматная атмосфера царил в те дни и в Доме печати. Матч был окончен, Ласкер и Капабланка уехали, но по всем углам в гостиних Дома печати за столиками сражались шахматисты-любители.

Мы с Кальмой с трудом нашли свободные кресла в единственной свободной от шахмат гостиной. Неожиданно к нам подошел Маяковский. Сидевший рядом с Кальмой молодой журналист, узнав Маяковского, вскочил и предложил ему место.

— Слава богу, — сказал Маяковский, опускаясь в кресло, — хоть здесь в шахматы не играют. Знаете что, — предложил он вдруг, — пойдете шляться по улицам.

Кальма отказалась. Ей не хотелось уходить из Дома печати.

Маяковский хмыкнул:

— Девочка, шахматами небось увлекаетесь?

Будущую писательницу Кальма в те годы все добрые знакомые называли девочкой: ей тогда не было двадцати.

Нет, она вовсе не увлекалась шахматами. Я спросил Маяковского:

— А вы увлекаетесь?

— Не увлекаюсь и не играю.

— И не играете? — Мне почему-то показалось невероятным, что Маяковский в шахматы не играет.

Видя мое недоумение, он объяснил:

— В шахматы надо играть или по-настоящему, или совсем не играть. Баловаться нельзя. Все равно как делать стихи. Или ты настоящий поэт, или совсем не пиши. В стихах как в шахматах: просчет — и мат королю! Точность нужна. Каждый ход взвешивай на самых точных весах в уме: и в шахматах и в стихе. Плохой шахматист все равно что графоман стихотворец. Вон сколько их развелось!

То ли он имел в виду посредственных шахматистов, то ли посредственных стихотворцев.

А может быть, и тех и других.



6

живой

архив

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

ДЖОН РИД

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ

ОШЕР ШВАРЦМАН

СЕРГЕЙ ОБРАДОВИЧ

ЗУБИЛО (ЮРИЙ ОЛЕША)

ПАВЕЛ РАДИМОВ

ВЛАДИМИР НАРБУТ

ПАВЕЛ АРСКИЙ

ЕВГЕНИЙ БРАЖНЕВ-ТРИФОНОВ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

ЛАРИСА РЕЙСНЕР

ЛЕВ ДЛИГАЧ

ЮРИЙ ВЕРХОВСКИЙ

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

ВЛАДИМИР ЛЬВОВ

АЛЕКСАНДР ОЙСЛЕНДЕР

ЕВГЕНИЙ АБРОСИМОВ

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ

АННА АХМАТОВА

НИКОЛАЙ ХАРДЖИЕВ



Фрагмент гравюры художника Н. И. ПИСКАРЕВА

СОЛОВЬИНОЕ БРАТСТВО

«Мечты поэта —
Историк строгий гонит вас!»
(А. С. Пушкин, «Герой»)

Прежде всего должен предупредить читателя: все, что последует в дальнейшем изложении, не является обязательно исторически обоснованным и подтвержденным литературоведческими исследованиями. Это скорее и больше воображаемое, чем бывшее в действительности, представляемое, но не в точности случившееся на самом деле. И однако, за это воображаемое и представляемое я стоял бы, как за лично мною виденное, ничуть не кривя душой в правдивости высказанного. Я действительно вижу их как бы наяву — двух поэтов, обожженных пламенностью друг друга, сплавленных этой пламенностью в едином объятии, которое — утверждаю это — не было разорвано никогда и никем. И пускай не осталось свидетелей тех времен и событий, пускай скудны и несовершенны источники, освещающие это великое братство представителей двух родственных культур: о нем мне рассказано самими участниками событий — Пушкиным и Мицкевичем.

Когда я переводил «Конрада Валленрода», я заинтересовался той средой и теми обстоятельствами, которые сопутствовали созданию этой поэмы. Это были двадцатые годы прошлого столетия. Мицкевич был выслан из Польши в почетную ссылку в Россию, за участие в обществе «любомудров», любителей истины и свободы, — кружок, который был сочтен опасным для самодержавия и разгромлен царским правительством. Мицкевич не мог не чувствовать себя пленником царского правительства, принужденным находиться под присмотром чересчур внимательных к нему и его творчеству охранных глаз. Пушкин, вернувшийся также из ссылки в Михайловское, не мог не почувствовать какой-то внутренней близости своей судьбы с судьбой великого польского поэта. В 1826 году — как говорится об этом в сборнике «Рукою Пушкина» — произошла их встреча на обеде «Московского вестника». Вспоминают участники этого обеда, что Пушкин, восхищенный импровизацией Мицкевича, бросился к нему в объятия.

Но не только блестящее дарование импровизатора восхитило Пушкина в Мицкевиче.



Уже значительно позже, в 1828 году, мы можем отметить как бы новый толчок сердца Пушкина в отношении Мицкевича. Несомненно, что и между двумя отмечаемыми нами датами существовали встречи и беседы между ними; несомненно, что ближе и лучше узнали они друг друга не только по первому впечатлению.

В это же время была закончена Мицкевичем его поэма «Конрад Валленрод», содержанием которой была месть героя поэмы за разорение и унижение его отечества орденом немецких рыцарей, крестом и мечом покоривших сначала славянское племя пруссов, затем напавших на соседнюю Литву. Герой поэмы Мицкевича Конрад Валленрод, принявший это имя, принадлежавшее погибшему в крестовых походах немецкому графу, и под личиной рыцаря ордена проникший в круг высшего рыцарского общества, становится магистром ордена; путем измены и хитрости он подрывает могущество и славу ордена. Таким образом, герой спасает Литву от опасности быть поко-

ренной немецкими рыцарями, сам погибая и губя любимую им женщину ради высокой цели величия родины.

Поэма имела необычайный успех как среди русского общества, так тем более среди польского. Распространяемая в списках, она читалась и в литературных кружках и великосветских салонах, как образец благородства чувств и самопожертвования личной судьбой. Не будет слишком смелым сказать, что известность Адама Мицкевича как поэта утвердилась и во много раз возросла именно в связи с успехом «Конрада Валленрода».

Пушкин не мог не почувствовать значение этой вещи. Но кроме ее блестящих поэтических достоинств Пушкиным усматривалась и та рознь, которая заключалась в ней в связи с местом и временем ее написания. Рознь двух славянских культур, двух концепций развития народов, из которых одна трактовала отчужденное, несогласное с соседством двух братских судеб народов, вторая — близкое и родственное, основанное на общности задач и стремлений. Словом, положение Мицкевича как высланного в ссылку ставило его самого на место его героя Конрада Валленрода. Пушкин, не имея возможности открыто сказать Мицкевичу о том, что дружба двух народов, двух славянских племен, не может зависеть от временных обстоятельств и случайностей политических разногласий, сделал это иным путем. Сказать прямо об этом он не мог потому, что в таком высказывании было бы прямое указание на «неблагонадежность» как самой поэмы, так и Мицкевича в целом. Пушкин избрал, мне кажется, другой путь: строчками самой поэмы, словами самого его автора напомнить о нерушимом братстве польской и русской культур, об общем пути их дальнейшего развития, в образе «общего острова», в который слетаются их певцы. Как это было достигнуто?

Пушкин переводит «Вступление» к поэме, не доканчивая его. Меня удивило то обстоятельство, почему Пушкин, вовсе не разбрасывавшийся в своих творческих намерениях и замыслах, оставил вдруг этот перевод без окончания. После того как переведены сорок три строки предыдущих, Пушкин останавливается на трех строках, где говорится о дружбе и общем языке соловьев с двух берегов, разделенных враждой: прусским берегом и литовским. При этом Пушкину не мог быть неизвестным тот факт, что покоренные немцами пруссы были славянским племенем. Однако переводчик не считается с этим обстоятельством, как бы не желая его подчеркивать;

у Пушкина вместо прусской тополи — немецкая тополь. Так вуалируется политическая, государственная междоусобица. Пушкин не окончил своего перевода, хотя оставалось перевести всего четырнадцать строк, хотя сорок три предыдущие были им так дивно переведены. Вот именно потому, чтобы дать знать Мицкевичу о важности именно этих строк.

Лишь соловьи дубрав и гор
По старине вражды не знали,
И в остров общий с давних пор
Друг к другу в гости прилетали.

Кстати, у Мицкевича указано точно место соловьиных роц и гор. Пушкину не надо было сводить место действия к определенной местности. Его призыв к дружбе и братству был передан Мицкевичу словами самого Мицкевича! Вот, по-моему, смысл недоконченности перевода «Вступления» к поэме. И было бы странным искать причины этой недоконченности в том, что Пушкин охладил к переводу или остался недоволен своей работой. Сама прелесть переведенных строк зывает к продолжению. Если Пушкин при первой встрече загорелся, почувствовав истинное вдохновение в импровизации Мицкевича, то это неостывающее сочувствие к братской судьбе должно усматриваться и в этой заботе Пушкина, предупреждавшего Мицкевича о неразрывности связей их народов, ● неразрывности связей двух культур.

Могут сказать, что этого слишком мало, чтобы делать умозаключение об истинных мотивах обрыва перевода «Вступления». Нет, не мало, если принять во внимание всю многозначительность самого факта перевода Пушкиным этой вещи. Ведь Пушкин очень мало обращался к переводам. Если не считать «Орлеанской девы» Вольтера, переводной деятельностью Пушкин не увлекался, тем более знаменательно его обращение к «Вступлению» к поэме Мицкевича. О других переводах из Мицкевича, сделанных Пушкиным, мы будем говорить позже.

И не значит ли это, что Мицкевич так затронул воображение Пушкина, что неоднократно он обращается к его образу, то в «Египетских ночах», то в «Езерском», вспоминая этот поразивший его облик поэта-импровизатора:

Поэт идет, открыты вежды,
Но он не видит никого,
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его.

Таким Пушкин увидел впервые Мицкевича, таким его облик запечатлелся ему навсегда. Ведь для Пушкина, знавшего больше всех и жарче всех, как упорно надо бороться за каждое слово стиха, за каждый звук в слове, для того чтобы выразить полноценно свои мысли и чувства, для Пушкина импровизационный дар Мицкевича был чем-то вроде распускающегося на глазах цветка или кристаллизовавшейся радуги. И пушкинский порыв и восторг были не только благодарностью за произведенное на глазах чудо, но и жадным желанием удостовериться в действительности самого чудотворца, в его материальном существовании.

Этот диалог из «Египетских ночей» как бы живописует их никем не услышанную встречу:

«— Что? — спросил импровизатор, — как ково?»

— Удивительно, — отвечал поэт. — Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрепятственно...»

Как будто это слова самого Пушкина, а не Чарского. Конечно, не следует думать, что Пушкин в лице описанного в «Египетских ночах» импровизатора хотел изобразить Мицкевича. Это облик собирательный, Пушкину ведь приводилось слышать и других импровизаторов. Но удивление истинным, вечно хранимым в груди огнем, вспыхивающим при прикосновении чужой мысли, было для Пушкина настолько удивительно, что это впечатление могло быть вынесено им только от встречи с Мицкевичем. Ни немец, ни итальянец импровизаторы не поразили и не оставили следов. И не о Мицкевиче ли написаны эти строки:

Но ни один волшебник милый,
Владелец умственных даров,
Не вымышлял с такою силой
Так хитро сказок и стихов,—

Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи дики и косматы,
А жены гуриям равны.

Ведь Пушкин уже тогда был ознакомлен с героями Мицкевича — «с медвежьей кожей на плечах, в косматой рысьей шапке», которых он так чудесно показал русскому читателю.

Так или иначе, а гений Мицкевича был настолько дорог и близок Пушкину, что он заставлял помнить о себе в самые разные периоды жизни и творчества Пушкина. Вот вторая Болдинская осень. Пушкин в полном расцвете своей возмужалой деятельности. Он

пишет «Медного всадника», «Анджело», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», «Осень», «Гусары» да и многое другое. Уже вышеперечисленного хватило бы на две поэтических жизни. И, однако, в эту же вторую Болдинскую осень 1833 года Пушкин находит время и огня для перевода двух баллад Мицкевича. И для какого перевода! Приблизившего гений Мицкевича вплотную к глазам русского читателя. Об истории этих переводов стоит поговорить отдельно.

В июле того же достопримечательного года приехавший из Парижа друг и однокашник Пушкина Соболевский привез ему в подарок томик стихов Адама Мицкевича, вышедший в то время в Париже. Мицкевич был давно уже там же, читая лекции по славянским литературам французским студентам. Подарок Соболевского не был простым. В томике было помещено стихотворение Мицкевича «Русским друзьям», в котором содержались упреки, могущие быть воспринятыми Пушкиным адресованными ему. Соболевский знал об этом и неспроста сопроводил томик двусмысленною надписью: «А. С. Пушкину за прилежание, успехи и благонравие».

В связи с уже упомянутым стихотворением Мицкевича эта надпись могла быть истолкована как насмешка и издевательство, если бы Пушкину хоть на минутку пришла в голову мысль о том, что и стихи Мицкевича имеют в виду его «благонравие» в отношении дела декабристов. Пушкин при его огневом темпераменте, не переносившем никаких и более невинных шуток над собой, заподозрив насмешку, немедленно оторвал бы Соболевскому голову. Однако этого не было. Вместо этого Пушкин тщательно переписывает из сборника стихов Мицкевича своей рукой поэмы «Олешкевич», «Памятник Петру Великому», «Друзьям русским». И садится за переводы «Воеводы» и «Будрыса».

Чем, как не великой любовью к Мицкевичу, можно объяснить это? Да тем, что глупая выходка Соболевского была воспринята Пушкиным как неуклюжий и неумный выверт, а стихотворение Мицкевича отозвалось в его сердце новым порывом сочувствия к его разобщенности и отдаленности от «общего острова», от общей братской их ответственности за единство своих народов, их культур, их судеб. Ведь достаточно припомнить только эти переводы, эти воссоздания Мицкевича на русском языке, чтобы понять, как любовно и бережно переносило их с одного берега на другой. Вспомните «Воеводу». Уже самое подыскание заглавия, передающего смысл со-

держания баллады, достойно внимания. По-польски оно звучит как «Стража», что по-русски было бы только формальной точностью. Ведь «стража» или «дозор» в русском значении имеют смысл какого-то военного или полицейского патруля, совершенно не идущего для данного сюжета. «Воевода» же определяет и охватывает самый замысел баллады. Он и дан таким в тексте, этот старик, польским магнатом, самовластным и грозным, безответственным в своих поступках, ревнивым убийцей, не терпящим никакого другого мерила своих поступков, кроме своей власти.

И смотрите, как он передан Пушкиным в его переводе.

Поздно ночью из похода
Воротился воевода.
Он слугам велит молчать;
В спальню кинулся к постеле;
Дернул полог... В самом деле!
Никого; пуста кровать.

Какие резкие, порывистые строки; почти слышимые стоны и проклятия сквозь крепко сжатые зубы! Донос подтвержден действительностью: никого, пуста кровать. Читатель уже может вообразить себе измену, бегство, обман. Нет, ничего этого нету. Есть последнее свиданье с любимым человеком, от которого отказалась молодая женщина, приневоленная к ненавистному замужеству. Есть последнее трогательное свидание с тем, кто летел «во мраке ночи милой панны видеть очи, ручку нежную пожать; пожелать для новоселья много лет ей и веселья, и потом навеки бежать». Свидание трогательно и невинно, но кара за него страшная...

Но зачем пересказывать прозой, что не может быть изменено ни в одном звуке. Ведь вот достаточно было найти подробность внешности воеводы, чтобы дать его в повадке, в спесивости, в гневе:

Стал крутить свой сивый ус...
Рукава назад закинул,
Вышел вон, замок задвинул;
«Гей ты, кликнул, чертов кус!..»

Так он и рисуется перед глазами, с длинными, ниже колен рукавами, откинутыми для дальнейших движений, с шапкой дорогого меха на бровях.

И напрасно некоторые знатоки Мицкевича упрекают Пушкина в неточности перевода слова «пани» словом «панна», дело в том, что по-русски «пани» — это нечто важное, солидное, господское. А для влюбленного, прискакавшего на последнее свидание, она все еще панна, любимое и потерянное навеки существо, оставшееся для него неизменным, вышедшим к нему навстречу без надменной поступи,

без величественной осанки пани-воеводши. Да и звучит «панна» нежней и милей для русского уха. Пушкин знал, что делал, придавая то значение слову, которое будет ярче и светлее показывать смысл читателю.

А «Будрыс и его сыновья»? Разве может быть не почувствован вами тот живой народный юмор над расчетами старика отца, желающего отправить за добычей своих сыновей в разные стороны света и, неожиданно для себя, направляющего их в одну сторону — в сторону Польши, где мало богатства и блеску... «Но уж верно оттуда привезет он мне на дом невестку». И старик так ярко описывает внешность польской девушки, что все три сына, презрев богатство и славу, спешат в одну сторону, туда, где «жены гуриям равны». (Последнего выражения красоты нет в «Будрысе». Зато оно есть у Пушкина в стихотворении «В прохладе сладостных фонтанов», как нами упомянуто уже, относящемся к Мицкевичу.) Юностью, жаром, весельем, буйством жизни дышат строки Мицкевича. И Пушкин бережно переносит эти драгоценные свойства подлинника в русскую речь, в русский стих, не повредив и не притушив греющего их жара. И недаром популярность этого перевода стала, наравне с подлинником, известна на Западе. Во Франции, например, Мериме в своей новелле «Локис» говорит устами графа Шемета о прелестной «даине» Мицкевича, которую он предлагает вниманию собеседника не только в польском подлиннике, но и в «великолепном переводе» Пушкина. Значительность этого сообщения не только в той известности, которой пользовались оба эти имени на Западе, но и в том, что оба эти имени были совместно упомянуты Мериме. Значит, и тогда уже в глазах современников их творческая дружба, их соловьиная переключка были оценены внимательными свидетелями. После всего сообщенного, думаю, что очень небольшую значимость имеют все рассуждения о розни, которую видят в стихотворении Мицкевича «Друзьям русским» и в стихотворении Пушкина «Он между нами жил». Для Мицкевича, разгневанного и огорченного неудачей попытки Польши освободиться от самодержавия, невозможно было оставаться объективным в оценке двух позиций, двух политических оценок тогдашнего состояния их государств. Отсюда — симпатия к погибшим героям декабризма и угрюмая подозрительность ко всем, кто остался вне царской кары. И Пушкин с его огромным умственным кругозором лишь в 1834 году ответил на желчные строки Мицкевича, ответил за всех русских, а не за себя, как это часто

трактуются неблагожелательными исследователями, позиция которых ближе к упомянутой надписи Соболевского, двусмысленного друга, самолюбивого и завистливого человека, посредственного литератора, имя которого не упомянуто Пушкиным ни в произведениях его, ни в дневниках. Сам же Пушкин, вынужденный оценить позицию Мицкевича, как глубоко ошибочную в отношении России, сказал в своем стихотворении чрезвычайно много. Во-первых, он подчеркнул, что «он вдохновлен был евыше и свысока взирал на жизнь», то есть не мог видеть жизни в ее многообразных проявлениях, созерцая ее лишь сверху, со своего поэтического взлета.

Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Эти мысли вкладывает в уста Мицкевича Пушкин, как бы желая сделать их родными и близкими беседам, посещавшимся польским изгнанником.

Но — «теперь наш мирный гость нам стал врагом и ядом стихи свои в угоду черни буйной он напояет». Здесь очень важно то, что Пушкин говорит о вражде со стороны Мицкевича, а не о взаимной вражде. Он стал нам

врагом, а не мы ему стали врагами! Этого как-то не отмечают. В этих и последующих строках стихотворения Пушкин больше печалится, чем упрекает, соболезнует, а не осуждает; и заключает стихотворение просьба к небу, к богу — освятить в Мицкевиче сердце правдою и миром.

И, мне кажется, было бы справедливым, упоминая об этих строках, толковать их именно таким образом, в свете навсегда сохранившейся дружбы между ними. И через высокий барьер разделявших их тогда польско-русских взаимных обид и тяжб на право первородства следует услышать и тогда перекликавшиеся их голоса. Услышать их каждого со своим напевом, слетавшихся в «общий остров» будущего, когда народы их стран в дружную семью соединятся. Хочется и должно видеть эти две величественные фигуры, братски обнявшиеся при первой встрече и не разъединившие этих объятий никакой взаимной отчужденностью. Певцов двух братских стран, близких по языку, сродных по народности, двух братских стран, исторические судьбы которых нашли наконец свое общее русло, то, о котором мечтали в своих замыслах оба великих поэта.

Ноябрь 1955 г.

ДЖОН РИД

Джон Рид, как и многие другие замечательные прозаики и публицисты, начинал со стихов.

Ранние стихи Рида достаточно традиционны. Поэма же «Америка, 1918» несомненно связана с бунтарским, новаторским стихом Уитмена и другого замечательного американского поэта, начинавшего примерно в одно время с Ридом, — Карла Сендберга.

Поэма написана, а точнее — вчерне набросана, в 1918 году в Осло, когда Джон Рид возвращался из революционного Петрограда в Соединенные Штаты. В Осло Рид думал о России и Америке, здесь он написал предлагаемые вниманию читателя отрывки своей американской поэмы и сделал первые наброски своей русской книги. Эта книга «10 дней, которые потрясли мир» была, как известно, закончена в январе 1919 года и начала свой долгий и славный путь по свету. К американской поэме Джон Рид более, по-видимому, не возвращался. В 1935 году она была впервые опубликована в Нью-Йорке — в черновом и явно не законченном виде. Год назад советский исследователь Б. Гиленсон, много сделавший для изучения и пропаганды творчества Джона Рида, опубликовал его поэму в «Антологии Джона Рида», вышедшей на английском языке в издательстве «Прогресс».

Борис Слуцкий

[Отрывки из поэмы]

За морем — мой край, моя Америка,
Стянутая сталью, жестоко блестящая мощью,
Победительно, громогласно трубящая
Высокие слова: «За свободу... Демократия...»
В ответ шевелится что-то глубинное
(Ведь страна — моя, моя — Америка!),
Словно в пустынной и глубокой ночи
Позвала меня моя утраченная, моя первая любимая,
Уже нелюбимая, нелюбимая, нелюбимая...

1

По моему вольному детству на широком Западе,
По мощной прекрасной реке, сетям, плотам...
По китайским кварталам, волнуемым таинственными гонгами,
По голубому гремучему Тихому океану, трубящему вечернюю зорю...
По затерянным берегам, бивачным кострам, воплям охотящихся пум,
По волнам хребтов и глади покоренной солнцем пустыни,
По ночам со вспышками звезд под куполом неба, со скулежом кой-
отов,
По серому гурту, бредущему на Восток, созидавая замки пыли,
По свистящим, медлительным кольцам лассо, колышущимся шляпам,
по понуканьям...

По бескрайним фруктовым садам в разгаре расцвета,
По золото-зеленым апельсиновым рощам и нависшим над ними
снежным вершинам..

По недожаренным наглым городам, выскочившим из ничего,
Хвастая и скандаля, смолоду и сдуру...
Я узнаю тебя, Америка!

Жилистые пожилые старатели, бредущие по солончакам Невады,
Вслед за упирающимися вьючными лошадьми..
Сплавщики в подкованных сапогах, с баграми, скачущие на заторах
в водоворотах,
Индейцы на углу в Покателло, выщипывающие растительность на
лице с помощью зеркальца и пинцета...

Горланящие рудокопы с Аляски,
крушащие зеркала,
бросающие лакею золотой за рюмку виски,
говоря: — Сдачи не надо! —

Хозяева танцулек в поселках строителей...

Бродяги, оседлавшие буфера...

Шулеры и агенты по продаже недвижимости,
короли леса, короли хлеба, короли мяса...

Я узнаю вас, американцы!

2

По моей светлой юности в золотых городах Востока...
Гарвард.. мука мужанья, экстаз расцветанья,
Трепет от книг, трепет дружбы, культ героев,
Яд танцев, ураган великой музыки,
Восторг расточенья, первое осознание своей силы...
Буйные ночи в Бостоне, битвы с полисменами...

И огромный стадион, вздымающий свои тысячи,
Скандируя похвалы или грохоча песни,
Когда Гарвард забил Йелю... И по этому, по этому
Я узнаю тебя, Америка!
По надменному Нью-Йорку и его завалившим людей Маттергорнам...
Манхеттен окружают корабли.
Он младше всех столиц — суровый, дерзкий.
Его корсаж в бриллиантовой пыли.
Увенчан он короною имперской.
Кто раз в нем был, тот навсегда палим
Изгнанием и возвратиться жаждет.
Он, как луна, влачит людей прилив,
Всех, кто в его жестокой воле страждет.

Парящая Пятая авеню,
Вечно обновляющаяся выставка блистательных куртизанок,
Фантастика красок, блеск шелков и серебра, комнатные собачки,
Шестие автомобилей, похожих на футляры для бриллиантов,
Величественный полисмен, поднявший руку в желтой перчатке,
Дворцы, гигантские отели, старики в окнах клубов,
Потогонные фабрики изрыгают свои бурые армии в полдень...

Бродвей вспорол город, как поток лавы,
Он увенчан снопами искр, как разметываемый костер.
Сверкающие театры, бесстыдные рестораны, запах пудры,
Кинодворцы, ломбарды, искусственные бриллианты,
Хористки, обходящие бюро по найму...
И весь распаленный мир румян и манишек...
Старый Гринич Вилледж, оплот дилетантов,
Поле битвы всех несовершеннолетних утопий,
Наполовину — мир псевдобогемы, любимый трущобными жителями,
Наполовину — убежище для париев и недовольных...
Вольное братство художников, моряков, поэтов,
Легкомысленных женщин, астрологов, бродяг и стачечных лидеров,
Актрис, натурщиц, анонимов или псевдонимов,
Музыкантов, которым приходится колотить по клавишам в киношке...
В большинстве — юные, в большинстве — бедные,
работают, распутничают,
Играя в искусство, играя в любовь, играя в революцию
В заколдованных границах этой невероятной республики...

Ист Сайд, миры внутри мира, хаос наций,
Клоака кочевых племен,
последний и жалчайший
Из портов назначения Западной Одиссеи человечества...
На рассвете он извергает колоссальный поток фуража для машин,
Вечером — всасывает его с ужасным грубым треском
В логово квартиренок, в грошовой киношки, в салуны...
Ребята слоняются у салуна,
затягиваются дешевыми сигаретами,
Поглядывают на девчонок в коротких юбках,
проходящих хихикающими парочками,
Лавируя между детьми,
кишащими на грязной панели...
Дети — в грубых дерзких играх
под копытами ломовых лошадей,
Изможденные женщины, кричащие на них и друг на друга
на гнусавых иностранных наречиях,

Старики, теснящиеся на верандах,
в жилетах, с вечерними трубками в зубах...

Экзотический Негритянский город..
И его черный, чувственный, задешево счастливый люд,
которого все сторонятся..
Центральный парк, элегантные автомобили, мурлычущие на аллеях,
Элегантные всадники, фланирующая элита,
На скамьях беспокойно обжимаются влюбленные,
поглядывая, не видно ли полисмена,
А жаркими ночами сюда льются задыхающиеся трущобы,
чтобы поспать на лужайке..
Гарлем, подержанный и слегка уцененный Нью-Йорк...

...И в другом полушарии, в трех тысячах миль отсюда,
без путеводителя или карты,
Я опишу — только скажите —
и вас, и ваших обитателей,
Пьяных и трезвых, под луной и под солнцем,
в любую погоду..
Я играл в кости с гангстерами
И видел, что произошло с неопытным шпиком
на Санжуанском холме..
Я могу рассказать вам, где нанять убийцу,
чтобы пришить стукача,
И где покупают и продают девчонок,
и как добыть марафет на 125-й улице,
И о чем говорят люди в отдельных кабинетах Лафайеттовых бань..
Мил и дорог и всегда нов для меня этот город,
Словно тело моей любимой...

Все звуки — резкий лязг надземки,
грохот подземки,
Стук полицейских дубинок по полуночным панелям,
Болезненная и монотонная шарманка,
протесты автосирен,
Пулеметный треск пневматических молотков,
Глухие взрывы где-то глубоко под землей,
Однообразные крики газетчиков,
частые звонки неотложек,
Низкие неровные гудки вечернего порта
И гремящее шарканье миллионов ног..
Все запахи — модельной обуви, подержанной одежды,
Голландских пекарен, воскресных яств, кошерной стряпни,
Свежий запах газетных тонн..
Метро, пахнущее как усыпальница Рамзеса Великого,
Усталый запах человеческой пыли
И кислое зловоние трущоб..
Люди — менялы с каменными глазами,
жонглирующие империями,
Смутлые, наглые чистильщики,
раболепные лотошники..
Желтолицые швейники, кашляющие на скамейках бульваров,
под чахлым весенним солнцем,
завтракающие горстью арахиса
и вяло наблюдающие за прыжками фонтанной струи..
Вымотанные, рычащие кондукторы...

Подметальщики грохочущих улиц,
 сквернословы-ломовики,
 Испанцы-докеры, громоздящие горы груза,
 шелкопрядильщицы со впалыми глазами,
 Сварщики, хватающие раскаленные заклепки
 на высокой паутине балок,
 Кессонщики в шипящих кессонах над Норс Ривер,
 разнорабочие метро,
 подрывники, бурящие скалы под Бродвеем,
 Боссы, планирующие тайные махинации,
 стряхнув пепел с сигары,
 Хриплые ораторы в Юнион Сквер,
 проповедующие с ящиков из-под мыла
 непрерывные крестовые походы,
 Бледные полуголодные кассирши универмагов,
 худые дети, клеящие бумажные цветы
 на темных чердаках,
 Принцессы-стенографистки и принцессы-маникюрши,
 жующие резинку с царственной улыбкой,
 Сутенеры, бандерши, шлюхи, зазывалы, вышибалы, филеры...
 Все профессии, расы, темпераменты, философии,
 Вся история, все перспективы, вся романтика,
 Америка... целый мир!

Перевел с английского
 Борис Слуцкий

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ

Александр Адрианович Петров (А. Свободный, Бич-Булат) — один из представителей ранней октябрьской рабочей поэзии. Он родился в 1877 году в г. Ельце Орловской губернии в семье потомственного рабочего-позолотчика. В юности, работая в мастерской позолотного дела, Петров начал писать небольшие корреспонденции в «Орловский вестник». В 1901 году в Крыму встречается с А. М. Горьким и А. П. Чеховым, позже в Москве сближается с Е. Е. Нечаевым, Ф. С. Шкулевым и другими писателями — членами «Суриковского кружка». Продолжая журналистскую деятельность, А. А. Петров работает корректором в московских газетах и журналах. В 1904—1905 годах за участие в революционных изданиях был арестован и судим. В 1913 году за публикацию его стихотворения «Народные писатели» был закрыт киевский журнал «Огни».

Сразу же после победы Великой Октябрьской социалистической революции А. А. Петров активно включается в работу по организации советской печати, главным образом на периферии. В 1918—1919 годах он редактор газет «Известия Сердобского Совдепа», «Сарапульская трудовая коммуна», «Серп и молот» (Сарапул), «Красный воин». Фронт гражданской войны неоднократно проходил через Сарапул, и Петров адресовал свои статьи, стихи, фельетоны молодой Красной Армии. В январе 1919 года политотделом 2-й армии Восточного фронта издана книга стихов А. А. Петрова «Моя трибуна. Летучие митинги в стихах».

Издавая газеты в Саратове и Сердобске, будучи одновременно и редактором, и корректором, и автором многих статей, очерков, фельетонов, А. А. Петров почти полностью потерял зрение. Однако он не прекращал ни литературной, ни общественной деятельности. В Сердобске руководил местным отделением Союза крестьянских писателей, писал пьесы, которые ставились в местном театре, статьи, очерки. Но характерно, что стихи Петров писал более всего именно в первые годы Октября. Ни до, ни после этого периода поэзия не была для него главным средством самовыражения. Эти стихи представляют определенный интерес, как поэтические документы первых лет революции.

Майя СИТКОВЕЦКАЯ

ИЗ ЦИКЛА «КРАСНЫЙ НАБАТ»

ДВА ГОДА БОРЬБЫ

Два года истекли! Вторая годовщина
Исполнилась. Мы шли в борьбе вперед!
И выясняется российская картина:
Республика жива и не погиб народ!
И власть Советская свой голос подымает,
Как равная перед Европою встает,
Вокруг себя полки Свободы собирает
И с бою города свои берет!
Советская республика все шире
Растет и всех зовет под свой победный стяг —
И загорается огонь восстания в мире,
И дрогнул и бежит заклятый враг!
Нет, не погибнет власть Советская отныне,—
Гражданская война врагов всех изведет...
Воскреснет Русь и в каждом гражданине
Республиканца-воина найдет!
Кошмары голода, все страхи разрушенья
Исчезнут навсегда, рассеются как дым,
И дня всеобщего святого возрожденья
Дождемся мы и мир благословим!
Но в миг второй великой годовщины,
Товарищи, должны мы клятву дать,
Что все республиканские дружины
Готовы за Советы жизнь отдать!

И тени павших пусть тому порукой,
Запечатлевших кровью честь свою!
Рождается республика с великой мукой,
И создается мощь российская в бою!
И облик стойкого вождя и гражданина
Встает во весь свой рост среди людских
невзгод.

И выясняется российская картина:
Республика жива и не погиб народ!
Вкруг Ленина сотрудники теснятся
И ряд самоотверженных бойцов!
И пусть враги на нас как волки злятся,
Но не разбить им молодых орлов!
Нет! Закалились мы в горниле испытаний,
Мы перешли закрытый Рубикон —
И открывается рабочих ряд восстаний,—
Услышала Европа наш набатный звон!
Свобода спасена! Война уж догорает...
И сбросит с тронов королей война...
Кто много так имел, тот все и потеряет,
Но Русь от рабства будет спасена!
Да! Не погибнет Русь, доколь еще в природе
Гармония земли и неба разлита,
Доколь еще живет в воскреснувшем народе
Свобода, Правда, Честь и Красота!

7 ноября 1919 г.



Ошер Шварцман был феноменально одаренным поэтом. Его яркий талант и незаурядная судьба сделали его «человеком из легенды». Ему не суждено было увидеть свои стихи изданными книгой, да и написал он немного. Посудите сами, десятилетие его литературной деятельности вобрало в себя пять лет войны. Разведчик, кавалерист, дважды георгиевский кавалер, Ошер Шварцман сочинял урывками — в дни затишья на фронте, при переформированиях, в госпиталях. Окончилась мировая бойня, и поэт добровольно вступает в ряды Красной Армии. В составе Богунского полка он участвовал во многих славных операциях и сложил свою голову в бою на милой сердцу поэта Украине. Последнее стихотворение О. Шварцмана (оно напечатано 20 мая 1919 года) кончалось строкой-призывом: «Враг у ворот!» Ошер Шварцман пал у ворот нового мира, и мы помним его.

То был красивый и сильный человек. Диву даешься, как уживались в нем, как сцеплялись в его солдатской душе мужество и нежность, суровость и доброта. Он шагал по взбудораженной и неласковой земле, ступал по ней тяжелыми армейскими сапогами, впитывая в себя тонкие запахи трав, прислушиваясь к далеким, за рокотом канонад — птичьим кликам. Он пел Жизнь, Любовь, Природу, Революцию. Поэту-то в его маленьком томике соседствуют стихи «Повстанцы» и «За то, что ты меня любила...»

Исаак БОРИСОВ

ВОССТАНИЕ

Морозной полночью, в мерцанье стынувших
светил,

Пожары расцвели за краем горизонта.

В непроницаемых лесах,

В огне и мраке деревень горящих,

В окопах и траншеях

Цепочками восставшие ползут,

С винтовками в руках, с кипящей кровью в
сердце.

.....
Из душных мастерских, из нищенских лачуг,

Из дней голодных и ночей бездомных,

Мои бесчисленные братья,

Вы пришли,

Чтоб заплатили вам

За труд,

За все лишенья ваши,

За смертный вопль веков и поколений,

Я слышу звон цепей и рабских кандалов.

На всех путях — невольничьи скелеты;

Клокочет кровь моих безвестных братьев,

Убитых братьев, что лежат в обнимку

По всей земле,

На всех полях сражений.

Я знаю, что еще придется нежной плоти

В грязи и крови содрогаться.

О нет! Не праздником озарены

Полуночные горизонты!

Но этой крови, этой боли жаждет враг...

И холоден мой взор, как серый, вьюжный

день

В пустынной тундре,

За Полярным кругом.

С винтовкой на ремне,

С кипящей кровью в сердце

Я кроюсь в темноте,

Врага подстерегая...

КОРЧМА

Корчма придорожная, ветхая хата,
Стоит за селом, отслужив навсегда,
И горько брюзжит, как старик, что когда-то
Мирами вертел в молодые года:

Эх, ветры степные! Прибавьте-ка прыти!
Вовек не вернуть моей прежней поры...
С обглоданной крыши солому крадите!
Не в гору иду я, спускаюсь с горы.

Конюшня развалена, выбиты двери,
И вырос дремучий бурьян у крыльца;
Не слышно зловещих легенд и поверий
В кругу завседатаев у каганца.

Не льется сивуха стакан за стаканом,
Исторгнув из глоток дикарский напев,
И тайне, разболтанной ухарем пьяным,
Уже не внимает никто, оробев.

Как пень при дороге — корчма одинока...
Проезжий с минуту помедлит у ней,
Но, вспомнив, что до дому ехать далеко,
Закутавшись в бурку, торопит коней.

Лишь ветер бормочет ей старые сплетни,—
Шепнул мимолетом и ноги унес!
Она же как дед остается столетний,
Обиженный грубым внучонком до слез.

Переводы с еврейского Аркадия Штейнберга

* * *

Седая мать-ночь
Скликает сыновей:
— Враг у ворот!

Из сердца рвется крик
То глуше, то сильней:
— Враг у ворот!

В седло и — в сечь!
И тверже шаг!
Отныне меч
И пика — стяг:
— Враг у ворот!

1919

Перевел Андрей Кленов



Вначале знакомство было заочным. Юношей я читал стихи и сборники, знал, что есть поэт Сергей Обрадович, что пишет он о рабочих, о труде, о революции. Многое мне нравилось своей искренностью, убежденностью; за строчками вставал человек незаурядного жизненного опыта. Когда же состоялось наше «очное» знакомство, я полюбил и автора запомнившихся стихов.

Сергей Александрович покорял духовной опрятностью, боязнью невольно огорчить человека, сделать ему больно. Я вспоминаю комнатку-келию где-то на верхотуре большого дома в Малом Черкасском переулке. Там вечерами принимал поэтов Обрадович, ведавший тогда отделом поэзии «Альманаха ЗИФ» (выпускало его издательство «Земля и фабрика»). Там я не раз наблюдал, как невольно краснел всякий раз Сергей Александрович, когда тихим голосом, как бы смущаясь, делал авторам свои замечания. Это походило скорее на дружескую просьбу, чем на редакторские требования.

С поэтами молодыми, неоперившимися Обрадович бывал по-особому доброжелателен, радовался от души, находя в их сочинениях что-либо свежее, талантливое. Про эти случаи он с удовольствием рассказывал: «Знаешь, сегодня неожиданно...» Воодушевляясь, он старался передать впечатление, а если рукопись оказывалась при нем, то и зачитывал ее тут же: на улице, в трамвае, в издательстве.

Откуда такое чуткое отношение к людям, такая ласковость к ним? — порою думал я. Таким воспитала его жизнь, немало поколотившая его в свое время, да рабочая и солдатская среда. Там-то и узнал он цену вовремя сказанному доброму слову.

С пятнадцатилетнего возраста, сразу по окончании трехклассного городского начального училища, Сергей Обрадович стал, как принято говорить, на собственные ноги. Работал в типографии учеником, накладчиком, мастером-стереотипщиком. Во время первой мировой войны был в армии, участвовал в операциях на Карпатах, в Галиции. В 1917 году стал председателем полкового комитета. Демобилизовавшись, снова работал в типографии, затем конторщиком на железной дороге, посещал студию Московского пролеткульта. Ему было о чем писать. А в 1920 году Сергей Александрович принял деятельное участие в создании литературной группы «Кузница», куда, в частности, входили поэты В. Александровский, Г. Санников, М. Герасимов, В. Кириллов, В. Казин, Н. Полетаев.

Встречался я с Обрадовичем и в издательстве «Советский писатель», где он ведал поэзией братских народов.

Однако полнее раскрывался его человеческий облик в разговорах и спорах, где житейские вопросы всегда сплетались со «злойбой дня» поэзии. И тут, как и за редакторским столом, он напрямую высказывал свою точку зрения, всегда глядя собеседнику в лицо. Такие встречи рождали потребность что-то заново обдумать, а что-то и вовсе отбросить как наносное, случайное.

Умер Сергей Александрович в 1956 году, чувствуя себя далеко не старым, полным рабочего задора, умер от неизлечимой болезни. Догадываясь о характере заболевания, он никогда и никому не жаловался, не напрашивался на сочувствие.

Жизненный и литературный путь Сергея Обрадовича вызывает во мне глубокое и непреходящее уважение. Он по праву относится к тем, кто торил пути советской поэзии, рабочей теме в ней.

Николай СИДОРЕНКО

ДЕТСТВО

Вспомнилось...

Сумрак. Угол.
Плесень. Верстак. Паук.
И сквозь угар и ругань —
Образ застывших мук.
О, ненавидел тебя я,
Черный угрюмый Спас:
Лишь пред тобою, родная,
Плакал в поздний час.
Улица — зверь многоногий —
Жутко урчит с утра.
Ночью вползает с дороги
В окна безглазый страх.
Часто, охвачен тоскою,
Я уходил в поля:
Сонным ковала покоем
Сердце мое земля.
Жизнь не меня баловала:
Голоден и разут,
Ранней зарей из подвала
Шел на заводский гуд.
Ржавыми шестернями
Жалобы — день за днем...
Все это прожито нами
И заросло быльем.

1918

ДЕД

Поезд мчится; стали скрежет,
Свист паров и вой колес;
Грудью кованую режет
Ширь запаханных полос.
Вижу я: в полях вечерних,
На распутье двух дорог,
Одиноким, темным, древним
Дед стоит, седой как бог.
Прислонясь к пустой телеге,
Долго-долго смотрит вслед.
Знаю: в нашем буйном беге
Разгадать задумал дед,
Разгадать-понять великий
Гул мятежных городов,
Гордо-радостные крики,
Шум знамен и пламя слов,
Что прибойною волною
Докатилось до хат,
Властной молодой рукою
По деревне бьет в набат.
Недоверчив дед и строго
Сединою покачал...
К солнцу алою дорогой
Конь окованный скакал.

1918

* * *

Трудно нам, сынам подвала,
К свету вырваться из тьмы,
Крепко нас судьба сковала
Цепью проклятой нужды.
Словом, молотом и кровью
С колыбели до могил
Мы боролись с тьмой-неволей.
Трудно, братья, нет уж сил.
Нет, смелей, настанет время,
Солнце светлое взойдет,
Вековое сбросим бремя,
Сбросим давящий нас гнет.
И, забыв страданья-муки,
Грудью полностью вздохнем, —
В недоступный мир науки
Смелой поступью войдем.

1912

...Было это в Москве на Кузнецком мосту в магазине «Международная книга». Антиквариатом заведовал превосходный книжник Шибанов; склад антикварных книг помещался в подвале.

Я собирал старую русскую прозу — очень нужную прозу. Книжки были не дороги.

Здесь я встретился с Демьяном Бедным. Это был большеголовый полный человек, которого все знали: имя его было популярно, как название площади или улицы.

Меня он знал, потому что я часто выступал и на меня часто рисовали карикатуры.

Разговорились о книгах, о стихах.

Говорили о том, что в России XVIII века «Путешествие Гулливера» издавали маленькими выпусками, так, как в начале XX века издавали Пинкертон.

Я как раз держал эту книгу в руках. Потом заговорили о славе, о народности славы. Ефим Алексеевич Придворов сказал мне:

— Вот меня хорошо знают.

Его тогда действительно хорошо знали.

В первом томе «Литературной энциклопедии» о Демьяне было десять столбцов, а о Белинском, кажется, двенадцать.

Но Ефим Алексеевич сказал мне:

— На железной дороге я убедился, что самый знаменитый писатель страны — Зубило. Железнодорожники его все знают, и знают так, как будто не только рабкоры пишут ему в «Гудок» письма, но и он сам пишет каждому железнодорожнику письма на дом.

Я тогда бывал часто в Дворце труда на мелкой Москве-реке. Когда-то здесь был Воспитательный дом.

Потом здесь воспитывались журналы, газеты и писатели.

В длинных темных оживленных сводчатых коридорах я встречал молодого приземистого, небрежно и элегантно одетого Юрия Олешу, окруженного рабкорами. Его никогда нельзя было увидеть одного, обращались к нему с застенчивой любовью.

Зубило очень скоро стал прозаиком Юрием Олешей.

Чехов говорил в письме к Полонскому, что проза поэтов — лучшая проза.

Проза Юрия Карловича Олеша намного лучше и важнее его стихов. Она наполнена вещами и явлениями не просто названными, не просто сравненными с чем-нибудь при помощи метафоры — она полна вещами изумительно увиденными, самостоятельно существующими.

Но стихи Зубилы забывать нельзя.

Когда-то Николай Тихонов говорил про стойких воинов Красной Армии, что из них можно было бы делать гвозди.

Это развернутая метафора: железный человек понят, как человек из железа.

Стихи Зубилы были гвоздевые стихи.

Зубило срубало окалину жизни.

Это были не только железные стихи, но это были вещи, сделанные металлургом, человеком, привыкшим к поэтическому ремонту производственных организмов.

Мне стихи Зубилы, когда я их просматривал, опять напомнили молодость страны, ее требовательное желание, чтобы все было справедливо, чтобы всем хорошо было жить.

Рабкоровское письмо о том, что чиновник велел сторожу отнести его портфель на дом, что было это неоднократно, превращало в стихах сам портфель в толстое и довольно прожорливое чудовище.

Таракан, попавший в щипки, показывался как личный враг и человека, пришедшего в столовую, и враг Зубилы. Это был обобщенный таракан, незаконно пришедший из старой жизни.

Это был — ТАРАКАНОКЛОП.

Лирические стихи Юрия Олеши интересны, как запись ощущений молодого человека, который еще не умеет вспоминать и записывать прозу.

Стихи, как след памяти, древнее прозы.

Опыт Зубилы забывать не надо. И надо помнить, что человек, писавший прекрасную прозу, еще несколько лет оставался Зубилом, имеющим дело с металлом и неприятностями.

Виктор ШКЛОВСКИЙ

СТРАШНАЯ НОЧЬ

На ст. Лихая Юго-Вост. ж. д. стоят столбы для фонарей, а фонарей нет. Ночью — полная темнота. Часовой ходит и, принимая столбы за воров, покушающихся ограбить склады, стреляет по столбам.

(Рабкор)

Раз на станции Лихая сквозь унылый пессимистический вой шел, винтовкою махая, некий строгий часовой.

Ночь и мгла.

Петух как флейта.

Ночью свет необходим.

Как же быть без фонарей-то, если ночь черна, как дым?

Но на станции Лихая, зная, программа есть такая: там отличные столбы приготовлены для свету — фонарей к столбам же нету — бей, братва, носы и лбы!!

Часовой Иванов Петя был парнишка с головой: ничего на целом свете не боялся часовой.

И шагает мой сударик — ночь и мгла, стучат шаги... Темнота! Хоть бы фонарик! Не видать во тьме ни зги!

Вдруг — ого?!

И на примете, так шагов за пятьдесят, кто-то прет — и прямо к Пете, прямо к Пете аккуратно.

Петя — стой! — кричит: — Эй, ты там! Кто такой? —

А тот молчит. Вором — вор, бандит — бандитом, нет сомнения — бандит!

— Кто такой? —

И нет ответа.

— Раз! Два! Три! Четыре! Пять!

Полагается за это мне в тебя сейчас стрелять! —

Бахх! Патрон, видать, не выдал: пуля: фффит! — ужасный вид! Бахх! А тот стоит, как идол, точно вкопанный стоит.

Что за черт! Бывалый Петя неужели промах дал? Да-с, чудес таких на свете даже Петя не видал!

Утром свет на горизонте, как младенец на руках. Петю бедного не троньте, Петя бедный в дураках!

Тайна страшная открыта, обнаружился скандал:

Просто столб

взамен бандита

перед Петею стоял!!

С фонарями дело плохо: их достать бы поскорей. И причина есть для вздоха, коли нету фонарей.

Берегись-ка, пролетарий, и с тревогой

говори, что

на лбах

при бесфонарьях

возникают

фонари!!!

17 декабря 1923 г.

Памяти Павла Радимова

Умер Павел Александрович Радимов — художник и поэт, человек удивительной души и доброты, один из патриархов нашего искусства. Ему было 80 лет.

Павел Александрович Радимов пришел в искусство еще до революции. Сын русского народа, в своих картинах и стихах он воспевал красоту русской деревни, быт, труд, жизнь родного народа. Острый глаз художника выхватывал из окружающей действительности живые, точные картины.

Алексей Максимович Горький писал о Радимове, что он «не только поэт, но и очень талантливый живописец». Алексей Максимович Горький живо интересовался творчеством П. А. Радимова, с вниманием следил за его работой.

После Великой Октябрьской революции Павел Александрович Радимов, как и другие лучшие представители русской художественной интеллигенции, с энтузиазмом включился в строительство новой жизни.

Павел Александрович был одним из организаторов ассоциации пролетарских художников (АХРР). В те времена, когда еще и не стоял вопрос о переводе на русский язык произведений писателей братских народов, Павел Александрович Радимов начал переводить на русский язык книги татарских писателей и поэтов. В Казани, в Татарии, с любовью и благодарностью говорят о П. А. Радимове — первом переводчике великого Тукая.

Всю свою жизнь Павел Александрович прожил в народе, с народом и для народа. Он устраивал свои выставки чаще всего в районных и сельских клубах, в сельских школах, одновременно проводя большую работу по художественному воспитанию масс.

Его имя и многие его работы хорошо известны нашим людям, особенно колхозникам Подмосковья, для которых П. А. Радимов был свой художник, свой поэт.

Трудно поверить, что эти удивительные синие радимовские глаза погасли навсегда. Кажется, что это — все-таки какая-то ошибка, что он — живой еще, где-то у себя в Абрамцеве, в природе...

Он — и в природе, он ушел в нее, он и в вечно живом искусстве, из него он никогда не уйдет, не покинет своего поста, Радимов — поэт, Радимов — художник.

Он был современником Горького и Маяковского, Репина и Врубеля и другом Есенина. Он был и нашим современником и другом, соединив в себе и часть XIX века, и все грохочущие 66 лет XX века... И останется нашим современником, и будет современником и другом наших детей и правнуков.

Михаил ЛЬВОВ

ПАВЕЛ РАДИМОВ

ПОСЛЕДНИЙ ИНЕЙ

Дятла настойчивый стук
Утро разносит в лесу.
Иней развесил красу
Без человеческих рук.

Дева-снегурка живет
В этом сквозном терему.
Филин свершает полет
Белок унять кутерьму.

Надо царевне поспать,
Сладок предмартовский сон,
Ведьма сбежала на гать,
Слышится солнечный звон.

Значит, весне за бугром
Пляшет улыбчивый Лель,
Скоро покажется прель,
Рухнет из инея дом.

УРОЖАЙ

На воле ясный день гремит.
И на полях отрада.
И этот город знаменит,
Как стены Цареграда.

На гумнах стал адоньев ряд,
Покрыты все сторновкой,
Грачи как вестники летят,
Кружатся в небе ловко.

Пришла победа, урожай,
Стан колыхнулся силой,
Привет тебе, родимый край,
Любимый мой и милый!

ВЛАДИМИР НАРБУТ

Владимир Нарбут как большой своеобразный поэт выдвинулся еще накануне первой мировой войны. Сборник его стихов «Аллилуйя», изданный в Петербурге в 1912 году «Цехом поэтов» и конфискованный по постановлению суда, был отмечен Брюсовым, Городецким и получил отзывы в журналах и газетах того времени. Яркие красочные образы глуховского мелкопоместного уездного быта, сочный меткий украинско-русский язык перекликался в поэзии Нарбута с прозой Гоголя и Сквороды, эпиграфы из которых стояли перед стихами. В этом «быто-эпосе», как назвал их потом сам поэт, не было никакого налета бунинской грусти по былым дворянским усадьбам,— изображение их у Нарбута было беспощадным, резко-отрицательным; все это должно было быть сметено бурей революции, как осознал сам поэт еще летом 1917 года, став членом Совета рабочих и солдатских депутатов в родном Глухове, а вскоре затем коммунистом.

В разгар гражданской войны Нарбут редактировал «Воронежские известия» и литературный альманах «Сирена», старался сплотить передовых писателей и поэтов. В Одессе, работая заведующим РАТАУ, Нарбут выпустил сборник стихов «Плоть (Быто-эпос)» в 1920 году, а в Харькове — «Советская земля» в 1921 году, куда вошли лучшие его стихи о революции. В Москве Нарбут вел большую общественную и политическую работу — в отделе печати ЦК, в издательстве «Земля и фабрика».

В 1921 году Нарбут бросил писать стихи. В стихах тех лет я написал по поводу такого отречения «Отходную из стихов», с заключительной строфой:

*Свершу самоубийство, если я
На миг поверю, что с тобой
Расстаться можно так, поэзия,
Как сделал Нарбут и Рембо!*

В конце двадцатых годов Нарбут вернулся к стихам, в частности работал в жанре «научной поэзии». Преждевременная смерть прервала его поэтическую работу.

Поэзия Нарбута оказала влияние на многих современных поэтов. Его считал одним из своих главных учителей Э. Багрицкий. К сожалению, широкому читателю из-за отсутствия переизданий творчество этого сомобытного большого поэта мало известно.

Михаил ЗЕНКЕВИЧ

Говорил он именно то, о чем мы, солдаты, рассуждали изо дня в день. Я вышел, глубоко взволнованный словами этого человека.

Секретарь, увидев меня, спросил:

— Ну, как ваши стихи?

— Да вот, товарищ одобрил, обещал напечатать...

Секретарь улыбнулся:

— Если Владимир Ильич сказал, значит, стихи пойдут.

— Ленин? — с радостным изумлением воскликнул я.

— Он самый.

На улице меня с нетерпением ждали друзья.

— Ну, как с твоими стихами?

Я рассказал. Солдаты долго смеялись, потом начали меня упрекать:

— Ах ты чудак! Надо было побольше, все рассказать ему о солдатской жизни!

— Он и так все хорошо знает! — сказала я.

Через несколько дней, а именно 29 июня 1917 года, мое стихотворение появилось в «Правде».

ЕВГЕНИЙ

БРАЖНЕВ-ТРИФОНОВ

«Нас гонит бич судьбы по дикому безлюдью» — так начинается один из сонетов Евгения Бражнева-Трифонова, написанный им накануне Октябрьской революции, в Сибири, в камере Александровского каторжного центра.

Судьба Е. Бражнева складывалась трагично и бурно и удивительно. Донской казак, член РСДРП(б) с 1903 года, он принимал участие в Ростовском вооруженном восстании в пятом году — командовал боевой дружиной на Темерникских баррикадах. (В ту пору ему было двадцать лет.) После разгрома восстания был схвачен, заточен в Новочеркасскую военную тюрьму и затем приговорен к 15 годам каторжных работ... Таково начало его биографии — революционной и творческой. Допросы, камеры, свирепая тоска по воле и друзьям — вот знаки, которыми отмечена его юность! Судьба гнала его по этапным дорогам, по дикому безлюдью Севера, и там, на заре эпохи, вынашивались и зрели первые его стихи.

*Нас гонит бич судьбы по дикому безлюдью,
и брагой беспробудных снов,
холодной, темною и неподвижной мутью
душа налита до краев.*

*Но здесь, в стране, где брезжит день в тумане
да по ночам гудит метель,
растет здесь густо буйный хмель страданий,
растет страданий горький хмель...*

Евгений Бражнев вошел в литературу со своей особой темой; книга его «Буйный хмель» — своеобразный и, пожалуй, единственный в русской поэзии образец каторжной лирики начала нашего века. Она создавалась долго — свыше десяти лет — в Александровском и Тобольском центрах, в Киренской тюрьме, на пересылках и рудниках николаевской России. «Тьма и стужа сейчас за тюремным окном, — пишет Бражнев в 1909 году, — тьма и стужа, безлюдье и мертвая тишь. И под снегом поля, и студеный Иртыш спит в морозных оковах, в плену ледяном».

Стихи его исполнены суровых раздумий, и гнева, и надежд. В сущности, это — самобытный лирический дневник; он создается тчательно, терпеливо, чеканно. И наконец, поэт отсылает свой сборник в Питер, брату Валентину Трифонову.

Он пишет брату на узких полосках бумаги — убористым, очень четким почерком. Письма эти любопытны. Пожелтевшие, ветхие, они помечены овальным лиловатым клеймом: «Просмотрено в Александровской Центр. кат. тюрьме». Их много, этих писем, — грустных и насмешливых, и строго деловых.

«...Впиши в тетрадь те 11 стихов, которые я послал в этом году — 4 в мае, 3 в октябре и 4 в сем письме. Причем пьесу «Нет, не все потеряно...» помести непосредственно за ст. «В темном царстве угрюмой тайги», так чтобы первое следовало сейчас же за этим последним.

Уничтожь в тетради все даты под всеми стихами.

Когда исполнишь все указанное, отошли тетрадь к Горькому...»

Рукопись к Горькому не попала — грянула Февральская революция. В ту пору было не до литературных бесед. Валентин находился в подполье, вел большую партийную работу. А Евгений был уже на пути в Петроград. Здесь, в столице, он с ходу включается в события. Он — начальник Путиловской рабочей милиции, член Главного штаба Красной гвардии. Потом входит в состав «инициативной пятерки», подготавливающей взятие Зимнего. Потом во главе красногвардейского отряда отбывает на Юг — на калединский фронт.

Шла гражданская война — гремела из края в край, и Бразнев колесил по ее дорогам. Был правительственным комиссаром Юга России, командиром 9-й кавалерийской дивизии в Конармии Буденного, комендантом Ростова.

Поэт, он не мог не писать. Но писать было некогда; лишь урывками, изредка, брался он за перо...

Война окончилась, но и теперь ему не было покоя. Да, в сущности, он покоя и не искал; профессиональный революционер, кадровый военный, разве мог он быть в стороне от событий? Он по-прежнему служит в армии — учится на командных курсах в Академии имени Фрунзе, работает в Центральном ОСОАВИАХИМе, инспектирует войска. И пишет — упорно, настойчиво, в свободные часы.

Солдат — он таким и запомнился мне, навечно остался в памяти — сапоги, гимнастерка, скрипучие ремни, орден Боевого Красного Знамени. Всю жизнь он носил военную форму, только ее! И умер в ней. Это было в тридцать седьмом. Нет, он не был арестован — он умер в Кратове, на даче, от разрыва сердца.

Он не успел создать всего, о чем мечтал. И все же им написано и издано немало: поэма «Поход» — лихая, звучная, полная казачьего буйства, пьеса «Четыре пролета», биографический роман «Стучит рабочая кровь», книги о гражданской войне — «Каленая тропа» и «В чаду костров».

И во всех этих книгах (так же как и в первом каторжном сборнике) видна судьба его, звучит его эпоха — суровая и давняя и незабываемая вовеки.

Михаил ДЕМИН

СОГРАЖДАНАМ

Судьба мне скоро дверь откроет,
Допью я горьких дней питье —
И сердце скучное мое
Тюрьма навеки успокоит.

Весна таежными цветами
Свой уберет зеленый пир.
И будет пить варнацкий мир
Просторы волчьими глазами.

И буйный ветер вдруг запенит
Разлив могучий Иртыша...
Свернется там, в могильной сени,
Моя зачахшая душа.

В сырой коре, под дерном тонким,
Где смрадно, гнило и темно,
Свернувшись смиренненько котенком,
Она уляжется на дно.

Но дерн и яма — все в порядке.
Что крест, что цепи — все равно...
Мои сограждане! Мне гадки,
Мне скучны мысли об одном:

Что сгнить на затхлои мне постели,
Что жизнь покончу, как и вы:
Что не сложу я головы
На вольной уличной панели!

Тобольская тюрьма
1910

* * *

И безлюдно и тихо кругом.
Я один с моей каторжной долей.
Бесконечно ползет день за днем...
Ночь придет,— да не спится в неволе!

Потихоньку я сяду к окну
Моей камеры скучной и бедной.
Я в окошко на небо взгляну,
Погляжу и вздохну незаметно.

Моя воля крепка еще, брат.
С неизбежным мой дух примирился.
Только с пеплом напрасных утрат,
Только с горестным прахом не
сжился.

Жаль мне только растрченных лет,
Даром сгубленных в лапах острога...
Что же! Мы не дождались побед,—
Так они у порога!

Тобольский централ
1913

* * *

От окна и до дверей —
Шесть шагов в докучном круге.
Медлит день в холодной скуке...
Тихо в камере моей!

Лишь шаги по гулким плитам
Отмеряют без минут...
И ничто, ничто уж тут
Не напомнит о забытом!

Было прежде что-нибудь?
Есть ли что-нибудь на свете?
Эти стены! Камни эти!
Грязь и холод, мрак и жуть.

Дверь глухая каземата,
Запыленное окно...
Что-то я читал давно.
Что-то слышал я когда-то:

Яркий мир в иной стране
Там за крепкою оградой!
Что-то слышал я когда-то...
Или это снилось мне?

Хоровод безликих дней
Жизнь замкнул в докучном круге.
Медлит время в мертвой скуке...
Тихо в камере моей!

Тобольская тюрьма
1914

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ

Я ошибок, как встарь, не боюсь
И, как прежде, желаний не прячу.
Но от радости я не заплачу
И над горем уже не смеюсь.

Вижу молодость в дальней стране:
Поступь смелая, буйные косы...
То ли блеск черных глаз, то ли
слезы...
Или плачет тайком обо мне?

Где-то в мире есть сердце одно.
Где-то сердце строптивное бьется...
Да под небом чужим не сожмется,
За меня не сожмется оно!

Я удачей ни с кем не делюсь,
Я размыкаю сам неудачу.
Но от радости я не заплачу
И над горем уже не смеюсь.

Киренская тюрьма
1916

«Своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность и где-то за каким-то поворотом долго еще нас будет ждать» — вот оценка, данная Мариной Цветаевой Владимиру Маяковскому — по ее словам, «первому в мире поэту масс», который «прожил, как человек, и умер, как поэт».

Публикуемое ниже стихотворение входит в цикл, который Цветаева посвятила в 1930 году памяти Маяковского. Горячо защищая «поэта масс» от нападок белоэмигрантов при его жизни, она защищает в этом стихотворении его посмертную честь.

Уже сам выбор эпиграфа, которым послужили строки из однодневной ленинградской газеты «Владимир Маяковский», вышедшей на смерть поэта, свидетельствует о том вызове, который бросила Цветаева своим эмигрантским оппонентам, reagировавшим на гибель Маяковского клеветническими выпадами, исполненными цинизма и злорадства.

В 1928 году, будучи в Париже, Маяковский купил себе маленький автомобиль марки «Рено», что послужило поводом к очередным сплетням среди эмигрантов. Цветаева вспоминает об этом в последней строфе своего стихотворения.

А. ЭФРОН

МАЯКОВСКОМУ

В гробу, в обыкновенном темном
костюме, в устойчивых грубых бо-
тинках, подбитых железом, лежит
величайший поэт революции.
(«Однодневная газета», 24 апреля
1930 г.)

В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал —
Никаким обходом, ни объездом
Не доставшийся бы перевал —

Израсходованных до сиянья
За двадцатилетний перегон,
Гору пролетарского Синая,
На котором праводатель — он.

В сапогах — двустопная
жилплощадь,
Чтоб не вмещивался жилотдел —
В сапогах, в которых, понаморщась,
Гору нес — и брал — и клял — и
пел,—

В сапогах и до и без отказа
По невспаханностям Октября,
В сапогах почти что водолаза,
Пехотинца, чище ж говоря:

В сапогах великого похода,
На донбассовских, небось, гвоздях,
Гору горя своего народа
Стапятидесяти (Госиздат)

Миллионного...— В котором роде
С в о е г о, когда который год:
«Ничего-де своего в заводе!»
Всех народов гóря гóру — вот!

Так вот в этих — про его Рольс-
Ройсы
Говорок еще не приутих —
Мертвый пионерам крикнул:
Стройся!

В сапогах —
с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х.

1930

**ПИСЬМО ЛАРИСЫ МИХАЙЛОВНЫ РЕЙСНЕР
АННЕ АНДРЕЕВНЕ АХМАТОВОЙ**

Дорогая и глубокоуважаемая Анна Андреевна.

Газеты, проехав девять тысяч верст, привезли нам известие о смерти Блока. И почему-то только Вам хочется выразить, как это горько и нелепо. Только Вам — точно рядом с Вами упала колонна, что ли, такая же тонкая, белая и лепная, как Вы. Теперь, когда его уже нет, Вашего равного, единственного духовного брата, — еще виднее, что Вы есть, что Вы дышите, мучаетесь, ходите, такая прекрасная, через двор с ямами, выдаете какие-то книги каким-то людям — книги, гораздо хуже Ваших собственных.

Милый Вы, нежнейший поэт, пишете ли Вы стихи? Нет ничего выше этого дела, за одну Вашу строчку людям отпустится целый злой, пропащий год. Ваше искусство — смысл и оправдание всего — черное становится белым, вода может брызнуть из камня, если жива поэзия. Вы радость содержания и светлая душа всех, кто жил неправильно, захлебывался грязью, умирал от горя. Только не замолчите — не умрите заживо.

Горы в белых шапках, теплое зимнее небо, ручьи, которые бегут вдоль озимых полей, деревья, уже думающие о будущих листьях и плодах под войлочной оберткой, — все они Вам кланяются на языке, который и Ваш и их, и тоже просят писать стихи. И горы и земля хорошо знают, как молчалива смерть.

Целую Вас, Анна Андреевна, а Вашему мужу поклон. Сколько в Кабуле памятников, камней благородного праха — все по его части. Надо будет Вам послать обломков и бирюзы.

Искренне Вас любящая Лариса Раскольникова.

При этом письме посылаю посылку очень маленькую: «Немного хлеба и немного меда».

1921



Поэт Лев Длигач родился в 1904 году, в Киеве. Там же окончил среднее учебное заведение и Мастерскую художественного слова в 1921 году.

Его тридцатилетний творческий путь с первых дней и почти до последнего дня неразрывно связан с газетой. Как и для многих наших поэтов, газета была его «университетами».

Наиболее насыщенный период его творческой жизни — тридцатые и сороковые годы. Стихи, написанные Львом Длигачем, отмечены приметами трудного и героического времени. Еще живет в них память боев гражданской войны на Украине, как «песня, извивавшаяся в трубах и запекшаяся на губах». Стихотворение «Поселок» в книге Льва Длигача «Шестое чувство», написанное вскоре после смерти Эдуарда Багрицкого, так еще наполнено ощущением дружбы и терпкой горечью утраты, что даже отзвук голоса Багрицкого как будто слышится в нем. Еще только что, «как сбита в пылу полета птица», закрыл глаза Циолковский...

С 26 июня 1941 года Лев Длигач на действующем флоте. Полтора года провел он в осажденном Севастополе, работая в газете Черноморского флота «Красный черноморец». Много сил и любви к делу вкладывал он в выпуск «Рынды» — популярного среди военных моряков сатирического приложения к «Черноморцу». В «Рынде» печатались его злободневные запоминающиеся эпиграммы и хлесткие стихотворные фельетоны.

Лев Длигач на протяжении долгих лет работал с одаренной молодежью. В разные годы заведя отделами поэзии журналов «Новый мир» и «30 дней», он с большой широтой и доброжелательностью печатал там стихи многих ныне известных поэтов.

В последние месяцы своей недолгой жизни Лев Длигач нередко говорил о том, как необходима людям своего рода «Служба Памяти», чтобы имена и дела ушедших от нас не канули в забвенье.

Вера ПОТАПОВА

МАТЬ

...И снова свист, и вновь удар короткий,
Ревет пропеллер в облаке седом.
Разрушенный ударом пятисотки,
Еще пылит одноэтажный дом.
И на ветру желтеет фикус кроткий.
Она идет по улице одна
И за угол сворачивает резко.
В пустом квадрате дальнего окна
Трепещет кружевная занавеска.
Отсюда бухта Южная видна.
Еще плотней и строже тишина
От пушечного выстрела и блеска.
Жестокий зверь, укрывшийся вдали,
Из-за холмов протягивает лапу.
Палят из всех калибров корабли.
В подвал спускаясь по крутому трапу,

Она смеется и снимает шляпу
И слышит смех из глубины земли.
Сейчас внизу — большая перемена,
Навстречу выбегает детвора,
И в полумгле еще идет игра:
Какой-то мальчик, «вырвавшись из плена»,
Ушибленное щупает колено,
Тряся косичкой, мчится «медсестра»...
Стареет мир, но детство неизменно,
Оно светло сегодня, как вчера.
Здесь, в этой школе, все, что сердцу мило,
Что холила Россия и растила,
Что от любой невзгоды сберегла.
Мужай и крепни, молодая сила.
Твоя судьба бессмертна и светла!
Россия! Сколько нестерпимой боли,
И сколько дней жестоких и ночей,

И сколько мук, и сколько лет неволи
Ты приняла от лютых палачей
За свет звезды, горящей в пять лучей,
За смех детей, сидящих в этой школе!

...Запел звонок, и надо торопиться,
Учительница входит в гулкий класс.
Суворов нарисованный садится
В расшатанный старинный тарантас.
Стихает говор. Шелестят страницы.
Встает из мрака пушкинский Кавказ.
Шумит Арагва. Непогода злится,—
В убежище учеба началась...

Ей часто снятся все четыре сына,
Они в боях, они в дыму войны.
Они ей пишут редко и недлинно
Со всех концов своей родной страны.
Но если в бухте разорвется мина —
Ее глаза спокойны и ясны.
Хитро глядит Суворов со стены...
Как хороша старинная картина
Над блеском этой скромной седины!

Вот перед ней сидит вторая смена.
Всю силу материнского тепла
Она сюда под бомбами несла,
И звонкий стих звучит проникновенно:
«На холмы Грузии легла ночная мгла»...

Подобная любовь непобедима,
Такой любви не задушить в петле.

В горах туман, лощина нелюдима,
Но партизаны прячутся во мгле
И никого не пропускают мимо.

Тяжелый крейсер бьет неутомимо.
И кто-то вяжет старосту в селе.
И первенец ее на корабле
Бесстрашно бьется за свободу Крыма.
Вернется все, что Родиной любимо,
Как море возвращается к земле!

ПИСЬМА

Да, на войне как на войне:
Ни сочных трав, ни клейких почек,
Ни птиц, вернувшихся к весне.
А только полудетский почерк...
И сердце мечется во мне.

То замирает на мгновенье,
То глухо бьется в тесноте
От легкого прикосновенья
Твоей мечты к моей мечте.

Заметишь ряд описок милых,
Следы линейки под строкой —
И русых кос и рук в чернилах
Как бы касаешься рукой.

ЮРИЙ ВЕРХОВСКИЙ

Оригинальные стихи Юрия Верховского не издавались давным-давно. Надо полагать, что новые поколения любителей поэзии не знают об этом поэте, а если и слышали о нем, то прежде всего как о переводчике прекрасной книги «Поэты Возрождения», издававшейся у нас дважды (1948 и 1955), и как об авторе книг о Баратынском и Дельвиге.

В сравнительно недавнюю пору была совершена попытка напомнить о Юрии Верховском и его поэзии. Между октябрем 1945 года и мартом 1946 года Борис Пастернак занимался отбором стихов для предпологавшегося в Гослитиздате однотомника поэта. «Мне было очень приятно подышать этой атмосферой совершенной чистоты и искренности. Одно выписывание начальных строк отобранного для Юрия Никандровича доставило мне поэтическое наслаждение, так эти строки самопроизвольно вырываются и так естественно ложатся», — говорил Борис Пастернак в письме к главному редактору издательства.

Самому автору составитель в тот же день (12 марта 1946 года)

писал: «Ваш идеал очень чист и высок, и очень хороши стихотворения и строки, или лучше сказать течения и полосы, когда Вы к нему приближаетесь или достигаете его».

Передо мной большой список отобранных Борисом Пастернаком стихотворений Юрия Верховского. Передо мной и другие списки и перечни, в разное время сделанные с той же целью — подготовить книгу — Надеждой Павлович и Никитой Верховским, сыном поэта. Но главное — передо мной, помимо давным-давно изданных книг, ставших библиографической редкостью, рукописи, любезно предоставленные дочерью поэта — Поликсеной Юрьевной Верховской. Благодарю ее от своего имени и от имени будущих читателей.

Юрий Никандрович Верховский родился в сельце Гришневце, Духовщинского уезда, Смоленской губернии. Детство его прошло в Смоленске, а юные и молодые годы в Петербурге, где он окончил гимназию, а затем и университет. Оставленный при университете академиком Александром Веселовским, он изучает историю мировой литературы, переводит Петрарку.

Писать и печататься Юрий Верховский начал рано. Первые стихи его опубликованы в 1899 году в «Вестнике Европы», а первая книга — «Разные стихотворения» — вышла в 1908 году. Через два года вышла книга «Идиллии и элегии». Получив от автора эту книгу, Александр Блок откликнулся стихотворением «Дождь мелкий, разговор неспешный...».

Наступил исторический рубеж — год 1917...

В позднейших автобиографических заметках Юрий Верховский писал: «Будучи русским писателем и ученым, я, вместе со всей передовой русской интеллигенцией, всегда стремился к честному служению своему народу. Великую Октябрьскую социалистическую революцию я воспринял поэтому с радостью, как величайшее историческое событие, открывшее новые неизмеримые возможности перед работниками творческого труда. С самых первых послеоктябрьских дней я продолжал свою литературную, научную и педагогическую работу в рядах русской советской интеллигенции».

В 1917 году издательство «Мусажет» выпустило первый том стихотворений Юрия Верховского, так и оставшийся без продолжения. Очередная книга — «Солнце в заточении» — вышла в 1922 году. Поэт продолжал очень много работать, но следующая книга его оригинальных стихов вышла только через двадцать с лишним лет. Это небольшой сборник написанных в Свердловске стихов военной поры. В подавляющем большинстве своем стихи этих десятилетий оставались в запасниках поэта, в его письменном столе. Перед самой войной Юрий Никандрович подготовил рукопись собрания стихов и переводов за четыре десятилетия и назвал ее — «Антология», но война помешала выходу этой книги в свет. Пока не обнаружен и окончательный текст ее — оригинал.

Широкую известность после двадцатых годов получает переводческая и литературоведческая деятельность Юрия Верховского.

Юрий Верховский — автор ценнейших работ о Баратынском и его эпохе, явившихся в результате многолетнего исследования, о Дельвиге, о поэтике Блока, об Огареве, Лермонтове, Достоевском, Коневском, Брюсове и других русских авторах. К большому сожалению, рукопись основных материалов по Баратынскому, подготовленная к изданию, пропала в дни войны на Свердловском вокзале. Труд многих десятилетий!

В дни Отечественной войны поэт жил в Свердловске. Он много писал, охотно выступал в госпиталях, по радио, работал с молодыми литераторами. Здесь он начал осуществлять книги о Державине и Чехове. В Нижне-Тагильском архиве была начата работа по истории семьи

местных художников Худояровых и заводовладельцев Демидовых. На Урале Юрий Верховский написал около двухсот стихотворений и две поэмы.

Вернувшись после войны в Москву, поэт продолжал много работать над оригинальными стихами, переводами, статьями, готовил к изданию Рылеева. Именно в эту пору я познакомился с Юрием Никандровичем. Благородство, скромность, чистота — так я определил для себя первое впечатление от человека. Осанка русского поэта, до удивления похожего на осанку тех русских поэтов-классиков, которых я видел на хрестоматийных портретах детства. «Какой старик старинный!» — воскликнул один мальчишка, увидев Юрия Никандровича в метро. Внешний облик соответствовал его душевному складу: поэт мог быть и среди поэтов пушкинской плеяды и запросто беседовать с Дельвигом и Баратынским. В приветствии Ю. Н. Верховскому к его 75-летию К. А. Федин говорил, что видит его «в ряду лучших деятелей русской литературной традиции».

С большим опозданием, но все же услышал Юрий Верховский в узком кругу друзей слово признательности. Надо полагать, что широкие круги любителей поэзии будут рады знакомству с примечательным мастером слова. Для начала — это немногие строки. Избранное из избранного.

Лев ОЗЕРОВ



ОТРЫВОК

Мой дед Иван Кузьмич Верховский был
Художник-скульптор, звание имел
Свободного художника. Искусство ж
Избрал себе особое — скульптуру
Из кованого серебра. Оно
Его кормило плохо. Он болел
Чажоткою и рано умер, все же
Оставив бабушке-вдове в наследство
Учеников и мастерскую. Дело
Его недолго продержалось, и
Он был забыт, конечно. Я ж, однако,
С годов давнишних в прежнем

Петербурге,

Идя мимо Казанского собора
По Невскому, не вспомнить не могу:
Внутри собора кованый орнамент,
Серебряный по всем его стенам,
А также украшенье царских врат —
Крылатые головки херувимов —
Работы деда...

1945—1946

ПРИЗНАК ПОЭТА

«Душенька, дяденька, Фетинька», — Фета Толстой называет,
Нежно любуясь, ценит цельность двоякую в нем:
Жизненный склад крепыша-земляка и эфирность поэта,
Сил природных, прямых сплав первобытно простой.
Раз, восхищаясь высоким лиризмом стихов чародея,
Присланных другу в письме, тут же приметил Толстой
Явственный и достоверный поистине признак поэта
В том, что на том же листке, на обороте стихов
Сетует впрямь от души деловитый хозяин-лошадник
На вздорожанье овса. Знает поэта — поэт.

1932

ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ

Мы собираем бедные остатки
Умолкнувших забытых языков,
Разрозненные, странные слова,
Когда-то, в незапамятной поре
Звучавшие в житейском разговоре,
В призыве к бою, в лепете любви,
В проклятии, и в пламенной молитве,
И в вольной песне. Ни на черепке,
Ни на пергаменте следа той песни
Нам не сыскать. А этот след воздушный
Один бы и привел нас, может быть,
К заветной цельности, искомой нами,
К разгадке тайны..

1934

В ПАМЯТЬ ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Т. Г. Цявловской

Наш добрый друг Денис Давыдов,
Конечно, на своем веку
Видал, храбрец, немало видов
И жизнь хватал на всем скаку, —
И, сыпля искры вдохновенья,
С наскоку закреплял мгновенья
В летучих песнях, сгоряча
Доспехом слова в них звуча,

Остер, блестящ, кипуч, капризен,
Хоть не клади и пальца в рот,
Денис французский — Дидерот
Иль русский наш Денис Фонвизин.
Так пусть ему и наш привет
Звучит, живой, сквозь сотню лет.

1939

ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ БАЖОВУ, СКАЗИТЕЛЮ

Клинок уральский — восхищенье глаз, —
В лазурном поле мчит конь крылатый.
Почтен неоценимою оплатой
Строй красоты, не знающей прикрас.

Таков же, мастер, твой волшебный
сказ, —

Связуя вязью тонкой и богатой
Торжественно-тревожный век двадцатый
И былль веков, — обворожая нас.

Да будет это творческое слово,
Грядущему являя мир былого,
Оружьем столь же мощным на века, —

Как эта сталь и как душа народа,
Как с ней одноименная свобода —
Крылатый конь уральского клинка.

1943



* * *

Я от зависти не спал ночами.
Я гордился, честно говоря,
что мой дядя дрался с басмачами,
выслужил четыре кубаря.

Мне являлся на экране блеклом
конный — детства моего кумир —
человек со шпалой и биноклем,
беззаветный красный командир.

И еще — пусть это между нами —
от мечты бледнею до сих пор:
шашка настоящая с ножнами!..
Круглые колесики от шпор!..

РОДНОЕ

Соловей заливается свистом.
Это просто, как утренний вздох.
В непомерно высоком и чистом
В русском небе играет сполох.

У тебя на глазах поволока.
Кто калитку открыл, заскрипев?
«Слышен звон бубенцов издалика —
Это тройки знакомый напев».

Если б очи твои потухали,
При нечаянной встрече со мной
Подарила б платок с петухами,
Обвязала бы край кружевной.

Я недобрый не верю приметам,
Нам сегодня особенно чист
Переполенный утром и летом
Соловья вдохновенного свист.

ЗЕМЛЯ

Гремит наступленье, расплата —
на запад, туда, на закат,
где мы отступали когда-то,
где наши зарыты ребята,
товарищи наши лежат.

За Ржев, за Великие Луки..
Запомнятся эти места.
Танкисты откинули люки,
пехота берет ее в руки —
земля перед нами не та.

Шагая, жарищу ругая,
глядишь, доконаем войну..
До кромки переднего края
земля перед нами — другая;
земля побывала в плену.

* * *

Безумствуют майские травы,
шумят проливные дожди..
Дороги черны и кровавы.
Сапер, наводи переправы,
машину, танкист, заводи.

Опять разливаются реки.
Подымутся все города,
окрепнут деревья-калеки..
Земля не забудет вовеки.
Земля не простит никогда.

Усталые руки солдата
любовно берут автомат.
Чудесное слово «расплата»!
Горячие клочья заката
на влажную землю летят.



Александр Ойслендер не любил громких слов. Голос его поэзии доверительно-откровенный, доброжелательный. Участник Великой Отечественной войны, а еще раньше доброволец — моряк Черноморского флота, в своих стихах он не скрывал собственного удивления и преклонения перед человеческой щедростью и добротой, перед мужеством и героизмом. Хотя сам был именно таким человеком. Вот почему он имел право сказать о себе:

*Что ж,
Не жил я вполсердцебенья,
Вполдыханья, вполсилы моей.
Коль любил — так любил до забвенья,
Ненавидел — так яростью всей.*

В последние годы, уже после смерти поэта, открываются все новые стороны его яркого поэтического дарования, все новые крупицы его таланта. Поэт продолжает жить в своих стихах, и его голос звучит «свежо по-прежнему и молодо». Поэт скромный и требовательный к себе, с полным основанием он может сказать:

*Вступаю с целюю вселенной
В ночной и трудный разговор.*

Впервые публикуемые здесь стихи Александра Ойслендера — продолжение его разговора со вселенной.

Александр НИКОЛАЕВ

ЭПОХА

Я с моей эпохой рядом
Шел сквозь пламя —
В крутом году.
С ней подметившим в нас снарядом,
Коченя,
Лежал на льду.
С нею жил в комнатенке тесной
И учебники штурмовал.
С нею пел —
И, казалось, песней
Дверь в грядущее открывал.
Если ей не хватало хлеба, —
Не хватало его и мне.
И ни корочки, —
Видит небо, —
Лишней я не съел в тишине.
Не задерживаясь у обочин
И попасть не желая в рай,
Без смущения
Чернорабочим
С ней я шел на передний край.

И, как вишня цветущей веткой,
У земли моей на краю,
Каждой железнодорожной веткой
В жизнь стучалась она мою.
Чтобы радугой из металла —
Весь в огнях —
Мне казался мост,
Над которым светлее стала
Даже полночь
От наших звезд.
Не франтихой
По новой моде
На тонюсеньких каблучках,
А в кирзовых своих сапогах
И в шинели при непогоде
Приходила она ко мне —
И, как мать, склонясь к изголовью,
Безвозмездно делилась кровью
В сорок третьем, на той войне.

3 января 1959 г.

* * *

Шли ночью танки,
Шли куда-то
За горизонт во мгле сырой,
Как будто снова мы —
Солдаты,
А год еще сорок второй.

И где-то там, на горизонте,
Чередовались свет и тьма,
Как будто снова мы на фронте,
Где бьют тяжелые грома.

И просыпались мы,
Не зная,

Что это сон,—
Что рядом бьет не корпусная,
А гром шатает небосклон.

Мы открывали окна настежь —
И радовались, что опять
К нам приближалось сзади счастье,
Чтоб рядом молча постоять.

Надев плащи,
Мы пили ветер —
И так стояли у окна,
Как будто только что на свете
И вправду кончилась война.

19 августа 1960 г.

ЕВГЕНИЙ АБРОСИМОВ

«...Когда над тобой рвутся мины, жужжат осколки, свистят пули, ты чувствуешь, как прекрасна поэзия и как хорошо ею заниматься. Как замечательно вспомнить стихи Пушкина, Тютчева, Блока в момент самого невероятного обстрела» — так писал с фронта Евгений Абросимов другу — поэту Дмитрию Кедрину.

Женя Абросимов!

Рабочий парень, рослый здоровяк с копной каштановых волос, мягким голосом и большими добрыми руками. При встрече с друзьями он непременно читал стихи, свои и чужие, философствовал о смысле жизни, любил собирать полевые цветы, устраивал шахматные турниры, выпускал семейную сатирическую газету.

Уходя на фронт солдатом, он не оставил дома ни верной подруги, ни изданных книг: только рукописи да множество газетных и журнальных вырезок со своими стихами. Его поседевшая мать так и не дождалась сына: 17 июля 1943 года он пал смертью храбрых в боях за Родину. Похоронен в селе Скелянске, Куйбышевского района, Ростовской области. В Центральном доме литераторов его имя высечено на мемориальной доске, возле которой горит вечный огонь.

Л. К.

* * *

Прохожу я словно день высокий.
Говорят (я слышу!) те, что ближе:
— Вот
на свете
самый одинокий,
Потому —
другие много ниже.—
Прохожу.
Не замечаю просто.
Пусть болтают.
Будто и не слышу.
У меня друзья
такого ж роста,

А иные
даже
чуть повыше.
Облака
в далеком небе тают.
Высоко
луна плывет
двурэга.
Чудаки!
Они того не знают,
Что на свете
нас, высоких, много.

Каждый голос
на земле
нам слышен,
В каждый стон
готовы сердцем влиться.
Мы
как маяки для тех, что ниже,
Чтобы им
в пути не заблудиться.
Хорошо на свете быть высоким —
Никогда не будешь одиноким.

СЛЕДЫ

Мороза не замечая,
Утром во двор бегу.
В деревне
вся жизнь ночная
Написана на снегу.
Повсюду
покой глубокий.
Не видя, я все же узнал:

Вот здесь
пробегала сорока,
А здесь вот
косой скакал.
От двери амбара на крышу,
Как тонкая вязь, следы —
Это
промчались мыши,
Гладкие от еды.
Волчьи следы на мили
Охотников увели,
Поле перекрестили
Лыжные
колеи.
Проедут ли мимо сани,
Поставят ли ведра воды,
Пройдут ли селом
крестьяне,—
От всех
на снегу следы.
Ветер туман качает,
Снежинки метет на бегу.
В деревне
вся жизнь ночная
Написана на снегу.

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

...Весна в 1943 году началась рано даже для Ташкента — в феврале. На Хорезмской зацвели абрикосы. Солнце принялось сушить горбатые дувалы. И раненные из госпиталя напротив, оседлав ограду, весело разминали ноги в неожиданно белых носках. Они сыпали солеными шуточками, одаривали ребятню конфетами-подушечками и забывали о нас, едва углядев вдали красивую, молодую узбечку...

Мы жили голодно. Утром и вечером — затируха (у нас она звалась почему-то заварихой). Днем — суп из столовой партактива...

Что это был за суп — в трех черепках баланды я насчитал однажды двенадцать рисинок!

Но отец никогда не жаловался. Только встав с кровати, он доставал машинку — и, то присаживаясь к ней на минуту, то вышагивая по комнате, — невнятно бормотал, бормотал и бормотал: «В рассветных сумерках долина Беговата... В рас-свет-ных су-мер-ках...»

Я думал о хлебе. Мне представлялись тысячи и тысячи хрустящих булок.

А отец думал о народе, который, истекая кровью, был настолько уверен в своих силах, что, загадывая на будущее, строил в пустыне Фархадский канал...

Стихотворение «Народ» — одно из лучших стихотворений, созданных им в годы войны...

Однажды днем, когда отец был в редакции, я услышал по радио голос Левитана: бои под Сталинградом закончились! И тут, словно на-

рочно, явился курьер из Союза писателей. Он долго плутал в темном коридоре, толкался в комнаты, — в одной жила семья Переца Маркиша, в другой — семья Александра Прокофьева, — и, наконец, не найдя нас, закричал на весь дом:

— Где тут голодный? Ему в Союзе писателей мешок риса выделили!..

Отец пришел поздно вечером — веселый, возбужденный. Я предложил ему загируху. Он словно бы и не слышал меня.

— Пап, где ты был?

— На концерте Тамары Ханум..

— А знаешь, наши под Сталинградом фрицам дали?!

Отец улыбнулся.

— Знаю. Я звонил в Москву. Щербаков разрешил мне ехать на фронт! — Он сел на кровать и погладил меня по боку, там, где ребра выступали острым заборчиком. — Не бойся, мы не умрем!..

«Конечно, — подумал я. — Ведь в Союзе нам дали мешок риса!»

Ночью отец печатал на машинке. Он писал о концерте Тамары Ханум, о ее жизнеутверждающем и народном искусстве, над которым не властны ни голод, ни сама смерть...

Через несколько дней отец улетел на фронт...

А стихотворение «Тамара Ханум» так и осталось в рукописях. Оно не было опубликовано. Почему — не знаю...

Цезарь ГОЛОДНЫЙ

ТАМАРЕ ХАНУМ

Бьет бубен — бам!
Бьет бубен — бум!
Откуда этот смутный шум...
То две руки ко мне взывая,
Тоской и негой изнывая,
Зовут, колдуют, мутят ум —
Воспоминанья навевая.
Бьет бубен — бам!
Бьет бубен — бум!
Пляши, живая, огневая,
Ходи, Ханум, плыви, Ханум...
Колдуют две руки — два змея,
Играет сердцем пара рук.
Движенье птицы ловит шея,
Бросает в жар гортанный звук, —
То ты Ханум, то Саломея,
То Саломея, то Ханум!
Бьет бубен — бам!
Бьет бубен — бум!
Откуда этот смутный шум?
Скажи мне, кто ты, чародейка,
Пустыни дочь? Невеста гор?
Узбечка? Русская? Еврейка?
Или дикарка до сих пор?
Мудрей Хайяма тибетейка,
Когда под нею твой задор!
Движение руки — огонь,
Движение ноги — огонь.
И над морями, над веками,



Михаил Голодный и Иосиф Уткин

Над жизнью, ставшею песками,
Взлетает птицею ладонь.
По жилам ходит кровь толчками,
В горячий омут тянет сонь...
А бубен — бам!
А бубен — бум!
Пляши, Ханум, ходи, Ханум!
В каком с тобой встречались веке?
Ты — сновиденье о былом.

Через моря, пустыни, реки
Ты к нам пришла в Народный дом.
Без паранджи... В лице Востока
Я вижу пламя древних дум
И слышу близко и далеко
Тебе кричат: «Салам, Ханум!»
И эхо вторит одиноко...
Бьет бубен — бам!
Бьет бубен — бум!

1942



ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ

Польская литература славна прежде всего поэтами. Мицкевич и Словацкий не только похоронены рядом с королями и диктаторами. Прочнее, чем короли и диктаторы, они вошли в народную память — и томиками в крестьянских библиотеках, и оборотами в живом языке. В Польше, где слово поэта всегда ценилось очень высоко, Владислав Броневский на протяжении нескольких поколений, без малого сорок лет, был первым, любимым народным поэтом.

Двадцатичетырехлетним офицером он вернулся с несправедливой, захватнической войны, из провалившегося похода на Киев и, по его словам, не привез никаких трофеев, кроме томика Ленина. С тех пор Броневский разорвал с польским настоящим и примкнул к польскому будущему. Он был человеком блистательной храбрости, не боявшимся ни клеветы, ни тюрьмы. Недаром Маяковский, побывав в Польше, с уважением сказал о нем Асееву: «Прочная фамилия».

В огромном наследии Броневского — десятки томов переводов русской литературы.

В декабре 1961 года за несколько недель до смерти поэта я побывал у него в Варшаве. Точнее это было 17 декабря. Мы праздновали день рождения поэта, его шестидесятичетырехлетие, последний из дней рожденья в его жизни. Броневского только что привезли из больницы. Рак уже догрызал его, но он ничего об этом не знал, а может быть, и не хотел знать.

Он говорил мне о том, что к маю он выздоровеет и поедет в свое обычное весеннее путешествие по рабочим клубам — читать стихи.

Он благодарил советских поэтов за свое «Избранное» и резко критиковал их за, порой даже небольшие, огрехи в переводах.

Внешне он очень изменился, высох, постарел, ослабел, но внутренне это был прежний Броневский — непримиримый, добрый, яростный — герой и работник польской поэзии.

В этом году в Гослитиздате выйдет большой том Броневского — наш венок на могилу поэта.

Борис СЛУЦКИЙ

ПОЛЬСКИЙ СОЛДАТ

Шел из германского плена солдат,
очи опущены, в землю глядят.

Под золотой осенью польской
движется вражье гудящее войско.

Сел под березой солдат, у дороги,
перевязать изболевшие ноги.

Полк его немцы разбили под Равой,
как он ни бился, а бился кроваво,

как со штыком на танки ни лез он —
двигались танки, давило железо.

Дал под Варшавой выстрел последний.
После пошел. Сквозь руин лихолетье.

Отческий дом немец поджег.
Он безоружен. Отмстить он не смог...

Гей ты, береза, я слышу рыданья —
грустно шумишь о солдатском скитанье,

плачешь о том, что у Речьпосполитой
злая судьба и войско разбито...

Сел под березой солдат и сквозь слезы
слушает причитанья березы.

Нету ружья, с шапки содран орел.
В отческий дом он бездомным пришел

* * *

Сын завоеванной нации, сын независимой песни,
что мне, чей дом — руина, как мне петь — не знаю.
Сентябрь растоптал, как танком, отчизны грады и веси,
а моя рука безоружна, безоружна земля родная.

Вернусь на эту землю, хочу защитить отчизну,
чтоб песня моя и сердце пожаром пылали над нами,
чтоб рос из руин Варшавы бетон социализма,
чтоб Мариакские звоны шумели, как красное знамя.

Варшава, прекрасная, гордая, славны твои руины.
Измученные кирпичины хочу целовать и трогать.
Руку мне дай, Белоруссия, руку мне дай, Украина!
Серп и молот свободы дайте мне на дорогу.

Свети, свобода народов, мощный кулак летящий!
Скоро сгинет бывшее, день приближается вешний.
Пищу рукой безоружной, грозной, хотя не мстящей,
сын завоеванной нации, сын независимой песни!

ЧТО МНЕ ГРУСТИТЬ!

Была бы в руках винтовка, а к ней бы патроны были,
и что мне песок ливийский, что мне снега Сибири,

что мне цинга и голод и тюрьмы с лагерями —
солдатским весельем сумку набью, а не сухарями!

К чему ордена любые, к чему мне лавры славы,
нужны подошвы покрепче, чтоб с ней дойти до Варшавы,

чтоб по святым панелям те сапоги гудели,
что в Тобруке мы подбили, а в Нарвике мы надели.

Много дорог протоптано, много стран миновалось.
Под каждой стопой солдатской польской земля оставалась!

Что мне искать сокровищ — песня все, что мне надо.
Мой дом в сентябре разбили семь немецких снарядов.

Садик — цветы и травка — возле дома вырос...
Семь немецких снарядов хочу из садика выгрести!

Любимую с детства землю, родную, хочу целовать я,
а если пасть — то в Польше — с песком мазовецким в объятьи.

Что мне грустить, товарищ! Сквозь континенты проходим,
наши летят эскадрильи нашим во след пароходам.

Мы покажем миру, что в Польше мы родились,
была бы в руках винтовка, подметки бы не прохудились.

Перевел с польского Борис Слуцкий

АННА АХМАТОВА

АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ

Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) — ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне¹. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: «*On communique*». Часто говорил: «*Jl n'y a que vous pous réaliser cela*».

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предисторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый легкий предрассветный час. Но

¹ Я запомнила несколько фраз из его писем одна из них: «*Vous êtes en moi comme une hantise*».

будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.

Жил он тогда (в 1911 году) в *Impasse Falguière*. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.

Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у не-

го тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это не было следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.

В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен стук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется — от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела — уцелели ли они? Скульптуру свою он называл *la chose* — она была выставлена, кажется, у *Indépendants* в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставку, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи.

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (*tout le reste*) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уж очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют *periode nègre*.

Он говорил: «*Les bijoux doivent être sauvages*» (по поводу моих африканских бус) и рисовал меня в них. Водил меня смотреть *le vieux Paris derrière le Panthéon* ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: «*J'ai oublié qu'il ja l'île au milieu*». Это он показал мне н а с т о я щ и й Париж.

По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.

В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал *le vieux palais l'Italienne*, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.

Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на

Модильяни оказала Беатриса Х.¹, та самая, которая называет его «*perle et purseau*». Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой Х., т. е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить.

Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из «своего кафе», где он ежедневно витийствовал, шел в «свой ресторан» обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре с ленточкой Почетного Легиона, — а соседи шептались: «*Анри де Ренье!*»

Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Анатоле Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: «*Mais Hugo — c'est declamatoire?*»

* * *

Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.

Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть, — они так красиво лежали...»

Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.

То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось: «*Vieux Paris*» или «*Paris avant guerre*». Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались «*Au rendez-vous*»

¹ Цирковая наездница из Трансвааля (см. статью P. Guillaume в «*Les arts à Paris*», 1920, № 6, стр. 1—2). Подтекст, очевидно, такой: «Откуда же провинциальный еврейский мальчик мог быть всесторонне и глубоко образованным?»

des cochers», и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были призваны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили «Пикассо и Брак». Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изящной традицией Дягилевские ballets russes (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).

Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к десятым годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена «Жар-птица». 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку».

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в Taverne de Panthéon два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы — тут большевики, а там меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravées). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Рене Гиль проповедовал «Научную поэзию», и его так называемые ученики с превеликой неохотой посещали метра.

Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.

Et Jehanne la bonne lorraine
Qu' Anglois brulerent a Rouan

Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.

* * *

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в «Аполлоне» 1911 года). Над «аполлоновской» живописью («Мир искусства») Модильяни откровенно смеялся.

Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.

Во всяком случае то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, — эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей царскосельской комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы



Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуется его будущие «ню»¹.

Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Как-то раз сказал: «J'ai oublié de vous dire, que je suis juif». Что он родом из-под Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему — двадцать шесть.

Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему — летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).

В это время ранние, легкие² и, как всякому известно, похожие на этажерки, аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) — Эйфелевой башней.

Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.

* * *

...а вокруг бушевал недавно победивший кубизм, оставшийся чуждым Модильяни.

Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило — Чарли Чаплин. «Великий Немой» (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.

* * *

«А далеко на севере»... в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней...

¹ Известный искусствовед, мой друг Н. И. Харджиев, посвятил этому рисунку очень интересный очерк, который приложен к этой статье.

² См. у Гумилева:

На тяжелых и гулких машинах
Грозвые пронзять облака.

Три кита, на которых ныне покоится XX век, — Пруст, Джойс и Кафка еще не существовали как мифы, хотя и были живы, как люди.

* * *

В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали¹.

Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его «пьяным чудовищем» или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года, и обоих ждала громкая посмертная слава.

К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествия это — подмена истинного действия. «Les chants de Maldorog» постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий «вероятно очень важный господин» (надо думать — из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит...

Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я слышала о нем очень много...

* * *

В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая 36, издательство «Всемирная литература»). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фото-

¹ Его не знали ни А. Экстер (художница, из школы которой вышли все «левые» художники Киева), ни Б. Анреп (известный мозаичист), ни Н. Альтман, который в эти годы (1914—1915) писал мой портрет.

графия Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он — великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монография по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге — «Стихи о канунах» и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге «От Монмартра до Латинского квартала», и в

бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что этот гибрид на Модильяни десятого-одиннадцатого годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.

Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма «Монпарнас 19». Это очень горько!

Болшево, 1959 — Москва, 1964



НИКОЛАЙ ХАРДЖИЕВ

О РИСУНКЕ А. МОДИЛЬЯНИ

Мне хочется сказать несколько слов о рисунке, которым я впервые восхищался почти тридцать пять лет тому назад. В длинном ряду изображений Анны Ахматовой, живописных, графических и скульптурных, рисунку Модильяни, несомненно, принадлежит первое место. По силе выразительности с ним может быть сопоставлен только лаконичный стиховой портрет, созданный Осипом Мандельштамом.

Небезынтересно отметить, что «Ахматова» Модильяни имеет случайное, но почти портретное сходство с его же перовым рисунком, находившимся в собрании д-ра Поля Александра «Maud Abrantes écrivants au lit». В стилистическом отношении эти произведения чужды друг другу и характеризуют различные этапы эволюции художника. Беглый набросок с натуры, заставляющий вспомнить гениальные кроки Тулуз-Лотрека, портрет Мод Абрантес (1908), нарисован за год до встречи Модильяни со скульптором Константином Бранкюзом. Как известно, под воздействием Бранкюзи Модильяни увлекся негритянским искусством и в течение нескольких лет занимался скульптурой. Портрет Ахматовой, относящийся к этому периоду, трактован художником как фигурная композиция и чрезвычайно похож на подготовительный рисунок для скульптуры. Здесь Модильяни достигает

необычайной выразительности линейного ритма, медлительного и уравновешенного. Наличие художественной формы монументального стиля позволяет этому небольшому рисунку выдержать любые масштабные метаморфозы.

Дружба с Бранкюзом, одним из основоположников абстрактного искусства, не увела Модильяни в область отвлеченного формального экспериментаторства. В эпоху гегемонии кубизма Модильяни, не боясь упреков в традиционализме, остался верен образу человека и создал замечательную портретную галерею современников. На всем протяжении своего пути он не утратил живой связи с художественной культурой итальянского Ренессанса. Об этом можно прочесть и в воспоминаниях друзей художника, и в работах исследователей его творчества.

Поэтому нет ничего неожиданного в том, что образ Ахматовой перекликается с фигурой одного из известнейших архитектурно-скульптурных сооружений XVI столетия. Я имею в виду аллегорическую фигуру «Ночи» на крышке саркофага Джулиано Медичи, этот едва ли не самый значительный и таинственный из женских образов Микеланджело¹. К «Ночи» восходит и композиционное построение рисунка Модильяни. Подобно «Но-

¹ Микеланджело посвятил своей «Ночи» четверостишие, переведенное на русский язык Тютчевым.

чи», фигура Ахматовой покоится наклонно. Постамент, с которым она составляет единое конструктивное целое, повторяет дугообразную (расчлененную надвое) линию крышки двухгрифного саркофага Медичи. В отличие от напряженной позы «Ночи», как бы соскальзывающей со своего наклонного ложа, фигура на рисунке Модильяни статична и устойчива, как египетский сфинкс. Но это уже объясняется принципиальной несхожестью двух одновременных архитектурных систем¹.

¹ По прочтении этих строк А. А. Ахматова вспомнила, что в одной из бесед с ней Модильяни упомянул Микеланджело. «Великие люди не должны иметь детей», — сказал Модильяни. — «C'est ridicule d'être le fils de Michel-Ange».

По свидетельству Ахматовой, у Модильяни было весьма смутное представление о ней как о поэте, тем более что тогда она только начинала свою литературную деятельность. И все-таки художнику с присущей ему визионерской прозорливостью удалось запечатлеть внутренний облик творческой личности.

Перед нами не изображение Анны Андреевны Гумилевой 1911 года, но «ахронологический» образ поэта, прислушивающегося к своему внутреннему голосу.

Так дремлет мраморная «Ночь» на флорентийском саркофаге. Она дремлет, но это полусон ясновидящей.

4 мая 1964 г.



В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1967» УЧАСТВУЮТ:

- Абашидзе И. (124), Абросимов Е. (243), Агашина М. (131), Адрианов Ю. (153), Алигер М. (128), Алтайский К. (20), Антокольский П. (55, 167), Арский П. (227), Асадов Э. (126), Асеев Н. (209), Ахматова А. (248).
- Балашов Э. (135), Бауков И. (58), Безыменский А. (15), Белинский Я. (137), Бершадский В. (11), Богданов П. (23), Боков В. (140), Борисов И. (219), Бразнев-Трифонов Е. (228), Бразуль И. (169), Броневский В. (246).
- Вальшенок З. (123), Ваншенкин К. (59), Васильева Л. (60), Вассерман Я. (134), Верховский Ю. (234), Винокуров Е. (61), Волгин И. (149), Волобуева И. (62).
- Гамзатов Р. (63), Гатов А. (12), Глазков Н. (134), Глазов Г. (64), Голодный М. (244), Голодный Ц. (245), Гордиенко Ю. (135), Горностаев Г. (24), Грибачев Н. (65), Гринберг И. (39), Грушко П. (142), Гушанский С. (174).
- Демин М. (146, 229), Длигач Л. (233), Дмитриев О. (66), Дмитриева Ц. (238), Долматовский Е. (126), Дудин М. (68).
- Евсеева С. (152).
- Жаров А. (15), Железнов П. (151, 183), Жирмунская Т. (69), Жолнин В. (195), Жуков В. (193).
- Заурих А. (123), Звягинцева В. (70), Зенкевич М. (71, 226).
- Иванов А. (158, 159), Инбер В. (14), Исбах А. (172), Игин И. (158, 159).
- Казакова Р. (72), Карпеко В. (130), Карпунин Г. (136), Катаев В. (25), Кашежева И. (124), Кедрин Д. (190), Кедрина Л. (243), Кислик Н. (136), Ковалев Д. (74), Ковальджи К. (131), Кожин В. (47), Козловский Я. (74), Колычев О. (154), Коренев А. (75), Корин Г. (139), Коринец Ю. (152), Костров В. (77), Кравченко И. (147), Кронгауз А. (78), Кугультинов Д. (138), Кузнецов В. (139), Кулагин В. (157), Кулиев К. (185), Куняев С. (50, 78), Кустов П. (12), Кириллов И. (145).
- Лазарев Л. (44), Лашков И. (156), Левин Г. (143), Левитанский Ю. (132), Леонидзе Г. (182), Леонович В. (240), Лесс А. (191), Липкин С. (133), Лисовский К. (149), Лиснянская И. (80), Лиснянский М. (81), Лифшиц В. (159), Лобанов М. (46), Луговской В. (13), Львов В. (240), Львов М. (83, 225).
- Максимов М. (145), Марков А. (146), Марков С. (121), Мартынов Л. (109), Матусовский М. (130), Межиров А. (83), Миндлин Э. (196), Михайлов А. (49), Моран Р. (140), Мулдагалиев Д. (155).
- Наппельбаум Л. (22), Нарбут В. (226), Николаев А. (147, 242), Николаева Г. (238), Николаевская Е. (138).
- Обрадович С. (221), Озеров Л. (236), Ойслендер А. (242), Окуджава Б. (85), Окунев Ю. (155), Олеша Ю. (Зубило) (223), Осетров Е. (33), Ошанин Л. (150).
- Павличенко Е. (156), Панкратов Ю. (151), Паттерсон Д. (132), Передреев А. (133), Петников Г. (87), Петров А. (217), Поженян Г. (88), Полетаев Н. (11), Поперечный А. (157), Потапова В. (233).
- Радимов П. (225), Рейжевский А. (158), Рейснер Л. (232), Решетников Л. (153), Рид Д. (213), Ринк И. (141), Рубцов Н. (154), Румарчук Л. (161), Рыленков Н. (18), Ряшенцев Ю. (127).
- Савельев В. (23), Сельвинский И. (89), Семенов В. (137), Семьин П. (90), Сидоренко Н. (91, 221), Ситковецкая М. (218), Слуцкий Б. (93, 213, 246), Смольников А. (95), Соболев М. (96), Старшинов Н. (97), Стюарт Е. (125), Субботин В. (35).
- Тихонов Н. (20, 182), Туркин В. (42, 128), Турсун-Заде М. (99).
- Урин В. (141), Ушаков Н. (121).

Фаликов И. (160), Флеров Н. (162), Флоров Г. (148), Фоломин Ф. (17), Фояков И. (162), Френкель И. (100).
Харабаров И. (142), Харджиев Н. (252), Хелемский Я. (101), Храмов Е. (102).
Цветаева М. (231), Цыбин В. (36, 103).
Чалмаев В. (37), Черняк В. (160), Чуев Ф. (148).
Шаламов В. (104), Шварцман О. (219), Шведов Я. (178), Шкловский В. (224), Шкляревский И. (105).
Щипахина Л. (161), Щипачев С. (107).
Эфрон А. (231).
Яшин А. (107).

ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1967

М., «Советский писатель», 1967, 256 стр. Тем. план вып. 1967 г. № 154

Редактор В. С. Фогельсон. Худож. редактор В. В. Медведев.
Техн. редактор Т. С. Ступникова. Корректоры: Л. И. Жиронкина,
Ф. А. Рыскина и Ф. Л. Эльштейн.

Сдано в набор 28/VI 1967 г. Подписано к печати 30/VIII 1967 г.
А 13202. Бумага 84×108¹/₁₆, № 1. Печ. л. 16+4вкл. (27,72).
Уч.-изд. л. 24,68 Тираж 100 000 экз. Заказ № 247. Цена 2 р. 08 коп.

Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Тульская типография Главолиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

